

СОЦИС

Журнал основан
в июне 1974 года

Содержание

ТЕОРИЯ. МЕТОДОЛОГИЯ

- 3 ГОРШКОВ М.К. К вопросу о социологии массовидных духовных образований (теоретико-методологический аспект)
- 15 ГОФМАН А.Б. «Интер», «мульти», «транс» и «пост»: социология, дисциплинарность и постмодернизм
- 26 БРАСЛАВСКИЙ Р.Г. Сильная программа в культурсоциологии: между культурализмом и сциентизмом

СОЦИОЛОГИЯ ПРАВА

- 39 МАСЛОВСКАЯ Е.В. Судебные переводчики в расследовании уголовных дел: типы профессионального поведения и социальные практики
- 49 СИТКОВСКИЙ А.Л., ЛАТОВ Ю.В. Парадоксы оценки российской полиции с помощью опросов общественного мнения
- 57 УШКИН С.Г., КОВАЛЬ Е.А. Субъекты нормотворчества в представлениях студентов-юристов

ВОЕННАЯ СОЦИОЛОГИЯ

- 67 СУТЕРС Дж. Социология и военные исследования: расширяя горизонты с помощью классиков
- 81 КАРЛОВА Е.Н. Воспроизводство социальной структуры вооруженных сил в системе военного профессионального образования

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА. СОЦИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА

- 92 ЯРСКАЯ-СМИРНОВА В.Н., ЯРСКАЯ-СМИРНОВА Е.Р. Модусы темпоральности в нарративах о доступности городской среды
- 103 КИЕНКО Т.С., САВИНА Е.А. Хроники карантина и обсервации в доме-интернате для престарелых и инвалидов

СОЦИОЛОГИЯ КУЛЬТУРЫ

- 112 СУЩИЙ С.Я. Русская литература советского периода – социодинамика писательского сообщества
-

СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА

- 130 ШУЛЬЦ В.Л., ЛЮБИМОВА Т.М. Российский социум и вопросы языкознания

ФАКТЫ. КОММЕНТАРИИ. ЗАМЕТКИ

- 140 ЗУБАНОВА Л.Б., ЗЫХОВСКАЯ Н.Л., ШУБ М.Л. Актуальные тренды памяти: проблемное поле журнала *Memory Studies*
- 146 БАДАРАЕВ Д.Д., ДЫРХЕЕВА Г.А., АНТОНОВА Н.С. Языковая ситуация среди школьников-бурят России, Монголии и Китая
- 152 ВАСИЛЬЕВА И.Н. О социальной коммуникации органов внутренних дел с гражданами (по результатам экспертного опроса)

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

- 159 ХРАМОВА М.Н., МАНЬШИН Р.В. Международная миграция в эпоху пандемии COVID-19
- 162 РЯЗАНЦЕВ С.В., РОСТОВСКАЯ Т.К. О II Всероссийском демографическом форуме с международным участием

РАЗМЫШЛЕНИЯ НАД НОВОЙ КНИГОЙ

- 166 САВЧЕНКО И.А. «Сумерки памяти» неизбежны?

ЮБИЛЕЙ

- 172 Бабосову Е.М. – 90 лет!

IN MEMORIAM

- 173 В.В. Петухов

175 CONTENTS

НОВЫЕ КНИГИ ПО СОЦИАЛЬНЫМ НАУКАМ (2-я стр. обл.)

В БЛИЖАЙШИХ НОМЕРАХ (4-я стр. обл.)

При подготовке направляемых в журнал статей просим руководствоваться правилами, указанными на сайте журнала (<http://www.socis.isras.ru/>; <http://www.isras.ru/socis.ru>) или в № 1 и № 6 журнала. Статьи присылать по электронной почте (socis@isras.ru) в формате *.doc и печатный экземпляр на адрес редакции. Авторы **несут ответственность** за подбор и достоверность приведенных данных.

Решение о публикации принимается в течение **2-х месяцев** со дня регистрации рукописи. Принятие решения о соответствии/несоответствии поступивших статей профилю, концепции и тематике журнала является прерогативой редколлегии и редакции журнала. На основе рецензирования редакция принимает окончательное решение о публикации (или отклонении) статей.

Полная или частичная перепечатка материалов допускается только после разрешения редакции. Ссылка на источник обязательна. Публикуемые материалы могут не отражать точку зрения учредителей, редколлегии и редакции.

Полнотекстовые версии статей выставляются в свободном доступе на <http://www.socis.isras.ru/>, <http://www.isras.ru/socis.html> через три месяца после выхода печатной версии.

Сообщаем, что для быстрой и удобной подачи статей в журналы РАН можно воспользоваться редакционно-издательским порталом RAS.JES.SU. См. подробнее: <https://ras.jes.su/submit-paper-ru.html>

По возникающим вопросам обращаться по телефону редакции: +7 (499) 128-84-39 или писать на электронный адрес редакции: socis@isras.ru

© 2021 г.

М.К. ГОРШКОВ

К ВОПРОСУ О СОЦИОЛОГИИ МАССОВИДНЫХ ДУХОВНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ (ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ)

ГОРШКОВ Михаил Константинович – академик РАН, директор Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН, Москва, Россия (director@isras.ru).

Аннотация. Статья посвящена теоретико-методологическому осмыслению социологического анализа явлений духовной жизни общества. Автор обращается к рассмотрению массовидных духовных образований, которые в большинстве своем практически «выпали» в последние десятилетия из понятийного аппарата социологии и практики эмпирического измерения. В целях наиболее адекватного определения показателей их социологического изучения, по своим субстанциональным основаниям они разделяются на два уровня – массовидные духовно-психологические и духовно-практические образования. К образованиям первого уровня, сопровождая их сущностными характеристиками, автор относит социальные чувства, общественные настроения и умонастроения, духовную атмосферу, а ко второму уровню – общественное мнение и общественные волевые побуждения. Интерпретация и операционализация понятий, выражающих оба уровня массовидных явлений духовной сферы, дается с учетом разведения понятий «общественное сознание», «сознание общества», «массовое сознание». При обобщающем анализе особенностей функционирования различных видов массовидных духовных образований в качестве ключевых явлений и понятий, их выражающих, рассматриваются «состояние сознания» и «общественная ситуация». Делается вывод, что непосредственно воздействуют на количественно-качественные характеристики массовидных духовных образований как состояний сознания больших социальных общностей не общественные отношения (что чаще всего утверждается), а общественная ситуация. При этом они соотносятся, выражаясь философским языком, как сущность и явление, как непрерывное и прерывное, как процесс и его результат.

Ключевые слова: массовидные духовные образования • сознание общества • массовое сознание • социальные чувства • общественные настроения • духовная атмосфера • общественное мнение • общественные волевые побуждения • состояние сознания • общественная ситуация

DOI: 10.31857/S013216250012674-4

К постановке проблемы. Функционирование любого общества представлено двумя его сферами, которые принято обозначать как материальное и нематериальное, духовное. Их единство и противоположность часто осмысливаются через противопоставление человеческого капитала, материализованного в индивидуальном человеке-работнике, и социального капитала, воплощенного в социальных группах. Вместе с тем жизнь общества представляет собой единство материального и нематериального,

непосредственно-экономического и опосредованно-экономического, овещественного и духовного.

Взаимообусловленность и взаимовлияние материальных (непосредственно связанных с производством) и нематериальных (культурно-обусловленных) факторов жизнедеятельности людей, связанных с духовной сферой, – одна из ключевых закономерностей функционирования любого социума. Это относится и к Российской Федерации, многонациональной (полиэтнической) стране с определенным «цивилизационным кодом» – системой культурных стереотипов, норм и ценностей, которые формируют зависимость нации от предшествующего развития (Path Dependence). Такая система нематериальных факторов, связанных с духовной жизнью общества, является динамичной: она не только отражает опыт своей истории, но и постоянно меняется под влиянием новых внешних и внутренних вызовов, нарастающих социокультурных угроз национальному развитию. Отсюда – необходимость познания, в том числе методами социологической науки, современной природы, архитектоники и особенностей функционирования духовных состояний российского социума, составляющих основу нематериальных факторов развития, причем, прежде всего, в массовидных, т.е. *в наиболее распространенных формах их проявления*. Именно массовидные формы проявления духовного определяют мотивационный ресурс общества, готовность и способность групп населения не только противостоять новым вызовам и рискам, но и давать на них эффективный ответ.

К числу наиболее активных и влиятельных массовидных духовных образований относятся социальные чувства, общественные настроения и умонастроения, духовная атмосфера, а также общественное мнение и общественные волевые побуждения (общественная воля). В современных крайне противоречивых и сложно организованных условиях жизнедеятельности исследования духовных образований, имеющих массовидный характер и связанных с сознанием больших социальных общностей – российского народа в целом и различных социальных слоев, территориальных, демографических и иных многочисленных групп населения России, – приобретают приоритетный характер (по крайней мере для академической социологии). Однако до последнего времени основной вектор социологического изучения нематериальной, духовной сферы общества был связан с известной диалектической формулой «бытие определяет сознание». Иными словами, главным образом акцент делался на то, какие макро- и мезоусловия, какие повседневные жизненные обстоятельства определяют массовые чувства, настроения, мнения и иные состояния и проявления сознания больших социальных общностей. При этом практически вне поля «социологического зрения» оставалась другая очень важная составляющая приведенной формулы: «сознание, обладая относительной самостоятельностью, в свою очередь, само оказывает активное воздействие на бытие».

В современном обществе при перманентно возникающих кризисах, при сложном переплетении внутренних и внешних условий и факторов жизнедеятельности людей¹ социологическая диагностика динамики влияния массовидных духовных образований на ход и развитие бытийной стороны общественных процессов имеет сверхактуальное значение. События недавних лет (и особенно 2020 года) с их остроконфликтными и трагическими выходами населения на улицы это убедительно показывают. Вместе с тем подобная диагностика нуждается в выверенной теоретико-методологической

¹ Важно различать (особенно в контексте социологического измерения) понятия «условия» и «факторы». Условия – это отправные моменты, предшествующие какому-либо процессу, те обстоятельства, явления, которые ему сопутствуют, создают благоприятные или неблагоприятные возможности для его протекания. В свою очередь, факторы – это активные начала, включенные непосредственно в сам процесс, определяющие характер его реализации и его результат. Если руководствоваться этим пониманием, то надо признать, что объективные и субъективные условия, являясь предпосылками зарождения массовидных духовных образований, только в том случае становятся факторами их формирования, если оказываются активными началами данного процесса и непосредственно включаются в него.

трактовке сущности и механизма функционирования массовидных явлений духовной и духовно-психологической жизни общества, определении в них общего и особенного, выявлении пространства их позитивного и негативного влияния. К сожалению, теоретическая социология последних десятилетий практически не обращалась к этим вопросам². А без ответа на них, с учетом факторов действующего времени, трудно добиться высокой степени аутентичности исследовательских результатов природе данных явлений.

О природе массовидных духовно-психологических образований. Обращение к массовидным явлениям духовно-психологической сущности предусматривает, прежде всего, рассмотрение таких явлений, как социальные чувства, общественные настроения, умонастроения и духовная атмосфера.

Социальные чувства представляют собой один из способов существования и проявления общественно значимых состояний эмоциональной жизни широких слоев народа. В отличие от общечеловеческих чувств (любви и вражды, симпатии и антипатии, сочувствия и ненависти, безбоязненности и страха и т.д.), социальные чувства – исторически переходящие образования, соответствующие определенным периодам развития общества и переживаемым им ситуациям. В последнем случае они с наибольшей четкостью проясняют свое содержание, вступая в активное взаимодействие с элементами не только социально-психологической, но и духовно-идеологической ситуации. И всякий раз, как это происходит, социальные чувства выступают в качестве эмоциональной стороны функционирования идеологии в массовом сознании, а те или иные из них выдвигаются на первый план.

Социальное чувство может отличаться довольно емким содержанием. Например, такое социальное чувство, как чувство патриотизма, включает в себя не только чувство любви к своему народу, родному языку, родной природе, местам своего детства и чувство гордости историей народа, но и чувство протеста, ненависти к врагам общества, чувство готовности его защищать и др. Под воздействием общественной ситуации те или иные из данных чувств активизируются, проявляясь в массовых эмоциональных реакциях.

Социальные чувства несут в себе качественные черты, которые сродни чертам породителя энергии массового действия. Тем самым, как проявление массового сознания, они могут усиливать его духовно-практические начала. Имеется в виду способность указанных чувств выступать в роли ближайшего побудительного стимула, мобилизующего и высвобождающего духовно-психологическую энергию масс. И в этом смысле социальные чувства можно рассматривать как некую эмоциональную причину, «подхлестывающую» и ускоряющую динамику развития и проявления общественных действий.

Следует подчеркнуть, что социальные чувства возникают на основе отвечающих им настроений и в случаях своей устойчивости и распространенности на все сферы духовной жизни могут превращаться в относительно стабильные общественные настроения [Горячева, Макаров, 1979: 93].

В свою очередь, *общественные настроения* характеризуют психику преимущественно в целом, выражая эмоционально окрашенное состояние массовых волевых побуждений. Сравнительно с социальным чувством общественное настроение является более широким образованием, поскольку характеризует как общее эмоциональное состояние, так и общий настрой, направленность и ориентацию всех проявлений психоэмоциональных состояний социальных общностей. Словом, общественное настроение относится к наиболее массовидным образованиям сознания масс. «Будем ли мы иметь перед собой случайно собравшуюся толпу на улице... или митинг, везде и всюду мы будем встречаться с проявлением общественных настроений...» [Бехтерев, 1911: 8].

Одна из самых ярких отличительных черт общественного настроения – выраженная способность его в одних случаях быть двигателем, побудителем, в других – тормозом

²См. работы 1960–1980-х гг. Б.А. Грушина, Г.Г. Дилигенского, В.Ж. Келле и М.Я. Ковальзона, Б.Д. Парыгина, А.К. Уледова. Исключение для последнего времени составляют работы [Тоценко, 2015; 2020].

социально направленной человеческой деятельности. Кроме того, важно иметь в виду, что общественное настроение способно выступать не только как определенная направленность, тональность и совокупность оттенков чувств, но и как интеллектуальная реакция агента деятельности. В подобных случаях принято говорить об *общественных умонастроениях*, мироощущении или мировосприятии. «Умонастроение – это особый вид настроения, обладающий относительно устойчивым характером и представляющий собой определенную направленность как безотчетных чувств и переживаний, так и более или менее ясно выраженных мыслей, идей и убеждений. Иными словами, умонастроение можно рассматривать как сложное психическое образование, представляющее собой единство эмоционального и рационального» [Парыгин, 1966: 31].

Различают оптимистические и пессимистические умонастроения, притом что существуют умонастроения сомнения, скептицизма, ханжества, цинизма, нигилизма, анархизма, апатии, которые в процессе жизнедеятельности встречаются наиболее часто и, как никакие другие, с учетом характера общественной ситуации, способны овладевать сознанием довольно широких слоев населения и оказывать влияние на массовые формы поведения (в особенности в неординарных ситуациях, каким является, например, образ жизни в условиях самоограничений и самоизоляции).

Прежде всего, имеется в виду оптимистическое умонастроение, которое отличается приподнятостью духа, живостью мыслей и образов. Для него характерны отчетливость идеалов, убежденность и вера в лучшее будущее, в значимость и надежность существующих в обществе культурных ценностей.

Для пессимистического умонастроения, наоборот, характерна склонность чуть ли не во всем видеть унылое, неприятное, кризисное, а то и катастрофическое. Здесь и разочарование в ранее значимых или казавшихся значимыми идеалах и ценностях, неверие в лучшее будущее, а заодно в себя и в людей. В общем, это умонастроение, которое выливается в целом в смутное или отчетливо упадническое отношение к жизни.

Нечто вроде средней позиции между отмеченными умонастроениями занимает умонастроение сомнения, характеризующееся неясным и неустоявшимся, наметившимся или намечающимся, но еще не сложившимся критическим (иногда отрицательным) отношением к определенным событиям и явлениям, канонам и авторитетам, духовным ценностям. Как своеобразная форма отрицания старого, оно может служить импульсом к поиску нового, выдвижению и обоснованию плодотворных идей и суждений. И если в таком варианте оно включается в массовые оценочные суждения, то последние начинают отличаться позитивно-критической направленностью и выступать средством, способствующим нахождению наиболее взвешенных путей решения тех или иных проблем.

Если же активизируются проявления негативно-критической формы сомнения, происходит становление умонастроения крайнего сомнения, которое принято называть скептицизмом. Будучи ярко выраженным критически-недоверчивым отношением к чему-либо, он близок к пессимизму и, хотя, как показывает историческая практика, способен играть положительную роль, все же чаще перерастает в зряшное, голое отрицание и при условии распространения в массовой среде может становиться одним из тормозов объективно назревших общественных перемен и преобразований.

В целом же, приняв во внимание способность различных общественных умонастроений вмешиваться в ориентацию и направленность формирования и проявления массового сознания, перемещаться из одной сферы общественной жизни в другую, «сопровождать» то одну, то другую группу проблем, становится понятным, сколь велико воздействие преобладающих в данный момент в обществе умонастроений на параметры складывающейся в нем духовной атмосферы.

В отличие от общественных настроений (умонастроений), *духовная атмосфера* представляет собой органический сплав идей и взглядов, социальных чувств и волевых побуждений, не только носящих надындивидуальный характер, но и обладающих определенной императивной силой по отношению к личности.

Содержание духовной атмосферы составляют не всякие идеи, а именно те, которые созвучны преобладающим в настоящий период в обществе чувствам, настроениям, жизненным устремлениям. В зависимости от выхода на первый план конкретных идей и взглядов духовная атмосфера может отличаться той или иной политической или нравственной тональностью и окрашивать в соответствующие тона складывающиеся в различных слоях населения, в обществе в целом оценочные суждения о насущных проблемах жизни. Обладая определенной самостоятельностью, духовная атмосфера способна оказывать и прямое влияние на все сферы общественной жизнедеятельности. И происходит это благодаря тому, что она становится доступна непосредственному восприятию людей и способна включаться в повседневные практики массового поведения и непрерывно в них воспроизводиться.

О природе массовидных духовно-практических образований. Синтез духовного и практического характерен для немногих явлений духовной сферы. Тем более это требует особого анализа, учитывающего их двойственную природу.

Одним из наиболее сложных по своей сущности и структуре массовидных духовно-практических образований выступает *общественное мнение*. Как качественно-количественная разновидность «мнения вообще», оно представляет собой оценочное суждение. Однако редко когда в социологическом измерении оно выявляется и интерпретируется и как ценностный аспект. Речь идет о том, что принципиальной сущностной чертой мнения, тем более общественного мнения, выступает не просто оценка, а *оценочно-ценностное отношение субъекта к фактам, событиям, явлениям и процессам действительности*.

Определяющим в сущностной (субстанциальной) структуре общественного мнения является рациональный компонент. Он образуется из конкретных сведений, относящихся к области рационального знания, которые имеются у людей относительно объектов пристального общественного внимания. В сферу рационального в общественном мнении может входить и так называемое наглядно-образное знание, формирующееся с помощью воображения и помогающее получить общую картину явления, процесса, когда социальный опыт субъекта ограничен.

Рациональное в общественном мнении неразрывно связано с эмоциональным. Последнее представляет собой своеобразный динамичный синтез массового ощущения, массового настроения и социальных чувств, выраженных в непосредственном переживании жизненного смысла фактов и явлений действительности, которые оказались объектом общественного внимания. Органически включаясь в содержание общественного мнения, эмоциональное определяет его выразительность, придает общую направленность переживаемым в нем идеям, взглядам, знаниям. Таким образом, рациональное и эмоциональное, всегда представленные в сознании в единстве и взаимопроникновении, выступают в структуре общественного мнения как знание и переживание [Горшков, 1988: 205].

Хотя сочетание (синтез) рационального и эмоционального характерны и для общественного настроения, и для общественного мнения, в первом доминируют эмоциональные начала, в структуре же второго эмоциональное уравновешено рациональным. Поэтому общественное настроение более подвижно, текуче, переменчиво, расплывчато, а общественное мнение более собранно, устойчиво, стабильно и, конечно, за счет большей доли рационального более осмысленно и всесторонне отражает реальную действительность. В этом смысле формирующееся общественное мнение, всякий раз попадая под воздействие той или иной политической или духовно-психологической атмосферы, смыкается с ней, впитывает ее идейные и эмоциональные доминанты и уже своими средствами «заземляет» их, реализуя в социальной практике.

Если сравнивать духовную атмосферу и общественное мнение, то первая менее динамична и изменчива, хотя отличается большей эмоциональной окрашенностью. Кроме того, поскольку духовная атмосфера выступает в виде предельно обобщенной картины общественной жизни, то ее содержанию присуща некоторая размытость, она в меньшей

степени, чем общественное мнение, сфокусирована на том или ином предмете, а потому и функциональные возможности ее ограничены.

Определяя специфику общественного мнения, некоторые исследователи находят ее исключительно в оценочной, ценностной (духовной) природе данного феномена. Однако, полагал А.К. Уледов, оценочный момент не раскрывает в должной мере активного начала, присущего мнению как социальному феномену. Оно проявляется главным образом в позиции людей в отношении предмета мнения, в переходе от слов к действию [Уледов, 1980: 216–217].

Активным началом, от которого зависит переход от суждения к действию, от позиции к жизненным практикам, выступают воля, *общественные волевые побуждения*.

Рационализируясь и получая эмоциональную подпитку, волевой компонент выражает само стремление субъекта к практическому осуществлению оценочных суждений, представленных в общественном мнении. В волевых побуждениях, общественной воле запечатлевается факт понимания людьми значимости занятой ими позиции и, как следствие, готовность провести ее в жизнь. Благодаря именно побуждениям воли и психологическому настрою масс реализуются на практике представления, взгляды и знания, которые составляют рациональный костяк содержания общественного мнения. Тем самым волевые начала способствуют превращению общественного мнения из преимущественно духовного образования в *духовно-практическое*.

При достижении такого состояния общественное мнение проявляет себя уже не только и не столько как социальная оценка, сколько как реальная общественная сила, побуждающая индивидов к определенным действиям. Иначе говоря, общественное мнение, будучи *изначально духовным отношением* (массовым оценочным суждением), обладает способностью стимулировать практическую деятельность людей и выступать уже как *массовое духовно-практическое отношение*.

О понятиях общественное сознание и сознание общества. Представленные массовидные духовно-психологические и духовно-практические образования, а также понятия, их выражающие, одни исследователи определяют как разновидности (способы, формы) проявления массового сознания, другие – как состояния общественного сознания. Для прояснения данного вопроса целесообразно обратиться к понятиям общественного сознания и сознания общества. *Общественное сознание* представляет собой целостное духовное образование, имеющее сложную структуру, в которой выделяются разные уровни, сферы, виды (формы) сознания.

По уровню (глубине, полноте, истинности) отражения действительности принято различать *теоретическое* и *обыденное сознание*. Теоретическое сознание является логически упорядоченной системой знаний и представлений, содержащих относительно целостное объяснение сущности процессов и явлений. Что же касается обыденного сознания, оно возникает и проявляется непосредственно в процессе практической деятельности широких масс и неразрывно связано с их повседневными условиями и образом жизни.

До 1980-х гг. среди видов общественного сознания, как правило, выделялось политическое, правовое, нравственное, философское, религиозное и эстетическое сознание. Впоследствии было обосновано выделение также экономического, исторического, экологического сознания. В качестве сфер общественного сознания, то есть таких образований, которые пронизывают его содержание и проходят через все его уровни и виды, принято рассматривать науку, идеологию и общественную психологию. Речь идет о том, что, например, экономическое либо иное «отраслевое» сознание может быть, по сути своей, и теоретическим, и обыденным, житейским, а наряду с этим иметь выход в сферы научного и экологического знания, включать психоэмоциональную составляющую.

Общественное сознание охватывает далеко не все, а именно – доминирующие, господствующие в конкретно-исторических условиях идеи, взгляды, представления, социальные чувства и мнения. Определяя в целом идейные и социально-психологические характеристики общества, оно играет огромную роль в его развитии и социальных

преобразованиях. Понятие сознания общества, «потерявшееся» в научной терминологии последних десятилетий, и понятие общественного сознания характеризуют духовную реальность на разных уровнях обобщения. Так, понятие «сознание общества» характеризует те или иные духовные образования главным образом с точки зрения субъекта, тогда как понятие «общественное сознание» – в зависимости от объекта отражения.

Известный советский (российский) философ и социолог А.К. Уледов, обращаясь к понятию сознания общества, исходил из того, что оно охватывает сознание всех социальных субъектов и тесно связано с духовным производством, распространением и функционированием идей, взглядов и представлений, то есть со всей духовной сферой жизни общества [Уледов, 1980: 189].

Выделяя в структуре сознания общества субъектов (носителей) идей, взглядов и чувств, целесообразно целенаправленно, в режиме мониторинга, рассматривать такие образования, как сознание классов, социальных и социально-демографических групп, а также сознание наций и народностей. Особое место в этой структуре занимают коллективные формы сознания, развивающиеся и функционирующие в коллективах разных типов учреждений и предприятий. В зависимости от характера или, говоря иначе, статуса, важно различать официальное и неофициальное сознание. В одном случае оно скреплено печатью решений, директив, официальных документов, авторитетом высоких трибун публичных мероприятий, то есть преобладает в формальном общении, в другом – функционирует, что называется, в кулуарах, в домашних очагах, в местах свободного времяпрепровождения людей, проявляется в поговорках, анекдотах, слухах и т.п., то есть преобладает в неформальной сфере межличностного общения.

По степени распространенности в структуре сознания общества выделяется также сознание *специализированное* и *массовое*. Специализированное – своего рода локальное сознание, присущее специалистам-экспертам той или иной отрасли знания. В свою очередь, массовое сознание – это наиболее распространенное сознание, свойственное широким слоям населения.

Массовое сознание не сводится к одному виду или уровню общественного сознания. Как свидетельствует практика, в массовом сознании могут органически сливаться все сколько-нибудь реально функционирующие духовные образования, охватываемые единым широким понятием сознания общества. Но все это возможно лишь при том непременном условии, что те или иные идеи, взгляды и чувства получают широкое распространение в обществе, становятся достоянием различных социальных групп, а то и большинства населения.

Между специализированным и массовым сознанием нет непреодолимого барьера. Вместе с тем только в процессе их взаимодействия может происходить активное обогащение массового сознания специализированным и наоборот. В результате научные идеи и представления, теоретические положения и концепции, получая в обществе широкое распространение, постепенно становятся достоянием широких масс. И наоборот, специализированное сознание (в особенности это касается специальных областей социального знания) обогащается житейским, реалистическим сознанием, имеющим проявления в повседневной практической жизни людей.

Интерпретация представительной совокупности массовидных нематериальных образований духовно-психологической и духовно-практической сущности позволяет отнести их к структуре сознания общества и определить в качестве *своеобразных способов существования и проявления массового сознания*. Однако в каждом конкретно-историческом условии они действуют весьма избирательно, реагируя не на все и вся, а только на главное, что имеет место в данных условиях, что прямо или косвенно затрагивает потребности и интересы большинства людей. Это ведет к необходимости понимания, что же представляют в своем единстве не все, и даже не все распространенные, а только *актуализированные* текущей повесткой дня распространенные идеи, мысли и чувства людей, реально переходящие в содержание рациональных и эмоциональных начал массового сознания.

Здесь необходимо обратиться еще к одному очень важному понятию – «состояние сознания», выражающему не совокупность реально функционирующих в обществе взглядов, чувств, а только те из них, которые вследствие своей актуализации выдвинулись в данный момент на передний план и стали занимать доминирующее положение в духовной жизни общества. На подобные перемещения, на влияние тех или иных идей и чувств, трансформирующихся в определенное состояние сознания, обращал свое внимание Г.В. Плеханов: «...нет ни одного исторического факта, которому не предшествовало бы, которого не сопровождало бы и за которым не следовало бы известное состояние сознания» [Плеханов, 1956: 247–248].

Действительно, буквально в каждый исторически конкретный период сознание общества пропитано теми или иными идеями, взглядами, чувствами, которые, играя лидирующую роль в духовной жизни и вступая во взаимодействие друг с другом, образуют некий сплав, неразрывную и постоянно пульсирующую духовную целостность. Она-то и выступает не чем иным, как состоянием сознания общества. Важно отметить, что периодически складывающееся, развивающееся, обновляющееся состояние сознания общества обладает не только свойством отражения объектов, но и свойством активного отношения к ним, непосредственной (порой довольно глубокой) включенности в повседневную жизнедеятельность людей.

Для понимания особенностей складывающихся состояний сознания общества необходимо иметь в виду, что последние всегда суть целостные его проявления. Об этом с полным основанием можно говорить уже постольку, поскольку всякого рода доминирующие идеи и взгляды, чувства и настроения все содержание сознания общества, придают его состоянию определенное качество. Вместе с тем, если целостность состояния сознания общества выражает его *качественную определенность*, то широкая распространенность соответствующих идей, взглядов, чувств выражает его *количественную определенность*. Тем самым состояние сознания общества в каждой конкретной действительности выступает как состояние массового сознания, охватывая идеи, взгляды, чувства, доминирующие в умах широких слоев населения. Если какие-либо идеи по тем или иным причинам еще не проникли глубоко в содержание сознания общества, не получили широкого распространения, не породили в массовом сознании соответствующую доминанту, то не суждено будет до поры до времени возникнуть и определенному состоянию массового сознания, в котором бы именно эти идеи выражали его качественную специфику и обладали соответствующими количественными показателями.

Общественная ситуация и ее влияние на духовно-психологические и духовно-практические образования. Возникает закономерный вопрос: почему одни идеи, взгляды, чувства выходят на первый план, пронизывают все содержание сознания общества, определяют состояние массового сознания, то есть его направленность и настрой, а другие остаются в тени? Как показывает социальная практика, именно складывающаяся в конкретно-исторических условиях общественная ситуация выступает той смыслоорганизующей силой, которая и «отбирает» в соответствии с данной обстановкой (и актуализированными вместе с ней потребностями и интересами масс) из сознания общества определенные экономические, политические, нравственные и другие идеи, взгляды, мнения и чувства, придавая им распространенный характер³.

³В этой роли не могут, как иногда утверждается, выступать общественные отношения, поскольку они отличаются исключительно сложной природой, представляя естественный и многоаспектный результат (продукт) человеческой деятельности, отличающийся значимо большим характером абстрактного обобщения. Поэтому вполне закономерно, что, в отличие от зримо наблюдаемых и повседневно ощущаемых ситуативных состояний и изменений, длительно складывающаяся система общественных отношений, говоря словами К. Маркса, ускользает от обыденного (читай – массового) сознания, поддаваясь лишь теоретическому мышлению, строго научному знанию. См.: [Маркс, Энгельс, 1960: 551].

Категория *общественной ситуации* выражает, так сказать, ближайший, непосредственно определяющий состояние массового сознания базис, который доступен для отражения в массовых духовно-психологических и духовно-практических образованиях. К сожалению, дефиниция общественной ситуации не приводится ни в одном из многочисленных обществоведческих словарей⁴. Между тем значение данной категории при анализе общественной жизни вообще и состояний массового сознания в частности велико. Это вытекает хотя бы из того, что общественная ситуация является постоянным атрибутом общественной жизни. В любое время на любом отрезке своего исторического развития в обществе происходит непрерывный процесс смены одних общественных ситуаций другими. А сама общественная ситуация, оказывая влияние на направленность и ритмичность жизни общества, несет в себе многозначные количественные и качественные признаки его политического, социально-экономического и духовно-нравственного здоровья. В этом смысле не будет преувеличением назвать общественную ситуацию лицом текущей жизни общества.

Возникновение конкретной общественной ситуации – результат действия как стихийных сил, так и сознательного воздействия общества на те условия, в которых оно находится. При этом неотъемлемыми элементами всякой общественной ситуации выступают социальные факты и события, явления и процессы. Первостепенную значимость среди них имеют не столько те, которые только зарождаются и мало чем дают о себе знать, сколько те, которые в своем развитии подошли к апогею, находятся на поверхности, а порой просто «кричат» о своем существовании.

За всем многообразием «событийно-фактологических» сторон общественной ситуации в ней важно видеть коренное, главное, что делает ее именно такой, какая она есть, а не какой-либо иной. Речь идет о совокупности противоречий, которые явились источником, главным импульсом зарождения и развития данной ситуации. Связь любой общественной ситуации с породившими ее противоречиями настолько близка и всеобъемлюща, что сколько-нибудь серьезные их изменения (их, к примеру, обострение) обязательно сказываются на ее развитии. Иными словами, периоды зарождения и развертывания, подъема и спада общественной ситуации, сила ее проявления и продолжительность существования определяются природой, временной длительностью, интенсивностью развития, проявления и формой разрешения противоречий, лежащих в основе возникновения данной ситуации. При этом существующие здесь причинно-следственные связи не мешают самой общественной ситуации играть важную роль в судьбе соответствующего противоречия. Ведь только в процессе развития общественной ситуации и только через нее то или иное противоречие получает в конечном счете свое разрешение. Таким образом, преодоление социальных противоречий неизбежно связано с переживанием обществом определенной ситуации.

В качестве объекта социологического измерения общественные ситуации целесообразно классифицировать, типологизировать. Уместно, прежде всего, различать возникающие ситуации по сферам общественной жизни или видам общественных отношений. Так, правомерно говорить об экономической, политической, социальной, социально-психологической и других ситуациях.

Общественные ситуации можно характеризовать и по внутренней динамике, т.е. в зависимости от периода их развития – зарождения, развертывания, подъема и спада. Целесообразно классифицировать общественные ситуации и по силе, интенсивности проявления (спокойные, бурные, конфликтные, чрезвычайные и т.д.). Не лишено смысла делить общественные ситуации по продолжительности их существования, степени устойчивости: стабильные, длительно действующие (ряд лет, а то и десятилетия); недостаточно стабильные, средней длительности (от нескольких месяцев до года); нестабильные, кратковременные (здесь счет может идти на недели и даже дни). Было бы уместно различать

⁴Исключение составляет постановка вопроса о социально-психологической ситуации (см.: [Левыкин, Уварова, 1983]).

общественные ситуации по их социальной направленности, степени соответствия потребностям и интересам людей: ситуации позитивные (благоприятные), нейтральные, негативные (неблагоприятные), а по глубине их воздействия на общественную жизнь – предкризисные и кризисные, революционные и близкие к революционным (переломные). Революционные и переломные ситуации находятся на особом счету, поскольку ведут к коренным преобразованиям жизни общества, к перестройке всех общественных отношений. Наконец, еще один важный критерий типологизации общественных ситуаций – их объективность, неизбежность и, наоборот, их необязательность, специфичность, что позволяет выделять общественные ситуации необходимые, прогрессивные и спонтанные, случайные, регрессивные.

В результате социологического измерения общественная ситуация может быть охарактеризована не только по какому-то одному, а практически по каждому и одновременно по всем названным критериям. Причем именно в таком случае картина возникшей (возникающей) ситуации получается выверенной, наиболее полной, располагающей к принятию всесторонне взвешенных политических решений по управлению ею.

Практически каждая, в особенности устойчивая, общественная ситуация так или иначе подготавливается ходом, всей логикой развития общественных отношений и аккумулирует их зрелость и незрелость, их положительный, прогрессивный потенциал и отрицательные, консервативные элементы. Это, разумеется, не исключает того, что общественные ситуации могут возникать и под воздействием условий и факторов, которые не исходят из доминирующих характеристик утвердившихся общественных отношений (например, кратковременные, случайные ситуации). И все же если руководствоваться общим, закономерным, а не единичным, случайным, то надо рассматривать всякую устойчивую и многими причинами обусловленную общественную ситуацию как конкретно-исторический срез общественных отношений, который выражает прерывность в их развитии и в котором проступает их внутреннее противоречивое содержание. Тем самым общественные отношения и общественная ситуация в силу своей природы и диалектики своего развития соотносятся как *сущность и явление, как непрерывное и прерывное, как процесс и его результат*.

Думается, приведенные аргументы достаточны для того, чтобы понятию общественной ситуации отвести роль одной из важнейших социологических категорий. Не случайно В.И. Ленин подчеркивал необходимость конкретного анализа каждой особой исторической ситуации [Ленин, 1973: 13].

Обращение к одной из ключевых социологических категорий дает основание констатировать: в любой момент своего исторического развития общество переживает ту или иную ситуацию, и она оказывается для массовидных духовных образований тем «пространством и временем», в которых только и возможно проявление их определенных состояний. В сущности, механизм возникновения различных состояний массового сознания представляется таковым. Общественная ситуация, складываясь и утверждаясь в виде определенной экономической, политической, социальной, духовно-идеологической и социально-психологической обстановки, постепенно в той или иной форме начинает отражаться, а затем все полнее и глубже осознаваться массами; причем осознаваться как совокупность реалий повседневной жизнедеятельности людей и сопутствующих им фактов, явлений, процессов, в условиях которых реализуются их потребности и интересы. В процессе такого ее осознания люди невольно соотносят конкретные реалии с теми возможностями, которыми они располагают для реализации собственных жизненных планов. В результате этого возникает широкий спектр индивидуальных, групповых, коллективных чувств, настроений, взглядов, мнений как оценочно-ценностных суждений, которые и порождают определенные состояния массового сознания в условиях данной общественной ситуации.

Именно в рамках общественной ситуации выделяются те самые объекты, которые выдвигаются в центр общественного внимания и приобретают массовую доступность для их обсуждения и оценок. Эта доступность определяется эмпирическим характером любой

общественной ситуации, возможностью воспринимать и осознавать ее через совокупность конкретных обстоятельств повседневной жизнедеятельности масс, через очевидные факты, события, явления и процессы действительности, затрагивающие их насущные потребности и интересы.

Вместе с тем общественная ситуация, давая проявлениям массового сознания первоначальный материал для размышлений и оценочно-ценностных суждений, становится, можно сказать, и первым базисным пунктом, который начинает ощущать на себе их ответные реакции, и сама испытывает качественно-количественные изменения. Таким образом, находясь в режиме взаимодействия и взаимовлияния и на одном уровне в иерархии социологических категорий, «общественная ситуация» и «массовое сознание» являются парными конкретно-социологическими категориями. При этом каждое из проявлений (состояний) массового сознания может подлежать социологическому измерению по многим показателям и индикаторам. Главным образом используются те из них, которые, во-первых, продемонстрировали свою надежность, валидность в ранее проведенных исследованиях. А во-вторых, те, что в наиболее полной мере позволяют эмпирически выявить сущностные аспекты, которые характеризуют совокупность массовидных духовно-психологических и духовно-практических образований, доминирующих в условиях сложившейся на данный период времени общественной ситуации.

Как одно из состояний сознания общества массовое сознание имеет опосредованную форму социологического измерения через приведенные массовидные духовно-психологические и духовно-практические образования (нематериальные факторы влияния). Свою же качественно-количественную определенность оно получает через процедуру анализа и интерпретации результатов проведенного теоретико-прикладного исследования.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Бехтерев В.М. Предмет и задачи общественной психологии как объективной науки. СПб.: Тип. «Товарищества Художественной Печати», 1911.
- Горшков М.К. Общественное мнение: История и современность. М.: Политиздат, 1988.
- Горячева А.И., Макаров М.К. Общественная психология. Л.: Наука, 1979.
- Левыкин И.Т., Уварова В.И. Социально-психологическая ситуация // Политическое самообразование. 1983. № 4. С. 116–124.
- Ленин В.И. О брошюре Юниуса // Ленин В.И. Полное собрание сочинений. Изд. 5-е. Т. 30. М.: Полит. лит-ра, 1973. С. 1–16.
- Маркс К., Энгельс Ф. Капитал. Критика политической экономии. Т. 1 // Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Изд. 2-е. Т. 23. М.: Госполитиздат, 1960.
- Парыгин Б.Д. Общественное настроение. М.: Мысль, 1966.
- Плеханов Г.В. О материалистическом понимании истории // Плеханов Г.В. Избранные философские произведения: в 5 т. Т. 2. М.: Госполитиздат, 1956.
- Тощенко Ж.Т. Общество травмы: между эволюцией и революцией (опыт теоретического и эмпирического анализа). М.: Весь Мир, 2020.
- Тощенко Ж.Т. Фантомы российского общества. М.: ЦСПиМ, 2015.
- Уледов А.К. Духовная жизнь общества: проблемы методологии исследования. М.: Мысль, 1980.

Статья поступила: 20.11.20. Принята к публикации: 15.12.20.

TO THE ISSUE OF SOCIOLOGY OF COLLECTIVE SPIRITUAL PHENOMENA (THEORETICAL AND METHODOLOGICAL ASPECT)

GORSHKOV M.K.

Federal Center of Theoretical and Applied Sociology of the Russian Academy of Sciences, Russia

Mikhail K. GORSHKOV, Academician of the Russian Academy of Sciences, Director, Federal Center of Theoretical and Applied Sociology of the Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia (director@isras.ru).

Acknowledgements. Work on this paper was supported by Russian Science Foundation, project No. 20-18-00505.

Abstract. The article focuses on theoretical and methodological conceptualization of sociological analysis of the spiritual life of societal phenomena. The author refers to the consideration of collective (mass) spiritual entities, which for the most part have practically “fallen out” in recent decades from the conceptual apparatus of sociology and empirical measurement practices. In order to determine the most adequate indicators for their sociological study, they were divided according to their substantive grounds into two levels – collective spiritual-psychological and spiritual-practical formations. The first ones include social feelings, public moods and attitudes, as well as moral environment, and the second ones – public opinion and public motives. Their description is accompanied by a review of their intrinsic characteristics. Interpretation and operationalization of the concepts expressing both levels of mass phenomena of the spiritual sphere is made with reference to the distinction between “public consciousness”, “consciousness of society” and “mass consciousness”. A generalized survey of the features and characteristics of various types of collective spiritual formations includes consideration of the “state of consciousness” and “social situation” as key phenomena and concepts that express them. It is concluded that it is the social situation, not social relations (as often asserted), which affects the quantitative and qualitative characteristics of collective spiritual formations as the states of consciousness of large social communities. At the same time, they correlate, in philosophical terms, as an essence and phenomenon, as continuous and discontinuous, as a process and its result.

Keywords: collective spiritual formations, consciousness of society, mass consciousness, social feelings, public mood, moral environment, public opinion, public motives, state of consciousness, social situation.

REFERENCES

- Bekhterev V.M. (1911) *The Subject and Tasks of Social Psychology as an Objective Science*. St. Petersburg: Tip. “Tovarishchestvo Khudozhestvennoy Pechati”. (In Russ.)
- Gorshkov M.K. (1988) *Public Opinion: History and Modernity*. Moscow: Politizdat. (In Russ.)
- Goryacheva A.I., Makarov M.K. (1979) *Social Psychology*. Leningrad: Nauka. (In Russ.)
- Lenin V.I. (1973) About Junius’ Pamphlet. In: Lenin V.I. *Complete Works*. 5th ed. Vol. 30. Moscow: Polit. lit-ra: 1–16. (In Russ.)
- Levykin I.T., Uvarova V.I. (1983) Socio-Psychological Situation. *Politicheskoe samoobrazovanie* [Political Self-Education]. No. 4: 116–124. (In Russ.)
- Marx K., Engels F. (1960) Capital: A Critique of Political Economy. Vol. 1. In: Marx K., Engels F. *Collected Works*. 2nd ed. Vol. 23. Moscow: Gospolitizdat. (In Russ.)
- Parygin B.D. (1966) *Public Mood*. Moscow: Mysl’. (In Russ.)
- Plekhanov G.V. (1956) The Materialist Conception of History. In: Plekhanov G.V. *Selected Philosophical Writings*: in 5 vol. Vol. 2. Moscow: Gospolitizdat. (In Russ.)
- Toshchenko Zh.T. (2015) *The Phantoms of Russian Society*. Moscow: TsSPiM. (In Russ.)
- Toshchenko Zh.T. (2020) *Society of Trauma: between Evolution and Revolution (Experience of Theoretical and Applied Analysis)*. Moscow: Ves’ Mir. (In Russ.)
- Uledov A.K. (1980) *Spiritual Life of Society: The Issue of Research Methodology*. Moscow: Mysl’. (In Russ.)

Received: 20.11.20. Accepted: 15.12.20.

«ИНТЕР», «МУЛЬТИ», «ТРАНС» и «ПОСТ»: СОЦИОЛОГИЯ, ДИСЦИПЛИНАРНОСТЬ И ПОСТМОДЕРНИЗМ

ГОФМАН Александр Бенционович – доктор социологических наук, профессор департамента социологии Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»; главный научный сотрудник Института социологии ФНИСЦ РАН, Москва, Россия (agofman@hse.ru).

Аннотация. В статье исследуются исторический и теоретический аспекты взаимосвязи социологии и других научных дисциплин. Рассматриваются позитивные и негативные аспекты этой взаимосвязи. Позитивные проявились, в частности, в формировании более или менее устойчивых «интердисциплинарных дисциплин» на стыке социологии и других наук. В прошлом даже те мыслители, которые относились к социологии скептически или враждебно, иногда оказывали на нее плодотворное воздействие. Примерами такого рода могут служить А. Бергсон или В. Дильтей. В качестве иллюстрации негативного влияния на социологию в статье выступает постмодернизм. Хотя, согласно некоторым аналитикам, в социальной теории он умер, его влияние в теоретической социологии сохраняется; к тому же он возрождается в новых формах. Выделены, в частности, такие черты постмодернизма, как туманность, противоречивость или бессмысленность теоретических конструкций, отрицание междисциплинарных границ, обесценивание науки вместе со стремлением утвердиться в ней же, псевдоновизна в сочетании с претензией на ультрановизну, пустословие, стремление к эпатажу и модности, политическая и прочая ангажированность и т.д. В качестве характерного и наиболее знаменитого примера постмодернизма в социологической теории рассматриваются воззрения М. Фуко. Один из главных выводов статьи заключается в необходимости большей разборчивости, рефлексии и критичности социологии при выборе внешних теоретических ориентиров.

Ключевые слова: теоретическая социология • интердисциплинарность • мультидисциплинарность • трансдисциплинарность • постмодернизм • Мишель Фуко

DOI: 10.31857/S013216250013028-3

Социология и интеграция наук. Мы привыкли думать и часто утверждаем, что взаимовлияния и интеграция научных дисциплин, исследования «на стыке наук», заведомо плодотворны для развития научного знания. Это касается как естественных, так и социогуманитарных наук. Подобная интеграция осуществляется в различных формах, взаимопроницающих и тесно связанных между собой. К ним относятся такие явления, как *интердисциплинарность*, *мультидисциплинарность*, *трансдисциплинарность* и т.п. Издавна и постоянно формируются разного рода «интердисциплинарные» и «трансдисциплинарные» дисциплины, расположенные на границах различных наук, проходящие сквозь эти границы или над ними. Среди них образуются более или менее устойчивые, например геофизика, физическая химия, биогеография или зоосемиотика, а в науках о человеке – психофизиология, социальная психология, историческая социология, историческая демография, политическая география и т.д. Ряд наук объединяется для изучения определенных проблемных областей, в частности, таких как *распространение инноваций* (*diffusion of innovations*), *культуральные исследования* (*cultural studies*) или *гендерные исследования* (*gender studies*).

Действительно, на пути интеграции наук получены впечатляющие результаты. Именно на границах различных научных дисциплин, там, где бывает трудно или невозможно понять, к какой из них следует отнести исследуемый объект, часто располагаются наиболее важные научные проблемы. Как говорил М. Мосс, именно эту «скверную» (“vilaine”) пограничную рубрику мы часто обозначаем как «разное», помещая в нее факты, которые

свидетельствуют о нашем незнании: «Неизведанное находится на границах наук, там, где, как сказал Гёте, профессора “поедают друг друга”... Как правило, именно в этих слабо отграниченных друг от друга областях коренятся животрепещущие проблемы» [Мосс, 2011: 304].

На протяжении всей своей истории социология интенсивно и плодотворно взаимодействовала с самыми различными естественными, социальными и гуманитарными науками. Для рубежа XIX–XX вв. характерно возникновение ряда специфических «интердисциплинарных дисциплин» на стыке социологии и других наук. Некоторые из них сохранились до наших дней, другие остались в прошлом, во всяком случае пока. Среди первых можно назвать историческую социологию или социальную психологию; среди последних – фито-социологию [Шмерлина, 2019] и зоосоциологию. Хотя сегодня эти последние дисциплины формально не существуют, в том или ином виде они и сегодня неявно присутствуют в научном пространстве, сохраняя свой эвристический потенциал и позитивно воздействуя на развитие социологического видения реальности.

В разное время социология испытывала самые различные «внешние» влияния, исходившие от других научных дисциплин и сфер знания. Даже среди тех мыслителей и ученых, которые не были приверженцами социологии как науки (во всяком случае, в современном для них виде) и, более того, относились к ней скептически или даже враждебно, были те, кто повлиял на нее в высшей степени плодотворно и способствовал ее развитию. В качестве примера можно привести двух представителей философии жизни: В. Дильтея и А. Бергсона. Немецкий философ, психолог и литературовед Дильтей не считал социологию «настоящей наукой»; он критиковал ее за то, что она основана на «ложном» методе и не способна внести ничего нового в познание человека и его «духовной жизни»¹. Несмотря на это, он непреднамеренно внес существенный вклад в развитие этой науки. Именно ему она обязана внедрением герменевтики в познание социальной жизни, а без герменевтики в том или ином виде представить себе сегодняшнюю социологию невозможно. Французский философ Бергсон, относившийся к социологии довольно сдержанно, еще до К. Поппера разработал первую версию теории закрытого и открытого обществ, занимающую важное место в социологической теории [Бергсон, 2010].

В общем, из предыдущего следует, что взаимодействие, взаимовлияние и сотрудничество социологии, с одной стороны, и других научных дисциплин – с другой, – явление постоянное и плодотворное. Тезис этот вполне общепризнан и в принципе вряд ли может вызвать у кого-нибудь возражения. В самом деле, сегодня трудно было бы найти социолога, который бы доказывал необходимость внутридисциплинарной замкнутости своей науки, так же как и отказ от сотрудничества с другими дисциплинами и «внешними» для своей науки теоретическими ориентациями. Современная социология в значительной мере является меж- и постдисциплинарной (см.: [Кравченко, 2020]).

Но всегда ли и во всем постдисциплинарность является плодотворной? Любое ли внешнее влияние на социологию следует рассматривать как благо? Если ее цель – рост и развитие социологического знания, решение научных и практических проблем, то со всеми ли формами научного и вненаучного знания нужно и полезно сближаться и объединяться? На мой взгляд, на эти вопросы следует ответить отрицательно. История и современность демонстрируют нам не только позитивные, но и негативные примеры обращения социологов к внешним для своей дисциплины познавательным средствам и источникам вдохновения.

На грани дисциплинарности и научности: постмодернизм и социология. В качестве характерного и масштабного примера негативного воздействия на социологию последних десятилетий можно привести проникновение в нее постмодернистского мировоззрения².

¹ Одна из глав его «Введения наук о духе» так и называется: «Философия истории и социология не являются настоящими науками» [Дильтей, 2000: 365].

² О различных точках зрения на его роль в социологии см., в частности: [Щелкин, 2017; Чудова, 2017].

Первоначально оно утвердилось в таких областях, как философия, литературная теория и литературная критика, теоретическое искусствознание, искусство, архитектура и некоторые другие сферы культуры, и уже оттуда стало проникать в социальную науку. В ней этот теоретический постмодернизм нередко фигурирует под именем не социологической, а «социальной» теории, составляя, впрочем, лишь одно из направлений последней. Само выражение «социальная теория» содержит в себе неявное указание на интер(мульти-, кросс- или транс-)дисциплинарный и менее строгий характер данной формы теоретизирования о социальных явлениях, что как раз и отличает постмодернизм.

Попытки очертить рамки постмодернизма в целом и его социально-научной версии в частности делались многократно с большим или меньшим успехом. При этом сами сторонники постмодернизма могут признавать себя таковыми или нет; главное в данном случае – соответствие их взглядов определенным признакам, отличающим это направление. Большинство аналитиков подчеркивает чрезвычайно разнородный и противоречивый характер этого направления, объединяющего в том числе и взаимоисключающие воззрения. Выражение «мешанина взглядов», используемое Е. Шацким для его характеристики, представляется достаточно удачным [Шацкий, 2018: 575]. Но, несмотря на отмеченную разнородность постмодернизма, в нем все же можно обнаружить некоторые общие черты.

Пожалуй, наиболее общий его признак состоит в явной и неявной оппозиции по отношению к «модернизму», к так называемому «проекту» Модерна и соответствующему мировоззрению. Важно иметь в виду, что все выражения, содержащие префикс «пост» («после»): «посттрадиционность», «постклассика», «постиндустриализм», «постколониализм» и т.п., – означают то, что предшествует этому «после», более или менее известно и понятно. А вот то, что, согласно подобным теоретикам «постизма», следует за «предшественником», то, в чем заключается это «пост», – наоборот, не очень известно, не очень понятно или даже вообще еще не сформировалось; во всяком случае, в соответствующих теориях оно носит довольно неопределенный и разнородный характер.

Подчеркивая свое отрицание модерна и противостояние модернизму как его обособнованию, постмодернизм в действительности не только и не просто привязан к модернизму, образуя с ним симметричную пару. Он явно заимствует у него ряд идей, приписывая их себе, но одновременно значительно упрощает и искажает воззрения противника. Вслед за представителями Франкфуртской школы он изображает авторов «проекта» Модерна наивными и недалекими рационалистами, прогрессистами и оптимистами, каковыми они в действительности не были. При этом некоторые из модернистских идей, будучи заимствованными, в постмодернистских концепциях утрируются и радикализируются, доводятся до крайней точки, после чего они утрачивают свою обоснованность, так же как и связь с реальностью. Это относится, в частности, и к идее релятивизма знания, и к отказу от жесткого «лапласовского» детерминизма в объяснениях, и к отрицанию «больших нарративов», или «метанарративов», и к тезису о необходимости плюрализма и сосуществования различных теоретических подходов и т.д.: все они присутствовали уже в модернизме, но в менее утрированном и вульгаризованном виде.

В принципе постмодернизм – явление вненаучное или находящееся на границе между наукой и иными формами познания: философско-метафизической, обыденной, художественно-эстетической, политической, религиозной, мистической и т.п. Проблема демаркации для него не существует, даже тогда, когда он выступает от имени науки. Неудивительно, что среди общих черт, характерных для постмодернистского мировоззрения, мы часто встречаем подчеркнуто пренебрежительное отношение к научному знанию, его обесценивание и, что особенно любопытно, одновременное *стремление утвердиться в нем же*. Негативизм в отношении науки проявляется в громко декларируемом отрицании различий между научным и вненаучным знанием; в попытках редуцировать первое к последнему, растворить его в нем; наконец, в многочисленных предсказаниях конца науки вообще. Естественным спутником уничижительной трактовки науки является отрицание

автономии научного познания, а вместе с тем и научной истины как ценности и цели познавательного процесса.

К отмеченным чертам примыкают и утверждения о полном отсутствии универсального начала в социальной науке, ее сугубо «западном» характере и полной неприменимости к «незападным» обществам. Отсюда и призывы к ее «индигенизации», так что, согласно постмодернистскому идеалу, у каждой цивилизации, каждого общества, класса или племени должна быть своя собственная, своеобразная и уникальная социальная наука, пригодная только для каждого из этих социальных и групповых образований.

С предыдущим связано и *непризнание внутридисциплинарных идентичностей и междисциплинарных границ*: постмодернизм носит принципиально интер-, мульти-, транс- и даже антидисциплинарный характер. Для его сторонников, как правило, нет отдельных научных дисциплин; они предпочитают говорить о социальных и гуманитарных науках в целом.

Еще одна черта постмодернизма в целом и социально-теоретического в частности – это *расплывчатость, туманность, многозначность, противоречивость* теоретических конструкций. Нередко теоретическая путаница, темнота стилиа или просто бессмыслица оправдываются сложностью изучаемых проблем. Исправить эти изъяны призваны многочисленные интерпретации, сопровождающие постмодернистские тексты, но они мало способствуют их прояснению, порождая лишь новые клубы густого теоретического тумана. Постмодернистские теории очередной раз подтверждают справедливость известного высказывания У. Эко: «Ничто не порождает столько толкований, как бессмыслица».

К предыдущей особенности тесно примыкают и такие черты социального постмодернизма, как *псевдоновизна* в сочетании с претензиями на ультрановизну; *снобизм* по отношению к «скучной» науке («традиционной», «классической», «старомодной» и т.п.); неумное стремление к *эпатажу*; *словоблудие, словесные игры и многоречивость*³. Чрезвычайная популярность ряда постмодернистских теорий тесно связана с их активным участием в разнообразных интеллектуальных модах (см.: [Гофман, 2013; 2015; Шапиро, 2011: 26]), с близостью к различным социальным движениям, с политической и прочей ангажированностью, а также с *медийной гиперактивностью*.

Многие проблемы современной социологии, снижение ее авторитета в обществе и в научном сообществе, на мой взгляд, связаны с ее «заражением» постмодернистским мировоззрением. В какой-то мере такая ситуация сложилась из-за того, что социологи часто боятся теоретизировать, опасаясь обвинений в недостаточной научности, исходящих от эмпирицистов и индуктивистов. В результате социологи в своих теоретико-концептуальных исканиях (без которых обойтись невозможно) часто обращаются либо к концепциям *ad hoc*, либо к различным доморощенным представлениям, взятым где попало, либо, наконец, к другим дисциплинам, где подобных вопросов не задают и где научная (или «как бы» научная) мысль свободно парит, не будучи ограничена никакими рамками.

Правда, уже сравнительно давно многие аналитики и адепты постмодернизма, в том числе в социальной теории, констатировали его смерть. Видимо, он действительно скончался, если его понимать как определенное интеллектуальное и культурное движение с собственным самосознанием и четкой самоидентификацией. Но, во-первых, это движение существует не только в тех явных пределах, которые очерчиваются самими его участниками. Более того, они могут даже дистанцироваться от этого движения, отвергать или критиковать его. Главное в данном случае – не самоидентификация постмодернистов, а определенные признаки, делающие их постмодернистами, независимо от того, признают ли они себя таковыми.

³ Американский философ и социолог С. Фуллер для характеристики этой особенности постмодернистского теоретизирования использует английское слово “bullshit”, которое в русском переводе его книги фигурирует как «пустозвонство» [Фуллер, 2018: 313–348]. В переводе ранее вышедшей книги Гарри Франкфурта это же слово, вынесенное в ее заглавие, переведено как «брехня». А в русском переводе книги Д. Гребера (посвященной, правда, другой теме) оно переведено как «бред» [Гребер, 2020].

Во-вторых, даже если постмодернизм умер, это не означает, что его влияние также умерло вместе с ним: упомянутое выше «заражение» им продолжается и в настоящее время. Наконец, в-третьих, на смену старому, исходному постмодернизму пришли его новые воплощения, такие как *постпостмодернизм* и его разновидности: *автомодернизм*, *альтермодернизм*, *метамодернизм* и т.п. По существу, все они мало чем отличаются от постмодернизма: вопреки разного рода декларациям, они в основном воспроизводят его принципиальные черты, отчасти перечисленные выше (см.: [Павлов, 2020]). Можно с полным основанием утверждать, что постпостмодернизм – это тоже постмодернизм, несмотря на его попытки подчеркнуть свою оригинальность по отношению к этому последнему.

В свете вышеизложенного чрезвычайно характерным, интересным и поучительным представляется пример М. Фуко (1926–1984), мыслителя, личность и творчество которого в последние десятилетия обрели такую популярность, что стали почти сакральными. Ему посвящено огромное множество трудов, и, разумеется, здесь не ставится задача представить его воззрения в более или менее полном виде. Речь пойдет лишь о некоторых сторонах его воззрений, которые непосредственно касаются нашей темы и иллюстрируют некоторые положения, сформулированные выше.

Мишель Фуко как постмодернист. Прежде всего, следует отметить, что сам Фуко не считал себя ни постмодернистом, ни социологом, что не помешало ему в действительности оказаться и тем, и другим. Можно с полным основанием утверждать, что его творчество является одной из главных версий постмодернизма в социологии.

Правда, социологом Фуко был признан не сразу. Даже в конце 1990-х гг. вопрос о том, можно ли считать его воззрения социологическими, еще только обсуждался, и некоторые аналитики склонялись скорее к отрицательному ответу на этот вопрос (см.: [Fox, 1998]). И во французском «Словаре социологической мысли» (2005) статьи о нем нет (см.: [Dictionnaire..., 2005]). Во французском университетском учебнике «Современные течения в социологии», вышедшем первым изданием в 2008 г., небольшое место для упоминания о нем уже нашлось, хотя авторы и отмечали, что, строго говоря, его труды не относятся ни к историческим, ни к социологическим, медленно внедряясь в социологическую рефлексии [Béraud, Coulmont, 2018: 166]).

Однако постепенно, хотя и не без некоторых колебаний, социологическое сообщество все чаще стало зачислять Фуко в свои ряды. В последнее двадцатилетие его теоретические конструкции все чаще рассматриваются как вполне социологические, хотя и прежние их трактовки в качестве «социальных» и вместе с тем находящихся внутри постмодернистского движения или на границе с ним также сохраняются (см., напр.: [Ритцер, 2002: 528–537; Шацкий, 2018: 560–572; Joseph, 2004; Power, 2011]). Более того, он превратился в одного из популярнейших и влиятельнейших теоретиков социологии.

Сам Фуко не стремился к тому, чтобы войти в социологическое сообщество, социологией не очень интересовался и относился к ней довольно скептически. Даже касаясь сугубо социологических тем, он изучал их так, как если бы до него они в ней не изучались. Его собственная интерпретация социальных аспектов таких явлений, как психопатология, медицина, тюрьма, познание, наука, власть, изучением которых он занимался, на первый взгляд, выглядит вполне социологической, даже банальной и продолжающей достаточно старую социологическую традицию. В конце концов, и до Фуко социологам, да и не только им, было хорошо известно, что такие явления, как психопатология, преступность и связанные с ней наказания, во многом порождаются социальными факторами, изменяющимися от эпохи к эпохе. Социология познания и науки также существовали задолго до его «археологических» и «генеалогических» исследований познавательных процессов; социологи издавна так или иначе изучали воздействие на эти процессы исторически изменчивых обществ, социальных групп, норм и власти.

Новизна и оригинальность воззрений Фуко начинают просматриваться лишь тогда, когда акцент на социальных аспектах изучаемых им явлений приобретает парадоксальный, экстравагантный или утрированный характер. Считать их при этом обоснованными,

доказанными или в каком-то смысле убедительными можно, но только если самому испытывать склонность к парадоксальности, экстравагантности и утрированности суждений и выводов. Специалисты в области изучения определенных социальных институтов, историю которых он исследовал, часто считали результаты его исследований ошибочными, необоснованными или сомнительными, но это никак не сказывалось на их популярности.

Подобно тому, как в XIX в. Маркс выступил от имени «четвертого сословия», угнетаемого пролетариата, провозгласив его спасителем всего человечества, Фуко выступил выразителем интересов, защитником и идеологом молчащих меньшинств, тех, кому ранее не было предоставлено слова в социальной теории, кого общество исключало из своих рядов и (или) признавало девиантными. Среди них оказались пациенты клиник, главным образом психиатрических; преступники, отбывающие наказание в тюрьмах; рабочие фабрик и учащиеся школ, которые в его истолковании мало чем отличаются от заключенных в тюрьмах; сексуальные меньшинства; приверженцы периферийных форм знания, подавленные и вытесненные на обочину познавательной деятельности доминирующей наукой; наркоманы и другие жертвы вездесущей «власти». Теоретические воззрения Фуко, сопровождавшие его довольно бурную политическую деятельность, по существу явились рационализацией неосознанных позиций, эмоций и стремлений этих групп. Из его исторических трудов и интерпретаций следовало, что скорее не психопатология, преступность и тюрьма – это социальные конструкции и институты, а наоборот, социальность, общество и его институты – это явления психопатологические, преступные и тюремные.

Общество Фуко интерпретирует вполне в духе вульгарного социального дарвинизма конца XIX в. Он перефразирует знаменитые слова Клаузевица о том, что война есть продолжение политики другими средствами, утверждая, что скорее, наоборот, политика – это продолжение войны другими средствами. Война, по его словам, «постоянно и полностью разделяет общество; она помещает каждого из нас в тот или другой лагерь» [Фуко, 2005: 284]. Это утверждение дополняется еще одним в том же духе: «Понимание общественных отношений следует искать в смеси насилия, страстей, ненависти, реванша, а также в мелких обстоятельствах, которые приводят к поражениям и победам» [Фуко, 2005: 285]. Очевидно, что при подобном подходе такие явления, как социальная сплоченность, солидарность, согласие, – это не более чем эпифеномены по отношению к социальной вражде. Очевидно также, что считать такого рода утверждения убедительными или, тем более, доказанными нет никаких оснований.

Общество и его институты в истолковании Фуко в лучшем случае – неизбежное зло. Выражения «дисциплина», «дисциплинарное общество», «нормализация» и т.п., ставшие столь популярными среди его поклонников, содержат у него уничижительный, язвительный и иронический смысл. Следует подчеркнуть, что социальные институты и отношения Фуко вообще сводит к отношениям власти, которую, как неоднократно отмечалось аналитиками, он трактует чрезвычайно широко. В его интерпретации в качестве «власти» выступают любое социальное влияние, любое социальное действие, любой институт и социализация как таковая.

Следует подчеркнуть, что научно-теоретические воззрения Фуко нельзя рассматривать в отрыве от его практической и политической деятельности. Собственно, подобная позиция была близка и ему самому. Его социально-политические воззрения, как, впрочем, и другие, отличались чрезвычайной изменчивостью, разнородностью и противоречивостью. В разное время он был марксистом и членом Французской компартии во времена Сталина, правда, впоследствии резко осуждавшим ГУЛАГ; он был тесно связан с маоистами во время майской революции 1968 г. во Франции; он поддержал приход к власти религиозных клерикалов в Иране; с радикальных позиций он постоянно критиковал западную цивилизацию, выступая с левыми политическими лозунгами и требованиями; в придачу ко всему он работал в диппредставительствах и сотрудничал с правительственными учреждениями Пятой республики. Пожалуй, более или менее реалистичной в данном отношении, хотя и не без оговорок, можно признать его самохарактеристику как «левого анархиста» [Эрибон, 2008: 164].

Как писал близкий друг и почитатель Фуко, известный французский историк П. Вен, он был «воином», и в качестве такового «у него нет убежденности, но есть решимость ("убеждения имеют дураки", – сказал он однажды)» [Вен, 2013: 163]. Выражаясь веберовским языком, Фуко была близка главным образом не этика ответственности, а этика убеждения⁴. Если выражаться точнее, то ему была свойственна этика личной убежденности, носящей достаточно изменчивый и импульсивный характер.

Будучи постмодернистом, Фуко был противником «дисциплинарности» не только в социальной жизни, но и в науке, и не только в смысле соблюдения каких-то научных норм, но и в отношении разделения труда в науке и признания отдельных дисциплин внутри нее. Он отвергал свою причастность не только к социологии, но и к другим дисциплинам, к которым имел какое-либо отношение: к истории, психологии, философии, в существовании которой иногда выражал сомнение. Список людей, влияние которых испытал Фуко, огромен и отличается чрезвычайной пестротой. Среди них оказались Маркс, Ницше, Фрейд, Жорж Батай, Луи Альтюссер, Мао Цзэдун, де Сад, Реймон Руссель, Антонен Арто, Жан Жене и т.д. Его мысль всегда носила сугубо ситуативный и контекстуальный характер, даже тогда, когда речь шла о более или менее универсальных вещах. В конце концов, он все-таки решил признать себя философом, продолжающим кантианскую традицию (см.: [Миллер, 2013: 456, прим. 1]). Можно не сомневаться, что Кант был бы крайне удивлен, увидев Фуко среди своих последователей, и не признал бы его в этом качестве.

Отношение Фуко к науке было в высшей степени противоречивым; это, так же как и предыдущие особенности, дает полное основание считать его постмодернистом. Он выступил как «отец *Kathedernihilismus*» [Миллер, 2013: 21] (по аналогии с немецкими «кафедральными социалистами» конца XIX в.). Речь идет о тех ученых и мыслителях, которые, занимая высокие позиции в университетско-академической системе, в официальной науке, вместе с тем третируют ее, обвиняют в разного рода пороках и стремятся разрушить ее как особый род познавательной деятельности.

С одной стороны, Фуко был академическим ученым, исследователем, постоянно трудившимся в библиотеках и архивах, преподававшим в университетах и носившим почетнейшее звание профессора Коллеж де Франс. Временами ему нравилось представлять себя в роли «невинного наблюдателя», «счастливого позитивиста», отстаивающего превосходство «чистой», «строгой» науки, девиз которой – «серьезность» (см.: [Миллер, 2013: 217; Эрибон, 2008: 323]).

С другой стороны, этика социального ученого часто вытеснялась у него другими, в частности этикой политического активиста, постоянно участвовавшего в самых различных движениях более или менее радикального толка и вынужденного так или иначе адаптировать свои взгляды к их программам⁵. Наука в трактовке Фуко – это «дисциплинарная полиция знаний» [Фуко, 2005: 197], подавляющая иные, гораздо более ценные формы знания. Он рассуждал о «противостоянии», «борьбе» и современном «восстании» этих «подчиненных» знаний «против научного дискурса, его знания и власти» [там же: 33]. Это «восстание» он всячески поддерживал и считал себя его участником. Истина в его интерпретации – это результат чего угодно: силы, власти, сопротивления власти, особых «диспозитивов», «игр истины» и т.д., но только не, или в последнюю очередь, познания как такового. Таким образом, он был активным борцом с той самой академической наукой, в которой занимал ключевые позиции.

Среди главных постмодернистских черт у Фуко необходимо подчеркнуть чрезвычайную противоречивость, неопределенность и расплывчатость его взглядов, теоретических конструкций и понятий, в том числе наиболее популярных. Эти черты почти общепризнаны

⁴ «Я не ощущаю ответственности за то, что происходило со мной в жизни», – говорил он (цит. по: [Миллер, 2013: 389]).

⁵ Свои первые статьи в газете «*Libération*» Фуко подписывал как «активист и профессор Коллеж де Франс» (цит. по: [Миллер, 2013: 336, прим. 1]).

среди экзегетов его творчества. Дж. Миллер вполне обоснованно отмечал «страсть Фуко к игре в прятки» и манеру уклоняться «от прямых определений» [Миллер, 2013: 86, прим. 1; 121]. А известный историк и филолог Ж. Дюмезиль, который был старшим другом и покровителем Фуко, утверждал, что «он носил маски, которые то и дело менял» (цит. по: [Эрибон, 2008: 15]). Любопытно, что эта особенность сочеталась у него с постоянным стремлением к срыванию масок с других: различных социальных акторов, движений и институтов.

Аналитики часто берут на себя нелегкую задачу преодолеть отмеченную неуволимость, делая это самыми различными способами: от написания множества интерпретативных трудов до создания бесчисленных кратких введений, лексиконов, ридеров и т.п., посвященных расшифровке его понятий и высказываний. К сегодняшнему дню «фукология» и фукоизм во многом превратились в увлекательную игру, состоящую в поиске того, что такое «подлинный» Фуко и что он думал «на самом деле», игру, все больше напоминающую разгадывание ребусов. В то же время многие его почитатели и последователи вдохновляются его идеями, не особенно в них вникая и довольствуясь применением к тем или иным случаям таких вошедших в широкий обиход понятий, как «дискурс», «диспозитив», «дисциплинарное общество», «нормализация», «биополитика», «власть-знание» и т.п.

Заключение. В нынешнюю эпоху «постистины» популярность идей оказывается никак не связанной с их истинностью. Нравится нам это или нет, но влияние идей Фуко и постмодернизма в целом на социологию, прежде всего теоретическую, чрезвычайно велико. И неважно, ошибочны эти идеи или нет, насколько они далеки от истины или близки к ней: важно не то, что они не «истинны», а то, что они «постистинны».

Как в этой связи оценивать указанное течение? Невозможно утверждать, что оно целиком негативно. В чем-то оно может быть благотворным в качестве философской или эстетической тенденции. Да и в социальной науке постмодернизм вполне может играть стимулирующую роль, если, конечно, не воспринимать его как науку. Благодаря ему были раздвинуты рамки «подлинной» социальной науки, расширено ее мировоззрение, которое стало более гибким и способным воспринимать безграничное многообразие социального мира. Под его влиянием получили развитие некоторые области знания, ранее находившиеся в тени, например социология медицины, психиатрии или телесности.

В содержательном отношении основные положения постмодернизма, как следует из вышеизложенного, во многом ошибочны, туманны и деструктивны с точки зрения развития социологического знания. Тем не менее даже «постистинные», т.е. ошибочные или даже лишённые смысла, идеи могут выступать в качестве стимулятора. Но это возможно только при одном условии: они должны быть осознаны как вненаучные, т.е. внешние по отношению к научному знанию. Очевидно, что стимулировать процесс научного творчества могут самые разнообразные внешние влияния: от музыки Моцарта или пейзажа за окном во время научной работы до чашечки крепкого кофе или биологически активных добавок, принимаемых исследователем. Да, БАДы могут стимулировать научное творчество, но мы не должны путать их прием с самим этим творчеством.

Наконец, если признавать стимулирующее воздействие постмодернизма на социологию, то важно также помнить и о том, какова цена этого стимулятора. Его массивное использование может приводить и реально приводит к снижению авторитета, статуса и престижа социологии, которую вследствие этого иногда воспринимают как некую эзотерическую говорильню. Разумеется, речь не может идти о том, чтобы как-то регулировать поиски вне своей дисциплины. В принципе социология вправе заимствовать что угодно и где угодно, особенно если подобные заимствования плодотворны в научном отношении. Необходимы лишь большая разборчивость, критичность и основательная рефлексия относительно того, что, как и где заимствовать. На мой взгляд, явное и неявное влияние постмодернизма в современной социологии, как и моды, идущей с ним рука об руку, слишком велико и в целом вряд ли может быть признано благотворным. В то же время взаимодействие социологии с серьезными исследованиями и теоретическими разработками, осуществляемыми, например, в исторической науке и социальной антропологии, представляется недостаточным и весьма желательным.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Бергсон А. Два источника морали и религии. 2-е изд., испр. М.: Университет, 2010.
- Вен П. Фуко. Его мысль и личность. СПб.: Владимир Даль, 2013.
- Гофман А.Б. Мода, наука, мировоззрение. О теоретической социологии в России и за ее пределами // Гофман А.Б. Традиция, солидарность и социологическая теория. Избранные тексты. М.: Новый хронограф, 2015. С. 274–323.
- Гофман А.Б. О модах в современной теоретической социологии // Социологические исследования. 2013. №10. С. 21–28.
- Гребер Д. Бредовая работа. Трактат о распространении бессмысленного труда. М.: Ad Marginem, 2020.
- Дильтей В. Введение в науки о духе // Дильтей В. Собрание сочинений в 6 т. Т. 1: Введение в науки о духе. М.: Дом интеллектуальной книги, 2000. С. 270–730.
- Кравченко С.А. Развитие предмета социологии: от монодисциплинарности к меж- и постдисциплинарности // Социологические исследования. 2020. № 3. С. 16–26. DOI: 10.31857/S013216250008794-6.
- Миллер Д. Страсти Мишеля Фуко. М.; Екатеринбург: Кабинетный ученый, 2013.
- Мосс М. Техники тела // Мосс М. Общества. Обмен. Личность. Труды по социальной антропологии. Изд. 2-е, испр. и доп. М.: Книжный дом «Университет», 2011. С. 304–325.
- Павлов А.В. Постмодернизм: критическое введение // Постмодернизм. Историчность, аффект и глубина после постмодернизма / Под ред. Р. Ван ден Аккера, Э. Гиббонс, Т. Вермюлена. М.: РИПОЛ классик, 2020. С. 10–27.
- Ритцер Дж. Современные социологические теории. СПб.: Питер, 2002.
- Франкфурт Г. К вопросу о брехне. Логико-философское исследование. М.: Европа, 2008.
- Фуко М. «Нужно защищать общество». Курс лекций, прочитанных в Коллеж де Франс в 1975–1976 учебном году. СПб.: Наука, 2005.
- Фуллер С. Социология интеллектуальной жизни. Карьера ума внутри и вне академии. М.: Дело, 2018. С. 313–348.
- Чудова И.А. Постмодернизм и социология: опасности или возможности? // Социологические исследования. 2017. № 4. С. 122–128.
- Шапиро И. Бегство от реальности в гуманитарных науках. М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2011.
- Шацкий Е. История социологической мысли. Т. II. М.: НЛЮ, 2018.
- Щёлкин А.Г. Постмодернизм в социологии. О ненавязчивых последствиях одной социологической моды // Социологические исследования. 2017. № 2. С. 120–130.
- Эрибон Д. Мишель Фуко. М.: Молодая гвардия, 2008.
- Эспинас А. Социальная жизнь животных: опыт сравнительной психологии. Изд. 3-е. М.: ЛИБРОКОМ, 2012.
- Béraud C., Coulmont B. Les courants contemporains de la sociologie. Paris: Presses Universitaires de France / Humensis ("Quadrige Manuels"), 2018.
- Dictionnaire de la pensée sociologique. Sous la dir. de M. Borlandi, R. Boudon, M. Cherkaoui, B. Valade. Paris: Presses Universitaires de France, 2005.
- Fox N. Foucault, Foucauldians and Sociology // The British Journal of Sociology. 1998. Vol. 49. No. 3. P. 415–433. DOI: 10.2307/591391.
- Joseph J. Social Theory. An Introduction. New York: New York Univ. Press, 2004.
- Power M. Foucault and Sociology // Annual Review of Sociology. 2011. Vol. 37. P. 35–56. DOI: 10.1146/annurev-soc-081309-150133.

Статья поступила: 11.12.20. Финальная версия: 16.01.21. Принята к публикации: 25.01.21.

"INTER", "MULTI", "TRANS" AND "POST": SOCIOLOGY, DISCIPLINARITY AND POSTMODERNISM

GOFMAN A.B.

National Research University Higher School of Economics, Russia

Alexander B. GOFMAN, Dr. Sci. (Sociol.), Prof., National Research University Higher School of Economics; Chief Researcher, Institute of Sociology of FCTAS RAS, Moscow, Russia (agofman@hse.ru).

Abstract. The article analyzes the historical and theoretical aspects of interrelationship of sociology and other disciplines. The author examines the "positive" and "negative" sides of this interrelationship. The "positive" aspects can be seen in the explorations of the problems located on the borders of different disciplines, in the forms of inter-, multi- or trans-disciplinary studies, such as, for instance, the diffusion of innovations, gender or cultural studies. Even the thinkers, whose attitude towards sociology was sceptical or hostile, exercised a fruitful influence on the development of sociology. As examples can be cited the theory of close and open societies by Henri Bergson or the treatment of hermeneutics by Wilhelm Dilthey. The "negative" influence is illustrated by the postmodernism in sociological theory. Although, according to some analysts, it is dead in this field, its influence continues there; besides, it is reviving in new guises ("postpostmodernism", etc.). The author emphasizes such traits of postmodernism as the vagueness or senselessness of conceptual constructions; denial of interdisciplinary borders; devaluation of science and, at the same time, tendency to establish itself in it; pseudo-newness and pretention to ultra-newness; verbiage, shocking, faddishness, political partisanship, etc. These statements are illustrated by the case of Michel Foucault, the most characteristic and famous postmodernist in sociology. One of the main conclusion of this article is the need of sociology to be more selective, critical and reflexive in its choice of external influences.

Keywords: theoretical sociology, interdisciplinarity, multidisciplinarity, transdisciplinarity, postmodernism, Michel Foucault.

REFERENCES

- Béraud C., Coulmont B. (2018) *Contemporary Trends in Sociology*. Paris: Presses Universitaires de France / Humensis ("Quadrige Manuels"). (In Fr.)
- Bergson H. (2010) *The Two Sources of Morality and Religion*. Moscow: Knizhnyi dom "Universitet". (In Russ.)
- Chudova I.A. (2017) Postmodernism and Sociology: Dangers or Opportunities? *Sotsiologicheskie issledovaniya* [Sociological Studies]. No. 4: 122–128. (In Russ.)
- Borlandi M., Boudon R., Cherkaoui M., Valade B. (eds) (2005) *A Dictionary of Sociological Thought*. Paris: Presses Universitaires de France. (In Fr.)
- Dilthey W. (2000) Introduction to the Human Sciences. In: Dilthey W. *Collected Works* in 6 vols. Vol. 1. Moscow: Dom intellektualnoi knigi: 270–730. (In Russ.)
- Eribon D. (2008) *Michel Foucault*. Moscow: Molodaya gvardiya. (In Russ.)
- Espinass A. (2012) *The Social Life of Animals*. 3rd ed. Moscow: LIBROKOM. (In Russ.)
- Foucault M. (2005) *"Society Must be Defended": Lectures at the Collège de France, 1975–1976*. St. Petersburg: Nauka. (In Russ.)
- Frankfurt H.G. (2008) *On Bullshit*. Moscow: Evropa. (In Russ.)
- Fuller S. (2018) *The Sociology of Intellectual Life: The Career of the Mind in and around Academy*. Moscow: Delo. (In Russ.)
- Fox N. (1998) Foucault, Foucauldians and Sociology. *The British Journal of Sociology*. Vol. 49. No. 3: 415–433. DOI: 10.2307/591391.
- Gofman A.B. (2015) Fashion, Science, Weltanschauung. On Theoretical Sociology in Russia and Abroad. In: Gofman A.B. *Tradition, Solidarity and Sociological Theory*. Selected Texts. Moscow: Novyi khronograf: 274–323. (In Russ.)
- Gofman A.B. (2013) On Fashions in Contemporary Theoretical Sociology. *Sotsiologicheskie issledovaniya* [Sociological Studies]. No. 10: 21–28. (In Russ.)
- Graeber D. (2020) *Bullshit Jobs: A Theory*. Moscow: Ad Marginem. (In Russ.)
- Joseph J. (2004) *Social Theory. An Introduction*. New York: New York Univ. Press.
- Kravchenko S.A. (2020) Development of the Subject of Sociology: from Monodisciplinarity to Inter- and Post-Disciplinarity. *Sotsiologicheskie issledovaniya* [Sociological Studies]. No. 3: 16–26. DOI: 10.31857/5013216250008794-6. (In Russ.)
- Mauss M. (2011) Techniques of the Body. In: Mauss M. *Societies. Exchange. Personality: Essays in Social Anthropology*. Moscow: Knizhnyi Dom "Universitet". (In Russ.)

- Miller J. (2013) *The Passion of Michel Foucault*. Moscow; Ekaterinburg: Kabinetnyĭ uchionyĭ. (In Russ.)
- Pavlov A.V. (2020) Metamodernism: A Critical Introduction. In: van den Akker R., Gibbons A., Vermeulen T. (eds) *Metamodernism: Historicity, Affect, and Depth after Postmodernism*. Moscow: RIPOL klassik: 10–27. (In Russ.)
- Power M. (2011) Foucault and Sociology. *Annual Review of Sociology*. Vol. 37: 35–56. DOI: 10.1146/annurev-soc-081309-150133.
- Ritzer G. (2002) *Modern Sociological Theory*. St. Petersburg: Piter. (In Russ.)
- Shapiro I. (2011) *The Flight from Reality in the Human Sciences*. Moscow: Izd. dom Vyshey shkoly ekonomiki. (In Russ.)
- Shchelkin A.G. (2017) Postmodernism in Sociology. On Unobtrusive Consequences of a Recent Sociological Fashion. *Sotsiologicheskie issledovaniya* [Sociological Studies]. No. 2: 120–130. (In Russ.)
- Szacki J. (2018) *History of Sociological Thought*. Vol. 2. Moscow: NLO. (In Russ.)
- Veyne P. (2013) *Foucault: His Life, His Character*. St. Petersburg: Vladimir Dal. (In Russ.)

Received: 11.12.20. Final version: 16.01.21. Accepted: 25.01.21.

СИЛЬНАЯ ПРОГРАММА В КУЛЬТУРСОЦИОЛОГИИ: МЕЖДУ КУЛЬТУРАЛИЗМОМ И СЦИЕНТИЗМОМ

БРАСЛАВСКИЙ Руслан Геннадьевич – кандидат социологических наук, старший научный сотрудник Социологического института РАН – филиала ФНИСЦ РАН, Санкт-Петербург, Россия (r.braslavsky@socinst.ru).

Аннотация. «Сильная программа» в культурсоциологии, разрабатываемая Дж. Александером и его коллегами с середины 1980-х гг., позиционируется как главный носитель культурного поворота в социологии. В оценках сторонников и критиков внимание, как правило, сосредоточено на ее принципе «автономии культуры» и на том вызове, который она бросает традиционной институционально ориентированной социологии. В данной статье, напротив, акцентируются «сциентистские» мотивы сильной программы и вытекающие из них противоречия и ограничения для культурсоциологического теоретизирования.

Ключевые слова: культурсоциология • автономия культуры • сциентизм • аналитическое теоретизирование • социологическая парадигма цивилизационного анализа

DOI: 10.31857/S013216250012418-2

Эпистемологический стиль социологии как научной дисциплины сформировали в середине XX в. подходы, отводившие культуре роль зависимой от более «реальных» факторов. Охвативший в последующие десятилетия социогуманитарные науки «культурный поворот» Дж. Александер в социологии описал как переход от «социологии культуры» к «культурсоциологии», разграничив «слабую» и «сильную» программы социологического анализа культуры [Alexander, 1996; Alexander, Smith, 2010: 13]. В написанном им вместе с Ф. Смитом «манифесте» культурсоциологии «сильная программа» провозглашает культуру повсеместным аналитическим измерением социальной жизни и независимой переменной, вносящей в формирование социальных действий и институтов «столь же важный вклад, как и более материальные и инструментальные силы» [Александер, Смит, 2013: 59].

В оценках сильной программы в культурсоциологии внимание, как правило, сосредотачивается на ее центральном тезисе «автономии культуры» и на вызове, который она бросает ортодоксальной социологии, базирующейся на предпосылке «автономии социальной структуры» [Гоулднер, 2003: 78]. Самими авторами манифеста сильная программа позиционируется в качестве «явного» и «главного носителя культурного поворота в социологии» [Alexander, Smith, 2010: 20, 13]. Как правило, последователи и благожелательно настроенные комментаторы акцентируют принципиальный «антиредукционистский» и «интерпретативистский» (напр.: [Куракин, 2010; Кравченко, 2010]), а оппоненты и менее лояльные критики – радикальный «идеалистический» и «релятивистский» характер сильной программы культурсоциологии (напр.: [McLennan, 2005; Steensland, 2009]). Полагая, что для представителей обоих лагерей мог бы оказаться приемлемым эпитет «антисциентистский» в определении эпистемологического облика проекта культурсоциологии, хотя и с различающимися для каждой из сторон смысловыми нюансами и оценочными коннотациями. Если для культурсоциологов положительно нагруженный «антисциентизм»

означает отрицание «механистического» подхода к явлениям социальной жизни, то их позитивистски настроенными критиками антисциентизм воспринимается негативно как отказ от объяснения в пользу вненаучной эзотерической интерпретации.

Вопреки этому предполагаемому «номинальному» консенсусу последователей и противников сильной программы Александера–Смита в статье обращается внимание на ее сциентистские мотивы и вытекающие из них неясности, противоречия и ограничения для культурсоциологического теоретизирования. Под «сциентизмом» в данном контексте понимается эпистемологическая и методологическая позиция, подразумевающая: 1) фундаментальное эпистемологическое единство социальных и естественных наук; 2) приоритет методологических установок над онтологическими допущениями; 3) каузальное объяснение высшей легитимной целью научного познания. Основная гипотеза статьи состоит в том, что для авторов манифеста «сильной программы» в культурсоциологии приверженность единству «научного метода» важнее признания онтологических различий между объектами социальных и естественных наук.

В критико-комментаторской литературе о возглавляемой Дж. Александером «Йельской школе» культурсоциологии было отмечено расхождение между теоретическим уровнем, на котором ее лидерами заявляется «сильная программа», и уровнем конкретных эмпирических исследований, которые реализуются ее последователями скорее в духе слабой программы «социологии культуры» [Фархатдинов, 2010: 118, 119], воплощающей «габитус традиционной, институционально ориентированной социальной науки» [Alexander, Smith, 2003: 13]. Предлагаемая статья выявляет черты этого в своей основе «сциентистского» габитуса на метатеоретическом уровне «сильной программы». Принимая выдвинутую Дж. Александером концепцию «континуума» научного знания [Alexander, 1982: 2–5], отмеченная выше проблема разрыва между теоретическими рассуждениями и эмпирическими наблюдениями в рамках сильной программы не может быть решена исключительно «методологически» выверенным путем более последовательного применения общих принципов в конкретных исследованиях, но требует дальнейшей разработки метатеоретических оснований культурсоциологического анализа.

Целью статьи является критико-аналитическая реконструкция теоретической логики сильной программы культурсоциологии, декларируемой и обосновываемой, прежде всего, в программных текстах Дж. Александера и Ф. Смита [Alexander, 1990; Alexander, 1996; Alexander, Smith, 2003; Alexander, Smith, 2010; Alexander, Smith, 2019].

Сильная программа Александера–Смита: логика трех «полушагов». Александер и Смит собственную программу ориентированных на культуру исследований в социологии определяют терминами «структуралистская герменевтика», или «структурная герменевтика», закладывая в ее основание три принципа: «аналитической автономии», «структурности» и «причинности» культуры. «Сильная программа» задает алгоритм культурсоциологического анализа в виде строгой последовательности «трех шагов» [Александер, Смит, 2013: 83–87]. На первом шаге в соответствии с принципом «строгой аналитической автономии» культура освобождается от социального и материального окружения. На втором шаге согласно методологическому требованию «полной и убедительной герменевтической реконструкции» изучается независимая внутренняя смысловая структура культуры как аналитически автономного объекта. Такая реконструкция чистого культурного текста является результатом «плотного описания» (К. Гирц) кодов, нарративов и символов, создающих упорядоченные сцепления социального смысла. На третьем шаге, следуя методологическому предписанию каузальной определенности, культура погружается в реальный социальный мир, где выясняются ее взаимосвязи с другими социальными силами. На этом заключительном этапе устанавливается конкретная автономия культуры, т.е. реальные механизмы, посредством которых культура связывается с действием и социальной структурой. Это достигается путем укоренения причинности в непосредственных акторах и способах действия (agencies), что предполагает детальное определение:

«кто говорит, что говорится, почему и с какими последствиями» [там же: 64]. Рассмотрим эти три шага построения сильной программы культурсоциологии подробнее.

Автономия культуры. Под ней подразумевается «строгое аналитическое отделение культуры от социальной структуры» [там же: 61]. При этом трактовка культуры сохраняет сам принцип структурности. Наряду со стремлением противостоять любым редукционистским версиям «слабой программы» социологических исследований культуры, у авторов сильной программы обнаруживается не менее важная интенция остаться в орбите собственно социологического теоретизирования и, в целом, научного подхода. Если, с одной стороны, Александер и Смит указывают на «герменевтическую недостаточность» как главный порок различных подходов «социологии культуры», то, с другой – они не менее решительно подвергают критике герменевтическую самодостаточность проекта К. Гирца, вследствие которой тот рискует утратить свою социологическую релевантность и делается уязвимым для поглощения другими исследовательскими направлениями [там же: 84].

Ставя во главу угла сильной программы культурсоциологии интерпретативный проект Гирца, Александер и Смит в то же время не принимают характерной для него исключительной сосредоточенности на описании локального в ущерб построению общей теории и более отчетливому пониманию социальной структуры и институциональной динамики. Теоретическая воздержанность и пренебрежение каузальными связями приводят к гипостазированию культуры, наделяемой свойствами трансцендентального актора [там же: 83–85]. Однако герменевтическая «закрытость» не только препятствует пониманию реального социального мира и культуры в нем, но и оказывается саморазрушительной для герменевтического проекта как такового. Исповедуемый поздним Гирцем интерпретативно-дескриптивный подход «развивает герменевтику частного в ущерб герменевтике универсального» [там же: 85] (перевод изменен по смыслу на прямо противоположный [Alexander, Smith, 2003: 23]). В конце концов, релятивизм и гиперлокализм ведут к истощению герменевтического проекта, который рискует превратиться в свою противоположность – одну из версий слабой программы социологии культуры, сводящуюся к изложению дискурсивных условий производства культуры и стоящих за ними техник и отношений власти и практически отказывающуюся от возможности понимания как такового [Александер, Смит, 2013: 84].

В отмечаемой Александером и Смитом амбивалентности их оценок интерпретативного проекта К. Гирца [Alexander, Smith, 2010: 16] отчетливо проявляется присущее сильной программе напряжение между «культуралистской» онтологической и «сциентистской» эпистемологической ориентациями. В трактовке Александера «культурной автономии» важно не только то, что автономия носит «аналитический» характер, но и то, что она является «относительной». Радикализм культурного поворота Александера–Смита ограничен стремлением остаться в рамках, пусть и расширенных, социологии как научного предприятия. А потому они подчеркивают: «...жесткие и скептические требования ясности каузальных связей... распространяются и на культурсоциологию» [Александер, Смит, 2013: 64]. Понятие «относительной автономии культуры» противостоит не только «механистическому» способу объяснения в социальных науках, в своем чистом виде отрицающему идею культурной автономии как таковую, но и идее «радикальной автономии культуры», обосновываемой, прежде всего, в ортодоксальных направлениях герменевтики, семиотики и некоторых ответвлениях феноменологии. В построении сильной программы последующие два шага после провозглашения принципа аналитической автономии культуры направлены на то, чтобы не допустить скатывания культурсоциологии на позиции «однобокого культурализма», критика которого для Александера не менее важна, чем сведение счетов с антикультурным «механистическим» способом объяснения в социальных науках [Александер, 2007: 19]. Принципы структурности и каузальности как раз призваны канализировать и уравновесить радикальный антисциентистский импульс тезиса об автономии культуры.

Структурность культуры. Принцип структурности непосредственно раскрывает понятие аналитической автономии культуры, но в то же время он его и ограничивает,

предохраняя от крайностей субъективизма. Прежде всего следует отметить сам выбор структурализма в качестве магистрального направления развития герменевтического проекта. Герменевтика – исходный и центральный пункт сильной программы культурсоциологии в любой ее версии, но далее возможны варианты. По словам Александера и Смита, структуралистская герменевтика является наилучшим направлением развития сильной программы культурсоциологии. Структурализм предоставляет «возможности для построения общей теории, предсказаний и утверждения автономии культуры» [Александр, Смит, 2013: 88, 93]. Чаемое движение культурсоциологии в направлении построения общей теории культуры обеспечивается также соединением дильтеевски-гирцевского герменевтического проекта с нарративным подходом в его структурной версии, ориентированной на создание формальных моделей, которые можно применять к разным сравнительным и историческим контекстам [там же: 91–92; Alexander, Smith, 2010: 18]. Ввиду того, что в обосновании автономии культуры упор был сделан не только на семиотику, но и на нарратологию, обозначение сильной программы «структуралистская герменевтика» расширяется до понятия «структурная герменевтика». Но это терминологическое уточнение существа дела не меняет: культура получает автономию по отношению к социальной детерминации, но при этом «становится структурой столь же объективной, что и любой более материальный социальный факт» [Александр, Смит, 2013: 90].

Однако в стремлении к объективизму структурализм способен зайти еще дальше, чем лишь уподобление культурных структур по их степени целостности и силе воздействия более материальным социальным структурам [Александр, 2010: 6]. Ортодоксальная семиотика, заинтересованная в анализе систем знаков безотносительно субъективного опыта акторов, ведет не только к утрате очевидной субстанциальной связи структурного анализа с социальной структурой и агентностью, но и чревата отказом от поиска смысла, который в свою очередь лежит в самой основе проекта культурсоциологии. В предельном выражении поглощенность семиотики поиском внутренней взаимосвязи между знаками грозит превратить культурное аналитическое измерение конкретного социального мира в трансцендентную реальность, столь же внешнюю этому социальному миру, что и природа. Как известно, Т. Парсонс наряду с четырьмя подсистемами (социальной, культурной, личностной, поведенческий организм) общей системы действия выделял две внешние по отношению к ней системы реальности: «физическую среду» и «высшую реальность» [Парсонс, 1997: 15–17]. Хотя Александр предпочитает оставаться в эпистемологической, не онтологической плоскости постановки вопросов, в данном контексте уместен критический вывод Дж. Олика о том, что «в своих логических выводах аналитическая автономия, по-видимому, подразумевает определенную метафизику, чаще всего явную веру не в Бога, а в *априорные* понятия» [Olick, 2010: 105].

В структурализме гуманитарные науки, пожалуй, впервые, а следом за ними в очередной раз и социальные науки, попытались вплотную приблизиться к идеалу методологической строгости естественным наукам (см., напр.: [Йоас, Кнёбль, 2011: 498–499]). Однако в стремлении к обнаружению в сфере «символического» структур естественного образца структурализм «все дальше отходил от социальных дискурсов, от интересубъективного производства культурных значений, от общественных практик и исторических трансформаций» [Бахманн-Медик, 2017: 72–73]. По замечанию Э. Гидденса, характерная для авторов, приверженных традициям структурализма и постструктурализма, тактика «ухода в знаки» делает затруднительным, даже невозможным заново выйти в мир реальной деятельности и событий [Гидденс, 2005: 78]. Особенно отчетливо данная тенденция проявилась в леви-стросссовском варианте структурализма. Хотя Александр и Смит приписывают ему важную роль в обосновании радикальной версии автономии культуры, в структуралистском проекте К. Леви-Стросса феномен культуры как таковой в конечном итоге сводится к абстрактной системной логике, элементарным правилам бессознательного, т.е. «на уровень, где вопрос о смысле не мог быть поставлен» [Arnason, 2010b: 76, 77]. Александр тоже прекрасно видит эту разрушительную для проекта смыслоориентированной социологии перспективу утраты «структурным анализом»

связи с социальной реальностью и культурой. Как и в случае с ортодоксальной герменевтикой, семиотика, предоставленная сама себе, приводит к самоликвидации проекта культурализма. Реализация идеи радикальной автономии культуры перерождается в собственную сциентистскую противоположность, приводя к культурно-механистическому способу объяснения [Alexander, Smith, 2010: 22]. Поэтому Александер и Смит вынуждены ограничивать уже структурализм, вводя в сильную программу прагматическое измерение и приступая в начале 2000-х гг. к разработке теории культурного перформанса.

Перформативный поворот, призванный уравновесить структурализм, позволяет не только вернуть проекту культурсоциологии «гирцианский дух интерпретации», но и осуществить концептуальный переход от культурной структуры к агентности, дополнив тексториентированные подходы герменевтики, семиотики и нарратологии анализом паттернов и проектов действия [ibid.: 19]. Тематизация агентностного измерения в обосновании «относительной автономии смысла» сопровождается признанием момента контингентности вопреки объяснительным моделям культурного детерминизма. В результате произведенной реконцептуализации, сплавляющей воедино интерпретацию, агентность и контингентность, на первый план в сильной программе выводится «акт интерпретации, посредством которого люди приходят к наделению смыслом своего мира» [ibid.: 22]. Эта многообещающая формулировка, знаменующая агентностный сдвиг в обновленном манифесте сильной программы, казалось бы, открывает культурсоциологии широкие перспективы теоретического диалога и синтеза. Однако в действительности они оказываются суженными вследствие приверженности авторов манифеста принципу структурности.

Концептуализация культурной прагматики в рамках сильной программы сохраняет макроуровневую ориентацию и связь с глубинными культурными структурами, в отличие от прагматистской традиции социологии, представленной символическим интеракционизмом и драматургическим подходом Э. Гофмана [ibid.: 19]. Тем самым сохраняется строгость демаркационной линии, изначально отличавшей сильную программу культурной макросоциологии от неструктурно-ориентированных субъективных микросоциологий, таких как прагматизм и феноменология. Однако если макро- и структурно-переориентированная культурная прагматика все-таки вводится в сильную программу, то намеченная было в вышеприведенной формулировке связь «акта интерпретации» с «миром» далее не концептуализируется. Александр не пытается ввести в концептуальную схему проекта культурсоциологии феноменологическое понятие мира как предельного, открытого и таинственного горизонта смысла. Тем самым сильная программа оставляет себя закрытой для интеграции или, по меньшей мере, интенсивного и потенциально продуктивного диалога с феноменологической традицией. Вводит феноменологию в диалогическое поле культурсоциологии социологическая программа цивилизационного анализа, воспринимающая герменевтику как производное, а не фундаментально отличное от феноменологии направление [Adams, Arnason, 2016: 154]. Для Александра встроенность практик смыслообразования в крупномасштабные культурные системы и долговременные культурные традиции важнее их укорененности в локальных контекстах жизненного опыта акторов [Александр, 2013]. В принципиальной для проекта культурсоциологии Александера–Смита ориентации герменевтики на структуралистский способ анализа проявляется сциентистский эпистемологический идеал. Хотя, как показывает пример социологической программы цивилизационного анализа, выбор главного теоретического союзника герменевтического проекта может быть и другим, например, в пользу феноменологии. Антиструктуралистская феноменологическая герменевтика придает социологической парадигме цивилизационного анализа характер особенно радикальной версии культурсоциологии [Arnason, 2010b: 68], представляющей альтернативу герменевтическому структурализму «сильной программы» Александера–Смита.

Одним из следствий отсутствия концептуализации герменевтического отношения между культурой и миром является отмеченная Дж. Оликом вера в «априорные понятия», что затрудняет концептуальный переход от культурной к социальной структуре, не впадая при

этом в социальный редукционизм. Сильная программа Александра–Смита в своем стремлении быть социальной наукой нацеливает культурориентированный анализ в социологии на создание «транспонируемых и абстрактных моделей» [Alexander, Smith, 2010: 21]. Но при этом она сознательно избегает традиционного для социологии способа объяснения, состоящего в отнесении культурной структуры к социальной структуре. Поэтому стратегия сильной программы заключается в том, чтобы объяснять рост и падение культурных паттернов отсылкой к другим культурным структурам и факторам [ibid.].

Каузальность культуры. Третий принцип сильной программы – требование каузальной определенности – еще сложнее, чем принцип структурности, рассматривать как логически следующий из базового принципа культурной автономии. Здесь возникает ключевая оппозиция, связанная с понятием «относительной автономии культуры»: между «аналитической» и «конкретной» автономией. По словам Дж. Олика, «Александр принципиально выступает не против конститутивизма, а против конкретной автономии (реализма)» [Olick, 2010: 107]. Однако конкретная автономия культуры вводится Александром в сильную программу на третьем шаге в виде методологического правила каузальной ясности. Это методологическое требование подразумевает конкретную автономию культуры, которая рассматривается как независимая переменная наряду с более материальными и инструментальными силами, действующими в реальном социальном мире [Kane, 1992; Александр, Смит, 2013: 63]. Сильная программа характеризуется, скорее, не отказом от конкретной автономии в пользу аналитической автономии, а определенным соотношением этих двух принципов, в котором приоритет отдается аналитической автономии.

Александр настаивает на «аналитическом», а не «реальном» различии культуры и социальной структуры и агентности. Но возникает вопрос о соотношении различных аналитических измерений единого эмпирического мира. Так, многомерная модель действия Парсонса акцентировала внимание не на изолированном рассмотрении каждой из выделенных им подсистем, а на выявлении зон взаимопроникновения между ними. Фокус на анализе социальной системы и структурно-функциональный подход привели его к весьма узкому взгляду на культуру. В поле зрения исследователя попадала лишь институционализированная, ставшая частью социальной системы область культуры, определяемая в терминах «норм и ценностей». Отстаиваемая Александром позиция аналитической автономии культуры означает, что возможно и необходимо изучение независимой структуры культуры. При этом принцип аналитической автономии не действует в обратном направлении. Социальная структура не может и не должна рассматриваться как независимая от культуры, подчиняющаяся исключительно законам необходимости. Рассматриваемые независимо от культуры феномены социальной системы как таковые предстают «в качестве механически организованных, подчиняющихся скорее законам необходимости, чем правилам смысла» [Александр, 2007: 20]. Отсюда вытекает строгая последовательность концептуальных переходов, задаваемая вышеописанной логикой «трех шагов» построения сильной программы.

Однако задача культурсоциологии может состоять не столько в том, чтобы изучить сначала полную и независимую структуру культуры, а затем ее взаимодействие с более материальными социальными силами, сколько в том, чтобы сами эти силы рассматривать как культурно конституируемые. Однонаправленной логике программы Александра, предписывающей последовательность перехода от культуры к действию и далее к социальной структуре, может быть противопоставлена логика движения по «герменевтической спирали». Идентификация и анализ культурных структур осуществляются исследователем с определенным представлением, знанием и пониманием конкретно-исторической ситуации, аналитическим измерением которой является культурная структура. И это представление о несводимых к культурному измерению сторонах объектов, ситуаций, проблем присутствует в качестве контекста, фона или фрейма в процессе анализа культурных структур. Процедура «герменевтического брекетинга (взятия в скобки)» не в состоянии устранить это представление или знание. Она может сделать его лишь более отрефлекс-

сированным и контролируемым. Иначе и быть не может, если строго следовать самому принципу *аналитической автономии культуры*. Аналитически нечто можно выделить только из данной конкретной (реальной) целостности. Учитывая многомерный характер реальности и циклический (спиралевидный) характер познания, вхождение в исследовательскую ситуацию может осуществляться с любой аналитически выделяемой стороны: культурных структур, действий, социальных структур, – но с последующим обязательным включением в сферу анализа каждого из аналитических измерений. В конкретных исторических ситуациях, событиях, окружениях значимость того или иного измерения может выходить на первый план, но культурные определения неизменно участвуют в формировании более «реальных» и материальных социальных сил, допуская ту или иную степень автономности их влияния и динамики, в том числе по отношению к культурным условиям и ресурсам [Arnason, 2010b: 79–80]. Однако такой переход с позиции аналитической автономии культуры на позиции культурного конститутивизма предполагает перевод постановки и рассмотрения основных вопросов культурсоциологии из «эпистемологически-методологической» в «онтологическую» плоскость, что может иметь для аналитико-автономистского проекта культурсоциологии Александера и его единомышленников серьезные деструктивные последствия.

Аналитическая автономия и аналитическое теоретизирование. В программе культурсоциологии Александера приверженность «структуре» и «структурализму» играет не менее важную роль, чем провозглашение аналитической автономии как таковой и возвышение роли культуры в социальной жизни. Структуралистский принцип входит в само понятие аналитической автономии культуры. В основе этой приверженности лежит следование «сциентистскому» идеалу научности. Тем самым культурсоциология сохраняет статус *научной* парадигмы. В формулировании сильной программы культурных исследований в социологии Александер ориентируется на требования эпистемологического и методологического соответствия определенным образом понятому единому «научному методу» не в меньшей степени, чем на критерий онтологической релевантности, т.е. максимальной адекватности познавательных средств природе изучаемого объекта. Последняя ориентация чревата или резким противопоставлением методов гуманитарных наук методам естественных наук, или вообще отказом гуманитарному познанию в научном статусе.

В программе «структурной герменевтики» Александера содержится неявное напряжение между «культуралистской» онтологической и «сциентистской» методологической ориентациями. Эпистемологический статус принципа аналитической автономии в исследовательской программе культурсоциологии Александера остается не вполне определенным. Являются ли аналитические измерения «полезными фикциями», служащими способом организации исследования, наподобие «идеальных типов» М. Вебера? Или они «столь же реальны, как и эмпирический мир, который они описывают», как полагал Т. Парсонс [Olick, 2010: 100]? Последний собственную эпистемологическую позицию определил термином «аналитический реализм», придав тем самым «аналитической автономии» статус онтологической концепции. Сторонники идеи «аналитической автономии», как правило, признают свой долг перед Парсонсом, хотя не каждый из них пришел подобно ему к «реалистскому» обоснованию. Александер принадлежит, скорее, к числу последних – тех, кто «аналитический» подход отличает от «реализма» в каком бы то ни было виде.

Для Парсонса на аналитическом уровне теоретизирования было важно после проведения аналитического различия между подсистемами (аналитическими измерениями) действия показать явление их «взаимопроникновения». Особое внимание он уделял процессам институционализации и интернализации – проникновения нормативных компонентов культурных систем в социальную и личностную подсистемы соответственно [Парсонс, 1997: 17]. Александер подверг критике повышенную заинтересованность Парсонса «конкретной институционализацией культуры как ценностей» [Olick, 2010: 100]. Вместо теоретического положения о взаимопроникновении структурных компонентов, принадлежащих разным аналитическим измерениям, Александер ужесточил принцип аналитической

автономии, выдвинув требование «строгого аналитического отделения культуры от социальной структуры» и полностью независимого анализа структуры культуры. Парсонс рассматривал взаимоотношения культуры с другими подсистемами действия в аналитическом плане как взаимопроникновение структурных компонентов. Александер в этом подходе Парсонса увидел ошибку «интернализированной редукции», нарушающей главенствующий для позиции аналитической автономии принцип «многомерности» [ibid.: 100]. Вопрос о соотношении структурных компонентов культуры с внешними для нее образованиями он перенес в эмпирический мир, поставив его как вопрос о каузальном влиянии культуры на действия и социальные структуры.

Установка на поддержание строгого различия между аналитическими измерениями, не допускающего их смешения, сопровождалась затухиванием «аналитико-реалистского» тезиса Парсонса. Отступление от аналитического реализма заметно по «методологической», а не «онтологической» модальности формулировки «аналитической автономии» в программных текстах Александера и Смита. Они формулируют понятие аналитической автономии культуры в виде методологического предписания исследовательского действия по «строгому аналитическому отделению культуры от социальной структуры». Еще более определенно высказывается Э. Кейн, которая определяет автономию «строго в терминах независимости» и акцентирует «теоретический, искусственный» характер аналитического отделения культуры от других социальных структур, условий и действий. Получаемая в результате аналитического отделения полная и независимая структура культуры является одной из многих возможных абстракций и гипотез, которая должна быть доказана установлением ее конкретной автономии в соотношении с остальными социальными и материальными силами и условиями [Kane, 1991: 54–55].

В подходе Александера и его сторонников «сильная программа» культурсоциологии сочетается со «слабой версией» аналитического теоретизирования. Александеру «аналитический» способ теоретизирования позволяет удержаться от решительного «онтологического поворота» в отстаиваемой им версии культурсоциологии. Это предусмотрительное решение, поскольку сильная версия аналитического теоретизирования в сочетании с последовательной культуралистской онтологией приводит к апории.

Сильная версия аналитического теоретизирования обосновывается Дж. Тернером [Тернер, 1994]. Аналитическое теоретизирование исходит из допущения, что «мир вне нас существует независимо от его концептуализации; этот мир обнаруживает определенные вневременные, универсальные и инвариантные свойства; цель социологической теории в том, чтобы выделить эти всеобщие свойства и понять их действие» [там же: 119]. Аналитический реализм Парсонса относится к описанному выше типу аналитического теоретизирования. Аналитические измерения (дистинкции) являются вневременными, универсальными, инвариантными свойствами мира, который вне нас существует независимо от его концептуализации. Таким образом, аналитическая автономия – это онтологическая характеристика самого мира, а не просто понятийное, «идеально-типическое» различие. Однако признаваемый аналитико-автономистами эпистемологический статус понятий лишь как обозначений, отражений объективных характеристик мира лишает тем самым понятия конститутивной силы в мире. Понятийные различия отражают объективную реальность, но не конституируют мир. Необходимо уточнить, аналитический реализм утверждает реальность аналитических различий: аналитические понятия наук схватывают реальные инвариантные свойства мира. Утверждать реальный характер аналитических различий не значит утверждать реальность понятий. Вопрос об онтологическом статусе аналитических измерений отличен от вопроса об эпистемологическом статусе аналитических понятий. Аналитический реализм в решении вопроса о соотношении аналитических измерений и аналитических понятий следует корреспондентной теории истины как «зеркала природы» (согласно известной метафоре Р. Рорти): понятия отражают реальные универсальные свойства мира, который существует независимо от его концептуализации. Допущение аналитической автономии, подразумевающее возможность и

необходимость изучать инвариантные свойства мира независимо друг от друга, реализует стратегию деконтекстуализации, что и делает возможной «естественную науку об обществе». Структуралистская герменевтика Александра в своей основе содержит структурализм, который представлял собой попытку привить естественнонаучную методологию гуманитарным, а через них и социальным наукам.

Черты структурализма, деконтекстуализации, корреспондентной концепции истины сдерживают радикальный импульс культурного поворота в сильной программе Александра–Смита. Аналитическое теоретизирование противоречит интенциям «сильной программы» не только в культурно-ориентированных исследованиях, но и в исследованиях науки и техники – исследовательской области, из которой Александр заимствовал сам термин «сильная программа» для обозначения проекта культурсоциологии. Возникает апория в том случае, когда в качестве автономного аналитического измерения человеческого универсума выделяется «культура». Тем самым значения и смыслы, в том числе воплощаемые в научных понятиях, признаются реальными аналитическими элементами социальных явлений. Культурсоциология исходит из базового допущения, что в науках о человеке «теория» участвует в конституировании объекта. Но это положение противоречит принятой в аналитическом теоретизировании предпосылке о том, что мир вне нас существует независимо от его концептуализации. Выходит, концептуальные структуры, являясь реальным аналитическим измерением мира, находятся за пределами мира. Мир оказывается независим от своих же элементов, универсальных свойств. Александр, оставаясь на аналитико-автономистской позиции, избегает этого логического противоречия благодаря тому, что еще в «неофункционалистский» период своего творчества отказался от соблазна, которому был подвержен Парсонс, – отождествлять свои теоретические модели с реальностью [Йоас, Кнёбль, 2011: 498]. Альтернативное решение предлагает социологическая программа цивилизационного анализа (см., напр.: [Arnason, 2003]): совершив уверенный поворот к «онтологии социально-исторического» [Arnason, 2010a], она исходит не из априорного и вневременного статуса аналитических различий, а из их укорененности в историческом опыте и его интерпретации.

Заключение. В отличие от теории социального действия и позже структурного функционализма Парсонса «сильная программа» Александра–Смита отказывается от амбиции построения всеобщей гранд-теории [Alexander, Smith, 2010: 16] и стремится не к фундаментальной интеграции в социологической теории, а к балансированию между ее множественными позициями.

Несмотря на задаваемую Александером и Смитом строгую последовательность трех шагов в построении и реализации сильной программы, лежащие в ее основании принципы автономии, структурности и каузальности культуры не столько являются логически неизбежными предпосылками или следствиями друг друга, образующими непротиворечивое целое, сколько уравнивают друг друга, сдерживают присущие каждому из них деструктивные при своем автономном и крайнем развитии тенденции. В ранней версии сильной программы основной упор в обосновании автономии культуры был сделан на семиотику и нарратологию. В обновленном манифесте сильной программы появляется дополнительный «прагматический» акцент в виде теории социального перформанса, призванной связать структуру и агентность, полноправно включить в культурный анализ паттерны и проекты действия [ibid.: 18]. Таким образом Александр и Смит выполняют сформулированное ими ранее требование «укоренения [культурной] причинности в непосредственных акторах и способах действия (agencies)» [Александр, Смит, 2013: 64]. На современном этапе развития исследовательской традиции культурсоциологии на первое место выходит задача соединения двух первых принципов сильной программы – культурной автономии и структуры – с ее третьим императивом, требующим выявления механизмов бытования культуры в реальном социальном мире [там же: 87]. В конечном счете, выдвинутая Александером и его единомышленниками сильная программа культурсоциологии, отправляющаяся от тезиса

об «относительной автономии культуры», может быть охарактеризована как программа достижения теоретического равновесия в социологии, избегающая радикальных проявлений как сциентизма (позитивизма), так и культурализма. Отсюда и отмечаемая самими авторами манифеста культурсоциологии их амбивалентность в отношении интерпретативного проекта К. Гирца, и не только него, но и, как показал приведенный выше анализ, основополагающих принципов и общего эпистемологического стиля сильной программы.

По самооценке Александра и Смита, «сильная программа всеядна и неразборчива в связях, ища повсюду полезные теории о культуре, концепции и примеры» [Alexander, Smith, 2010: 16]. Данная метатеоретическая стратегия оказалась продуктивной в разработке ряда теоретических концепций и моделей среднего уровня на основе расширения включаемых в «сильную программу» теоретических ресурсов социальных и гуманитарных наук [Ibid.: 16–19]. Тем не менее декларируемый инструментально-избирательный подход в метатеоретизировании плохо согласуется с герменевтическими установками «сильной программы» в культурсоциологии и кардинально отличается от герменевтического способа развития социологической теории, направленного на выявление проблематики и выстраивание непрерывного и в перспективе не оканчивающегося диалога между различными теоретическими традициями. С позиции диалогического подхода к социологическому теоретизированию [Camic, Joas, 2004] важным упущением сильной программы Александра–Смита является игнорирование феноменологии как источника культурной макросоциологии. Данный пробел восполняет социологическая парадигма цивилизационного анализа [Adams, 2019], представляющая собой альтернативную сильной программе Дж. Александра и его последователей «антиструктуралистскую» версию проекта культурсоциологии.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Александр Дж. Аналитические дебаты: Понимание относительной автономии культуры // Социологическое обозрение. 2007. Т. 6. № 1. С. 17–37.
- Александр Дж. Локальный космополитизм // Социологические исследования. 2013. № 9. С. 134–136.
- Александр Дж. Об интеллектуальных истоках «сильной программы» // Социологическое обозрение. 2010. Т. 9. № 2. С. 5–10.
- Александр Дж., Смит Ф. Сильная программа в культурсоциологии: Элементы структурной герменевтики // Александр Дж. Смыслы социальной жизни: Культурсоциология. М.: Праксис, 2013. С. 56–94.
- Бахманн-Медик Д. Культурные повороты. Новые ориентиры в науках о культуре. М.: НЛО, 2017.
- Гидденс Э. Устроение общества: Очерк теории структуризации. 2-е изд. М.: Академ. проект, 2005.
- Гоулднер А. Наступающий кризис западной социологии. СПб.: Наука, 2003.
- Йоас Х., Кнёбл В. Социальная теория. Двадцать вводных лекций. СПб.: Алетейя, 2011.
- Кравченко С.А. Культуральная социология Дж. Александра (генезис, понятия, возможности инструментария) // Социологические исследования. 2010. № 5. С. 13–22.
- Куракин Д.Ю. «Сильная программа» в культурсоциологии: историко-социологические, теоретические и методологические комментарии. Послесловие редактора спецвыпуска // Социологическое обозрение. 2010. Т. 9. № 2. С. 155–178.
- Парсонс Т. Система современных обществ. М.: Аспект Пресс, 1997.
- Тёрнер Дж. Аналитическое теоретизирование // THESIS: Теория и история экономических и социальных институтов и систем. 1994. № 4. С. 119–157.
- Фархатдинов Н. «Культура и метод». Об очередном продукте культурсоциологической фабрики // Социологическое обозрение. 2010. Т. 9. № 2. С. 118–123.
- Adams S. Beyond a Socio-Centric Concept of Culture: Johann Arnason's Macro-Phenomenology and Critique of Sociological Solipsism // Thesis Eleven. 2019. Vol. 151. No. 1. P. 96–116. DOI: 10.1177/0725513619830433.
- Adams S., Arnason J.P. Sociology, Philosophy, History: A Dialogue // Social Imaginaries. 2016. Vol. 2. No. 1. P. 151–190. DOI: 10.5840/si2016217.
- Alexander J.C. Analytic Debates: Understanding the Relative Autonomy of Culture // Alexander J.C., Seidman S. (eds) Culture and Society: Contemporary Debates. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1990: 1–27.

- Alexander J.C. Cultural Sociology or Sociology of Culture? Towards a Strong Program // *Culture*. 1996. Vol. 10. No. 3–4: 1, 3–5.
- Alexander J.C. Theoretical Logic in Sociology. Vol. 1: Positivism, Presuppositions, and Current Controversies. London: Taylor & Francis, 1982.
- Alexander J.C., Smith Ph. The Strong Program: Origins, Achievements, and Prospects // Hall J.R., Grindstaff L., Lo M.-Ch. (eds) *Handbook of Cultural Sociology*. London; New York: Routledge, 2010. P. 13–24.
- Alexander J.C., Smith Ph. The Strong Program in Cultural Sociology: Elements of a Structural Hermeneutics // Alexander J.C. (ed.) *The Meanings of Social Life: A Cultural Sociology*. Oxford: Oxford Univ. Press, 2003. P. 11–26.
- Alexander J.C., Smith Ph. The Strong Program in Cultural Sociology: Meaning First // Grindstaff L., Lo M.-Ch.M., Hall J.R. (eds) *Routledge Handbook of Cultural Sociology*: 2nd ed. London; New York: Routledge, 2019. P. 13–22.
- Arnason J.P. Civilizational Patterns and Civilizing Processes // *International Sociology*. 2001. Vol. 16. No. 3. P. 387–405. DOI: 10.1177/026858001016003009.
- Arnason J.P. *Civilizations in Dispute: Historical Questions and Theoretical Traditions*. Leiden; Boston: Brill, 2003.
- Arnason J.P. Interpreting History and Understanding Civilizations // Joas H., Wittrock B., Klein B. (eds) *The Benefit of Broad Horizons: Intellectual and Institutional Preconditions for a Global Social Science: Festschrift for Bjorn Wittrock on the Occasion of his 65th Birthday*. Leiden: Brill, 2010a. P. 167–184.
- Arnason J.P. The Cultural Turn and the Civilizational Approach // *European Journal of Social Theory*. 2010b. Vol. 13. No. 1. P. 67–82. DOI: 10.1177/1368431009355866.
- Camic C., Joas H. The Dialogical Turn // Camic C., Joas H. (eds) *The Dialogical Turn: New Roles for Sociology in the Postdisciplinary Age*. Lanham: Rowman & Littlefield, 2004. P. 1–19.
- Kane A. Cultural Analysis in Historical Sociology: The Analytic and Concrete Forms of the Autonomy of Culture // *Sociological Theory*. 1991. Vol. 9. No. 1. P. 53–69. DOI: 10.2307/201873.
- McLennan G. The “New American Cultural Sociology”: An Appraisal // *Theory, Culture & Society*. 2005. No. 6. P. 1–18.
- Olick J.K. What is “The Relative Autonomy of Culture”? // Hall J.R., Grindstaff L., Lo M.-Ch. (eds) *Handbook of Cultural Sociology*. London; New York: Routledge, 2010. P. 97–108.
- Steensland B. Restricted and Elaborated Modes in the Cultural Analysis of Politics // *Sociological Forum*. 2009. Vol. 24. No. 4. P. 926–934. DOI: 10.1111/j.1573-7861.2009.01145.x.

Статья поступила: 19.10.20. Финальная версия: 16.12.20. Принята к публикации: 11.01.21.

THE STRONG PROGRAM IN CULTURAL SOCIOLOGY: BALANCING BETWEEN CULTURALISM AND SCIENTISM

BRASLAVSKIY R.G.

Sociological Institute of FCTAS RAS, Russia

Ruslan G. BRASLAVSKIY, *Cand. Sci. (Sociol.)*, Senior Researcher, *Sociological Institute of FCTAS RAS, St. Petersburg, Russia* (r.braslavsky@socinst.ru).

Acknowledgements. The work was supported by RFBR, research project No. 19-011-00950.

Abstract. The Strong Program in cultural sociology by J. Alexander and his colleagues since the mid-1980s is considered a major carrier of the cultural turn in sociology. Supporters and critics of the Strong Program tend to focus on its central thesis of “cultural autonomy” and on the challenge it poses to traditional, institutionally oriented social science. On the contrary, the article focuses on the “scientific” intensions of the Strong Program and the resulting ambiguities, limitations and contradictions for cultural-sociological theorizing.

Keywords: cultural sociology, cultural autonomy, scientism, analytical theorizing, sociological paradigm of civilizational analysis.

REFERENCES

- Adams S. (2019) Beyond a Socio-Centric Concept of Culture: Johann Arnason's Macro-Phenomenology and Critique of Sociological Solipsism. *Thesis Eleven*. Vol. 151. No. 1: 96–116. DOI: 10.1177/0725513619830433.
- Adams S., Arnason J.P. (2016) Sociology, Philosophy, History: A Dialogue. *Social Imaginaries*. Vol. 2. No. 1: 151–190. DOI: 10.5840/si2016217.
- Alexander J.C. (2007) Introduction: Understanding the 'Relative Autonomy' of Culture. *Sotsiologicheskoe obozrenie* [The Russian Sociological Review]. Vol. 6. No. 1: 17–37. (In Russ.)
- Alexander J.C. (1996) Cultural Sociology or Sociology of Culture? Towards a Strong Program. *Culture*. Vol. 10. No. 3–4: 1, 3–5.
- Alexander J.C. (1990) Analytic Debates: Understanding the Relative Autonomy of Culture. In: Alexander J.C., Seidman S. (eds) *Culture and Society: Contemporary Debates*. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1990: 1–27.
- Alexander J.C. (2013) Local Cosmopolitanism. *Sotsiologicheskie issledovaniya* [Sociological Studies]. No. 9: 134–136. (In Russ.)
- Alexander J.C. (2010) On the Intellectual Origins of "Strong Program". *Sotsiologicheskoe obozrenie* [The Russian Sociological Review]. Vol. 9. No. 2: 5–10. (In Russ.)
- Alexander J.C. (1982) *Theoretical Logic in Sociology*. Vol. 1: Positivism, Presuppositions, and Current Controversies. London: Taylor & Francis.
- Alexander J.C., Smith Ph. (2003) The Strong Program in Cultural Sociology: Elements of a Structural Hermeneutics. In: Alexander J.C. (ed.) *The Meanings of Social Life: A Cultural Sociology*. Oxford: Oxford Univ. Press: 11–26.
- Alexander J.C., Smith Ph. (2010) The Strong Program: Origins, Achievements, and Prospects. In: Hall J.R., Grindstaff L., Lo M.-Ch. (eds) *Handbook of Cultural Sociology*. London; New York: Routledge: 13–24.
- Alexander J.C., Smith Ph. (2013) The Strong Program in Cultural Sociology: Elements of a Structural Hermeneutics. In: Alexander J. (ed.) *The Meanings of Social Life: A Cultural Sociology*. Moscow: Praxis: 56–94. (In Russ.)
- Alexander J.C., Smith Ph. (2019) The Strong Program in Cultural Sociology: Meaning First. In: Grindstaff L., Lo M.-Ch.M., Hall J.R. (eds) *Routledge Handbook of Cultural Sociology*. 2nd ed. London; New York: Routledge: 13–22.
- Arnason J.P. (2001) Civilizational Patterns and Civilizing Processes. *International Sociology*. Vol. 16. No. 3: 387–405. DOI: 10.1177/026858001016003009.
- Arnason J.P. (2003) *Civilizations in Dispute: Historical Questions and Theoretical Traditions*. Leiden; Boston: Brill.
- Arnason J.P. (2010a) Interpreting History and Understanding Civilizations. In: Joas H., Wittrock B., Klein B. (eds) *The Benefit of Broad Horizons: Intellectual and Institutional Preconditions for a Global Social Science: Festschrift for Bjorn Wittrock on the Occasion of his 65th Birthday*. Leiden: Brill: 167–184.
- Arnason J.P. (2010b) The Cultural Turn and the Civilizational Approach. *European Journal of Social Theory*. Vol. 13. No. 1: 67–82. DOI: 10.1177/1368431009355866.
- Bachmann-Medick D. (2017) *Cultural Turns: New Orientations in the Study of Culture*. Moscow: Novoe literaturnoe obozrenie. (In Russ.)
- Camic C., Joas H. (2004) The Dialogical Turn. In: Camic C., Joas H. (eds) *The Dialogical Turn: New Roles for Sociology in the Postdisciplinary Age*. Lanham: Rowman & Littlefield: 1–19.
- Farkhatdinov N. (2010) "Culture and Method". One More Product of Cultural Sociological Factory. *Sotsiologicheskoe obozrenie* [The Russian Sociological Review]. Vol. 9. No. 2: 118–123. (In Russ.)
- Giddens A. (2005) *The Constitution of Society: Outline of the Theory of Structuration*. Moscow: Akadem. proekt. (In Russ.)
- Gouldner A.W. (2003) *The Coming Crisis of Western Sociology*. St. Petersburg: Nauka. (In Russ.)
- Joas H., Knöbl W. (2011) *Social Theory: Twenty Introductory Lectures*. St. Petersburg: Aletheia. (In Russ.)
- Kane A. (1991) Cultural Analysis in Historical Sociology: The Analytic and Concrete Forms of the Autonomy of Culture. *Sociological Theory*. Vol. 9. No. 1: 53–69. DOI: 10.2307/201873.
- Kravchenko S.A. (2010) J. Alexander's Cultural Sociology (Genesis, Notions, and Instrumental Capabilities). *Sotsiologicheskie issledovaniya* [Sociological Studies]. No. 5: 13–22. (In Russ.)
- Kurakin D. (2010) Editor's Afterword: The Strong Program in Cultural Sociology: Commentaries on Theory, Methodology, and History. *Sotsiologicheskoe obozrenie* [The Russian Sociological Review]. Vol. 9. No. 2: 155–178. (In Russ.)
- McLennan G. (2005) The "New American Cultural Sociology": An Appraisal. *Theory, Culture & Society*. Vol. 22. No. 6: 1–18.

- Olick J.K. (2010) What is "The Relative Autonomy of Culture"? In: Hall J.R., Grindstaff L., Lo M.-Ch. (eds) *Handbook of Cultural Sociology*. London; New York: Routledge: 97–108.
- Parsons T. (1997) *The System of Modern Societies*. Moscow: Aspekt Press. (In Russ.)
- Steensland B. (2009) Restricted and Elaborated Modes in the Cultural Analysis of Politics. *Sociological Forum*. Vol. 24. No. 4: 926–934. DOI: 10.1111/j.1573-7861.2009.01145.x.
- Turner J. (1994) Analytical Theorizing. *THESIS: Teoriya i istoriya ekonomicheskikh i sotsal'nykh institutov i sistem* [THESIS: Theory and History of Economic and Social Institutions and Systems]. No. 4: 119–157. (In Russ.)

Received: 19.10.20. Final version: 16.12.20. Accepted: 11.01.21.

© 2021 г.

Е.В. МАСЛОВСКАЯ

СУДЕБНЫЕ ПЕРЕВОДЧИКИ В РАССЛЕДОВАНИИ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ: ТИПЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ И СОЦИАЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ

МАСЛОВСКАЯ Елена Витальевна – доктор социологических наук, ведущий научный сотрудник, Социологический институт РАН – филиал ФНИСЦ РАН, Санкт-Петербург, Россия (ev_maslovskaya@mail.ru).

Аннотация. Представлены результаты исследования профессиональной деятельности переводчиков в уголовном судопроизводстве с участием мигрантов из постсоветских государств. Автор опирается на социологическую теорию П. Бурдьё, в том числе концепцию юридического поля. В качестве основного эмпирического метода использованы полуструктурированные интервью с судебными переводчиками, руководителями бюро переводов, следователями и адвокатами. Раскрываются особенности формальных и неформальных отношений переводчиков с вовлеченными в следственные действия сторонами. Предложена классификация типов профессионального поведения судебных переводчиков. Выявлено, что следование определенному типу поведения зависит от уровня образования, легальности статуса и социальных характеристик. Выделены модели поведения судебных переводчиков, на выбор которых влияют размер диаспоры, степень этнической солидарности и плотность социальных связей. Особое внимание уделяется структурному контексту взаимодействия переводчиков и юристов, используемым ими стратегиям и тактикам. Как показало исследование, сложившаяся структура юридического поля предопределяет воспроизводство гомологичной ей структурированности сообщества переводчиков.

Ключевые слова: социология права • юридическое поле • правоохранительные органы • мигранты • судебные переводчики • профессиональное поведение

DOI: 10.31857/S013216250012811-5

Возросшая потребность в услугах по переводу в ходе судебного процесса является одним из последствий расширения этнического разнообразия современных обществ, во многом обусловленного миграционными процессами. Все чаще участниками судопроизводства (в том числе досудебного расследования) становятся люди, недостаточно хорошо владеющие или совсем не владеющие официальным языком данной страны. Изучению влияния переводчика на ход и результат следственных действий посвящены работы ряда зарубежных ученых [Aliverti, Seoighe, 2017; Kaczmarek, 2016; Morris, 2010]. Результаты проведенных ими исследований выявили несоответствие между предписанным профессиональным поведением и социальными практиками переводчиков, не являющимися невидимыми и пассивными участниками. В работах отечественных социологов ранее изучению профессионального поведения переводчиков в процессе досудебного расследования не уделялось внимания, что отчасти связано со сложностью доступа к непосредственному наблюдению их работы.

В последние годы приглашение переводчика стало обычной практикой в российских судах и следственных органах. Высокая стоимость услуг переводчиков и отсутствие доверия к ним приводят к тому, что юристы неоднозначно оценивают роль переводчика в уголовном судопроизводстве и даже необходимость его непосредственного участия. При этом многие следователи и адвокаты предпочитают переводчиков, готовых выйти за пределы предписанных им функций, содействуя той или иной процессуальной стороне. Особенность переводчиков как участников судопроизводства состоит в том, что они действуют на «чужой территории» – в социальном пространстве, монополизированном юристами, не стремящимися делиться своими исключительными полномочиями с представителями других профессий. Можно предположить, что юристы будут постоянно подчеркивать инструментальный характер участия переводчика, стремясь, кроме того, нивелировать опасность содействия переводчика обвиняемому в силу общности их культурного кода. Следует также учитывать, что сообщество судебных переводчиков с языков народов постсоветских стран крайне неоднородно по социальному составу, уровню образования и степени укорененности в принимающем обществе.

Исследование направлено на анализ социальной природы и социальных эффектов возрастающей вовлеченности судебных переводчиков в уголовное судопроизводство с участием мигрантов из постсоветских стран. Поскольку судебный перевод оказывается социальной практикой, включенной в отношения асимметричности власти, особое внимание уделено выявлению стратегий и тактик, которые используют судебные переводчики и следователи.

Теоретические рамки и эмпирическая база исследования. Профессиональная деятельность судебных переводчиков изучается с позиций различных научных дисциплин – прежде всего лингвистики и социологии. Появление лингвистически ориентированных исследований было во многом связано с желанием развенчать миф о безликости и невидимости переводчиков и подчеркнуть важность включения методов лингвистики в арсенал криминологии. В частности, С. Ваденсьо, опираясь на результаты непосредственного наблюдения допросов мигрантов в полицейских участках Швеции, продемонстрировала, что переводчики вовсе не ведут себя в соответствии с предписанной им ролью невидимого «кондута». Обосновывая статус судебного переводчика как равноправного участника следственных действий, она предложила дискурсивно-ориентированный подход к описанию интеракции с его участием [Wadensjö, 1998]. В последующие годы специфика допроса с участием переводчика получила отражение в работах ряда исследователей-лингвистов [Berk-Seligson, 2009; Nakane, 2014; Russell, 2002].

Как продемонстрировали проведенные исследования, переводчики все чаще рассматривают себя в качестве культурных медиаторов/брокеров, выступая экспертами в области лингвистики, культуры и даже права страны обвиняемого [Ahmad, 2007; Gibb, Good, 2014]. В ходе дискуссии о возможных последствиях тенденции к расширительному пониманию роли судебного переводчика ряд авторов обратили внимание на то, что отождествление деятельности переводчика и культурного медиатора порождает амбивалентность и неопределенность, что может отрицательно сказаться на развитии профессиональной сферы перевода [Hale, 2008; Röchhacker, 2008]. Однако в такого рода исследованиях не учитывался весь спектр типов профессионального поведения переводчика. Кроме того, вне поля зрения исследователей-лингвистов оставались социальные условия и факторы, способствующие выбору определенного типа поведения.

Авторы социологически ориентированных исследований сфокусировались на изучении института подготовки судебных переводчиков и профессиональных ассоциаций, самопрезентации переводчиков, условий их работы, различий в представлении о функциях и роли переводчика в юридическом контексте [Hale et al., 2019; Inghilleri, 2003; Lee, 2009; Morris, 2010; Norström et al., 2012; Resta, Ioannidis, 2016]. В некоторых работах использовали отдельные понятия социологической теории П. Бурдьё, но не его подход к анализу стратификации профессиональных групп. Вместе с тем недостаточно учитывались

такие конституирующие взаимодействие юристов и переводчиков характеристики, как асимметричность властных отношений, слабые ресурсные позиции переводчика, различающиеся цели и интересы данных групп акторов.

Примером успешного применения и творческого развития идей Бурдьё могут служить исследования миграции в работах Дж. Ким [Kim, 2018; 2019]. Используя теоретический арсенал социологии Бурдьё, исследовательница переосмысливает характер социальных отношений между группами акторов, связанных с процессами транснациональной миграции. Она демонстрирует, что монополия государственных институтов на установление критериев оценки и легитимации различных форм капитала, которым обладают мигранты, ограничивается в результате деятельности формальных и неформальных брокеров, способствующих конверсии первоначального социального и культурного капитала в «миграционный капитал» (migration-facilitating capital). Некоторые элементы предложенного Ким подхода применимы и к судебным переводчикам, поскольку они, как правило, являются мигрантами и могут выступать в роли культурного брокера.

Использование только лишь понятий общесоциологической теории Бурдьё не позволяет раскрыть особенности взаимодействия акторов в правовой сфере, которая характеризуется специализированностью профессионального юридического языка и правовых процедур. В этом случае необходимо обратиться к сформулированной этим французским социологом концепции юридического поля и ее современным интерпретациям [Бурдьё, 2005: 75–128; Dezalay, Madsen, 2012]. Как показывает Бурдьё, неизбежно возникающая в рамках данного поля граница между носителями юридического капитала и не-юристами предполагает, что акторы, не имеющие необходимой компетенции, могут выступать лишь клиентами специалистов или инструментально использоваться ими в борьбе за усиление своих позиций.

В целом характеристики взаимодействия между конкретным дознавателем, полицейским или следователем и судебным переводчиком выражают структуру отношений между юридическим полем и полем перевода, которые можно охарактеризовать как символическое доминирование. Переводчики вырабатывают различные тактики поведения в юридическом поле, поскольку они вынуждены лавировать между конкурирующими процессуальными сторонами, учитывая особенности целей и задач профессиональных участников судопроизводства, а также нередко испытывая давление со стороны диаспоры. В результате формируются различные модели поведения переводчиков.

В качестве теоретической рамки исследования, таким образом, выступает сочетание социологического подхода к изучению деятельности переводчиков, общесоциологической теории П. Бурдьё и его концепции юридического поля. Это позволяет не только анализировать логику поведения судебных переводчиков, но также учитывать социальные условия их деятельности и ее контекстуализацию в юридическом поле. За рамками исследования остался процесс медиатированной переводчиком коммуникации между следователем и правонарушителем во время допроса, поскольку его непосредственное наблюдение крайне затруднено.

Эмпирической базой исследования выступают, прежде всего, полуструктурированные интервью с судебными переводчиками, руководителями бюро переводов, следователями, адвокатами. Всего в 2019–2020 гг. было проведено 21 интервью. Кроме того, использовались данные невключенного наблюдения в судах общей юрисдикции Санкт-Петербурга, Москвы и Нижнего Новгорода по делам, участниками которых выступали мигранты из государств Средней Азии и Закавказья. Отдельный интерес представляли судебные заседания, в ходе которых рассматривался вопрос о продлении срока содержания обвиняемого под стражей, а также адвоката и переводчика позволяло наблюдать их взаимодействие. Эмпирическая база включала также материалы сайтов бюро переводов и некоммерческих организаций, оказывающих социальную и юридическую помощь мигрантам.

Последствия неопределенности требований законодательства к оценке профессиональной компетентности переводчика. Российское законодательство рассматривает переводчика как одного из «иных участников уголовного процесса», присутствие которого должно содействовать достижению целей правосудия. При этом в законодательстве отсутствует указание на уровень профессиональной подготовки судебного переводчика, есть лишь ссылка на «свободный» уровень владения соответствующим языком. На практике вопрос о необходимости услуг переводчика решается после задержания, уже в отделении полиции. Сложность может возникнуть, например, если задержанный указывает на себя как узбека по национальности, но родился (или проживал) в Таджикистане, и необходимо определить, переводчика с какого языка требуется пригласить. Для следователей это – проблема, разрешить которую невозможно, руководствуясь лишь формулировкой о свободном владении соответствующим языком. В подобной ситуации необходим переводчик, владеющий еще и методикой определения того, какой из языков задержанный знает лучше.

Отношение следователей к неизбежности присутствия переводчика менялось в течение последних 15–20 лет. Первоначально большинство рабочих-мигрантов принадлежали к поколению рожденных в СССР и владели русским языком сравнительно неплохо. В связи с этим участие переводчика казалось следователям избыточным, нередко они не информировали задержанного о праве на помощь переводчика, поскольку *«переводчик только мешает, путает все»* (следователь, Санкт-Петербург). Однако с середины 2000-х гг. и особенно в 2010-е гг. среди мигрантов возросло число представителей более молодого поколения, жителей сельских районов, гораздо хуже (или иногда совсем не) владеющих русским языком. Игнорирование следователями требования законодательства о привлечении переводчика приводило к тому, что подсудимые через адвокатов добивались отмены приговора или возвращения дела на доследование по формальному основанию – отсутствию переводчика: *«Задержанный утверждал, что понимает русский язык, поэтому переводчика не приглашали, а потом на суде он заявлял, что ему нужны документы на родном языке, и дело возвращали, и такое случалось несколько раз»* (следователь, Санкт-Петербург).

В настоящее время участие переводчика в процессе воспринимается скорее формально, в силу необходимости соблюдения требований закона: *«Хотя обвиняемые и говорят по-русски, но в соответствии с законом должен быть переводчик»* (следователь, Нижний Новгород). В интервью лишь сами судебные переводчики подчеркивали свой профессиональный статус, апеллируя к праву задержанного: *«Переводчик должен быть, это конституционное право, если задержанный не владеет русским языком»* (переводчик, Москва).

Помимо отсутствия в законодательстве требований к уровню профессиональной компетентности судебного переводчика, в России не создана единая государственная служба переводчиков. Рынок переводческих услуг децентрализован и представлен коммерческими организациями. В связи с этим на практике уровень требований к сотруднику бюро переводов не включает необходимость иметь диплом о филологическом образовании. Согласно информантам, вместо него может быть диплом по технической или даже сельскохозяйственной специальности, подлинность которого никто не проверяет. Кроме того, сложилась практика преимущественного взаимодействия отдельных бюро только с правоохранительными органами.

В бюро, постоянно работающих с полицией и дознанием, требования к квалификации сотрудников, по словам информантов, невысокие: *«Вообще неважно, какое образование и есть ли оно, главное – носитель языка, какие-то особые навыки не требуются»* (переводчик, Санкт-Петербург). В целом при подборе сотрудников руководители бюро руководствуются двумя основными принципами. Во-первых, чем более редкий язык необходим, тем меньше требований (в том числе и формального характера) предъявляется к переводчику. Во-вторых, поиск сотрудников осуществляется, как правило, через знакомых, друзей, членов диаспоры, рекомендация или протекция со стороны которых нередко играют определяющую роль.

Для большинства судебных переводчиков данный вид деятельности не является единственным. Обычно эта работа совмещается с другими видами занятости – от мелкой торговли до преподавания в школе или работы на небольшом производстве. Согласно интервью, среди переводчиков сравнительно мало мигрантов, имеющих патент на работу именно в этом качестве. Как правило, в патентах указаны другие специальности. По словам опрошенных руководителей бюро, часть сотрудников – те, кто переехал из бывших советских республик в Россию на постоянное место жительства и решил использовать знание родного языка для получения дополнительного дохода. Определенный интерес работа судебным переводчиком представляет и для мигрантов второго поколения, обучающихся на юридических факультетах. Они стремятся «изнутри» узнать об особенностях функционирования правоохранительной и судебной систем, приобрести необходимый социальный капитал перед тем, как начать работать по специальности.

Оплата услуг по переводу: серая зона. Тема вознаграждения за услуги по переводу является одной из самых чувствительных и дискуссионных. В интервью политику оплаты труда переводчиков критически оценивали, например, адвокаты по назначению, конкурирующие с ними за выплаты из федерального бюджета. А в ходе судебных заседаний судьи высказывали недоумение по поводу того, что услуги переводчика могут обходиться казне дороже, чем стоимость похищенного имущества. В то же время наблюдается существенная разница между предписанным порядком оплаты и тем, как она осуществляется. Согласно нормативным документам, оплата переводчику, приглашенному представителем государственного органа, должна соответствовать принятым процедурам и, несомненно, носить легальный характер. Однако на вопрос о том, каким образом могут быть выплачены причитающиеся суммы, ни законодательство, ни судебная практика ясного ответа не дают, хотя и упоминают о необходимости установления гражданско-правовых отношений между переводчиком и соответствующим правоприменительным органом. В реальности все вовлеченные акторы по разным причинам оказываются заинтересованы в более сложных комбинациях.

Схема оплаты в правоохранительных органах состоит в том, что переводчику платят, как правило, наличными сразу же за первый час работы. Оплата за последующие часы обычно оформляется официально, т.е. деньги переводчик получает через какой-то период времени: *«Специфика у нас такая – мы не сразу получаем деньги. Главное управление может заплатить быстро, а вот если районное отделение, то они могут заплатить и через полгода»* (переводчик, Санкт-Петербург). В пакет документов, который должен представить переводчик для начисления зарплаты, входит заявка на услуги по переводу от органов полиции или следственных органов, постановление следователя о назначении его переводчиком по конкретному делу и акт о проведенной работе с подписью должностного лица и печатью государственного органа. В Следственном комитете (далее СК) следователь печатает постановление о назначении переводчика, а документы на оплату переводчики оформляют самостоятельно: *«Сами бегаем и подписываем все бумажки, следователь этим не занимается»* (переводчик, Москва). В отделах внутренних дел существует другая практика: *«Следователь все делает сам, а поскольку функций у него очень много... плюс, может быть, им фонд оплаты переводов не выделяют или они экономят на этом... в результате они не перечисляют деньги»* (переводчик, Москва). Руководители бюро переводов отмечали в интервью, что ими было выработано общее правило взаимодействия с районными отделами МВД: *«Не работаем официально, то есть договоры не заключаем, они недоговороспособны, поэтому только за наличку»* (руководитель бюро переводов, Санкт-Петербург).

Размер оплаты услуг переводчика различается не только в СК, МВД и судах, но *«даже в разных судах, в разных отделах СК и отделах полиции»* (переводчик, Москва). Более того, как свидетельствуют результаты исследования, оплата работы переводчиков находится в серой зоне. Официально, с оформлением всей соответствующей документации, переводчики работают только с Главным управлением СК или МВД. Чем ближе к

уровню районных отделов, тем в большей степени циркулируют наличные деньги, выплачиваемые следователями, по словам информантов, «из своего кармана» (переводчик, Санкт-Петербург). В таких схемах заинтересованы не только переводчики, но и следователи, поскольку это позволяет быстрее решать насущные рабочие вопросы, способствует формированию и сохранению неформальных отношений, делает переводчиков более «отзывчивыми» к просьбам следователей. В свою очередь, следователи могут зависеть официально оформляемое количество отработанных переводчиком часов в зависимости от его готовности содействовать интересам следователя. Согласно информантам, к проверке документов на оплату труда переводчиков в Судебном департаменте стали более внимательно подходить только в 2018 г., когда были выявлены массовые случаи чрезмерного увеличения следователями часов работы переводчиков.

Стремление сохранить постоянный рабочий контакт со следователем может привести к тому, что переводчик решится получить наличными только за первый час работы, а остальное время работать «как бы бесплатно», или «скинуть немного за обвинительное заключение» (переводчик, Нижний Новгород), или согласиться получить деньги только после окончания работы. Позволить такой тип поведения может лишь опытный, давно работающий переводчик, не испытывающий недостатка в заказах. Тем не менее в интервью упоминались распространенные (особенно в полиции и органах дознания) случаи невыплат вознаграждения за оказанные услуги. Информанты описывали ситуации давления со стороны следователей или полицейских, которые пытались избежать оплаты работы переводчика. Чаще всего такая практика используется по отношению к начинающим переводчикам, которые держатся за работу и «боятся, что вызовут другого, если он откажется работать без денег, поэтому соглашаются» (переводчик, Нижний Новгород). Опасность, по словам руководителей бюро, заключается не только в потере дохода, но и в том, что правоприменители могут превратить единичные случаи невыплат вознаграждения в постоянную практику: «*Бесплатно работать – только развращать следователей*» (руководитель бюро, Санкт-Петербург). Вместе с тем встречаются случаи задержки заработной платы переводчикам со стороны руководителей бюро.

В целом в области оплаты труда многое зависит от таких факторов, как статус переводчика, наличие символического капитала, постоянных заказов, социальной компетенции по обмену услугами со следователями и руководителем бюро.

Переводчики в уголовном судопроизводстве: типы и модели профессионального поведения. В идеале переводчик должен обеспечить взаимопонимание участников следственных действий, разрушив языковой барьер между ними. Предполагается, что переводчик будет воздерживаться от оценок действий сторон, от высказывания своего мнения по поводу виновности или невиновности задержанного, в целом будет придерживаться нейтральной и независимой позиции. Однако этот образ не учитывает сложность и социальную природу участия переводчиков в судопроизводстве. В ходе исследования были выделены следующие «чистые» типы профессионального поведения судебных переводчиков.

1. *Нейтральный специалист* – переводчик, который качественно выполняет свои обязанности, закрепленные законодательством, в строгом соответствии с принципом невмешательства в содержание процесса. Это требует от переводчика высокого уровня культурного капитала, приверженности профессии в большей степени, чем этнической солидарности, наличия опыта взаимодействия с должностными лицами и представителями властных групп, определенных личностных характеристик (таких как умение отстаивать собственную позицию). В свою очередь, опыт и личностные характеристики переводчика обусловлены социальным статусом, возрастом, гендерной принадлежностью.

Двойственность положения переводчика приводит к тому, что, с одной стороны, обвиняемые ожидают от него помощи, подсказок о том, как лучше ответить на вопрос следователя, или разъяснений о том, что будет происходить в суде, куда их повезут, и как долго будут держать в СИЗО. С другой стороны, следователь постоянно «прощупывает» переводчика, выясняя шаг за шагом готовность выйти за рамки предписанного, содействуя

не поиску юридической истины, а карьерным интересам следователя. В связи с этим постоянно придерживаться роли независимого участника процесса удастся немногим, и в определенных обстоятельствах переводчики в той или иной степени выходят за рамки предписанных функций.

2. Противоположный тип *помощника следователя* предполагает прямое сотрудничество с представителями правоохранительных органов. Переводчик, который относится к данному типу, в нарушение своих профессиональных обязанностей вводит в заблуждение обвиняемых, помогает фальсифицировать обвинительные постановления, оформлять незаконные задержания, склоняет обвиняемых к подписанию документов, не дожидаясь их письменного перевода на родной язык, подталкивает к даче взятки. Как правило, данный тип поведения характерен для мигрантов, не обладающих необходимым культурным капиталом для качественного выполнения обязанностей переводчика. У них отсутствует высшее образование, а также патент на работу переводчиком. Иногда они являются нелегальными мигрантами, что делает их особенно уязвимыми. Попавшись на каком-либо правонарушении, они идут на сделку с сотрудниками правоохранительных органов и соглашаются выступать в роли переводчика, что в дальнейшем обеспечивает им своего рода «крышу» со стороны правоохранителей. Согласно информантам, такие переводчики работают только с органами дознания или полиции. Обычно их «профессиональная карьера» не очень продолжительна и редко завершается благополучно.

3. Типу *культурного брокера* соответствуют переводчики, обладающие достаточно высоким уровнем культурного капитала и умело использующие не только ресурс этничности, но и социальный капитал внутри диаспоры, а также способность выстраивать доверительные отношения со следователем, прежде всего, для укрепления собственной позиции в поле перевода. Вопрос о том, должен ли переводчик (и если должен, то насколько) брать на себя функции культурной медиации, решается каждым из них самостоятельно.

Обоснованием следования такому типу профессионального поведения является представление, что обвиняемый не только не владеет языком судопроизводства, но и плохо понимает культуру принимающего общества и особенности судебной системы. Чтобы устранить заданную асимметричность отношений между следователем и обвиняемым, переводчик стремится не столько правильно и точно осуществлять перевод, сколько выступать от лица обвиняемого. Подобный сценарий способны реализовать лишь переводчики, которые обладают высоким уровнем образования, легальным статусом в принимающей стране, большим опытом работы в качестве судебного переводчика, психологической устойчивостью и уверенностью в своем профессиональном будущем. Переводчики в интервью описывали, как они успокаивали родственников, предупреждали их о том, как нельзя себя вести по отношению к следователю, или разъясняли задержанному задаваемые следователем вопросы, опираясь на собственный опыт и знания. Заметив, что следователь не представляет полной информации, сообщали дополнительную информацию. Кроме того, они стремились снижать тональность произнесенного обвиняемым, смягчить впечатление от произнесенных слов, корректировать стиль ответов, делая их более связными, логичными и вызывающими доверие.

В одном из описанных в интервью случаев переводчик, вступив в сотрудничество с адвокатом, помог изменить позицию следователя по отношению к обвиняемому: «*Вот вбила она [следователь] себе в голову, что это он совершил, так как имя совпало, скольких трудов нам стоило переубедить ее*» (судебный переводчик, Москва). В другом случае переводчик, действуя через сети диаспоры, подключил родственников обвиняемого, которые убедили его в необходимости начать сотрудничать со следствием и признать вину: «*Следователи долго пытались что-то сделать, но не могли добиться признания, я помогла, так как важно знание не только... языка, но и менталитета, как подойти к родственникам и что им сказать*» (переводчик, Санкт-Петербург).

Сложная структура взаимодействия переводчика со сторонами обвинения и защиты, преследующими противоположные цели, способствует формированию различных моделей

его поведения, которые зависят в том числе от размера диаспоры, плотности социальных связей и этнической солидарности. В сравнительно небольших и солидарных диаспорах отношение к работе судебного переводчика амбивалентное: *«Знают о моей работе, но ничего не говорят, сами не хотят, но эта работа не делает меня нерукопожатным»* (переводчик, Санкт-Петербург). При этом переводчик, ориентирующийся на диаспору как референтную группу, понимает, что члены диаспоры наблюдают за его поведением, получая информацию от родственников обвиняемого. В конечном итоге переводчик вынужден учитывать наличие различных групп влияния – как диаспоры, так и правоприменительных органов: *«Я помню, что следователь меня может вызвать в будущем, а если он тебя вызывает, он платит тебе деньги, поэтому нехорошо портить с ним отношения, а с этими людьми [обвиняемыми] и их родными мне потом еще встречаться в общине, поэтому приходится делать так, чтобы и нашим и вашим»* (переводчик, Москва).

Другая модель поведения характерна для крупных диаспор, в которых близкие и доверительные отношения в основном распространены среди родственников (в крайнем случае, односельчан). В частности, мигранты из среднеазиатских государств с уважением относятся к работе судебным переводчиком, которая считается престижной. При этом в целом отсутствуют негативные коннотации, связывающие переводчика с работой в интересах государственных органов принимающей страны. Кроме того, переводчики, родившиеся и прожившие часть своей жизни в Узбекистане или Таджикистане, могут не быть этническими узбеками или таджиками, что позволяет им в большей степени следовать собственным карьерным и финансовым интересам. Именно среди переводчиков с узбекского и таджикского языков более выражена стратификация. Некоторые из них работают только с полицией, другие взаимодействуют со следственными органами и работают в судах лишь по просьбе адвокатов или следователей.

Стратегии управления следственными действиями с участием переводчика.

Структура отношений власти в юридическом поле подразумевает монополию юристов, опирающуюся не только на собственно легалистские, но также на социокультурные и лингвистические основания. Однако участие переводчика в следственных действиях может в некоторой степени изменить сложившийся баланс власти, поскольку юристы оказываются отчасти зависимы от переводчика. Тот факт, что обвиняемый чувствует себя более уверенно в присутствии переводчика как носителя того же культурного кода, часто расценивается следователями как препятствие в работе. Разговор на непонятном языке остается вне сферы контроля следователя. Кроме того, он понимает, что переводчик может советовать обвиняемому, как вести себя и что отвечать на заданные вопросы.

Согласно результатам нашего исследования, следователи вырабатывают разнообразные стратегии управления допросом с участием переводчика. Основными стратегиями являются: пространственное позиционирование переводчика по отношению к задержанному/обвиняемому в соответствии с конкретными целями следователя и в зависимости от степени его доверия переводчику; использование разного рода психологических техник с целью вынудить переводчика выйти за рамки предписанных функций, а также выяснить, насколько он готов действовать в интересах следователя; регистрация завышенного числа часов работы переводчика в зависимости от его «сотрудничества»; установление и поддержание постоянных рабочих и неформальных отношений.

Результатом невозможности полного контроля над поведением и словами переводчика является не только подозрительное отношение к нему, но и демонстрация инструментального характера его участия. Следователи нередко стремятся использовать переводчика в качестве помощника, которого привлекают к оформлению протоколов, выполнению работы секретаря и даже в качестве понятого. Практически все информанты подчеркивали неприятие инструментального отношения к их деятельности. Однако противостоять этому способен только специалист, обладающий достаточно высоким уровнем культурного и символического капитала. Ответом обычно был отказ от дальнейшей работы не только с данным следователем, но и со следственными органами в целом, если переводчик

мог позволить себе работать только в судах. В то же время переводчик, являющийся нелегальным мигрантом или не обладающий необходимой квалификацией, не в состоянии противостоять давлению со стороны следователя и неправомерному расширению своих функций. В результате усиливается дифференциация в сообществе переводчиков в зависимости от того, с какими правовыми институтами они профессионально взаимодействуют.

Заключение. Результаты проведенного исследования демонстрируют, что образ переводчика как высококвалифицированного специалиста контрастирует с фактическим положением дел в уголовном судопроизводстве с участием мигрантов из постсоветских стран. Большинство переводчиков сами являются мигрантами, не обладающими достаточным уровнем культурного капитала, не имеющими патента на работу в качестве судебного переводчика и, тем более, знания специальной терминологии и особенностей юридических процедур. В целом сообщество судебных переводчиков гетерономно и стратифицировано. Спектр «чистых» типов профессионального поведения судебных переводчиков включает такие типы, как нейтральный специалист, помощник следователя и культурный брокер. Границы компетенции и тип поведения переводчика определяются в зависимости от его позиции в профессиональном сообществе, а также правовых и социальных характеристик – легальности статуса, уровня образования, опыта работы в государственных структурах, готовности сопротивляться внешнему давлению. Модель поведения судебного переводчика зависит от размера диаспоры, степени этнической солидарности и плотности социальных связей.

Институциональная основа власти правоприменителей и асимметричность властных отношений в юридическом поле оказывают значительное влияние на особенности взаимодействия судебных переводчиков и юристов. Сложившаяся структура юридического поля предопределяет воспроизводство гомологичной ей стратифицированности сообщества переводчиков, проявляющейся в постоянстве рабочих отношений отдельных групп переводчиков только с органами внутренних дел и следственными органами. При этом следователи демонстрируют слабую заинтересованность во взаимодействии с переводчиками, обладающими высоким уровнем культурного капитала, в некоторых ситуациях используют социальный капитал культурных брокеров, но в большинстве случаев предпочитают переводчиков со слабыми ресурсными позициями, не позволяющими противостоять контролю и манипулированию. Востребованность следователями и переводчиками серых зон оплаты услуг по переводу, в свою очередь, способствует воспроизводству неформальных отношений между ними.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ [REFERENCES]

- Бурдье П. Социальное пространство: поля и практики. СПб.: Алетейя, 2005. [Bourdieu P. (2005) *Social Space: Fields and Practices*. St. Petersburg: Aletheia. (In Russ.)]
- Ahmad M. (2007) Interpreting Communities: Lawyering Across Language Difference. *UCLA Law Review*. Vol. 54. No. 5: 999–1086.
- Aliverti A., Seoighe R. (2017) Lost in Translation? Examining the Role of Court Interpreters in Cases Involving Foreign National Defendants in England and Wales. *New Criminal Law Review*. Vol. 20. No. 1: 130–156. DOI: 10.1525/nclr.2017.20.1.130.
- Berk-Seligson S. (2009) *Coerced Confessions: The Discourse of Bilingual Police Interrogations*. New York: de Gruyter.
- Dezalay Y., Madsen M. (2012) The Force of Law and Lawyers: Pierre Bourdieu and Reflexive Sociology of Law. *The Annual Review of Law and Social Science*. Vol. 8: 433–452. DOI: 10.1146/annurev-lawsocsci-102811-173817.
- Gibb R., Good A. (2014) Interpretation, Translation and Intercultural Communication in Refugee Status Determination Procedures in the UK and France. *Language and Intercultural Communication*. Vol. 14. No. 3: 385–399. DOI: 10.1080/14708477.2014.918314.
- Hale S. (2008) Controversies over the Role of the Court Interpreter. In: Valero-Garcés C., Martin A. (eds) *Crossing Borders in Community Interpreting: Definitions and Dilemmas*. Amsterdam: John Benjamins Publishing: 99–121.

- Hale S., Goodman-Delahunty J., Martschuk N. (2019) Interactional Management in a Simulated Police Interview: Interpreters' Strategies. In: Mason M., Rock F. (eds) *The Discourse of Police Investigation*. Chicago: University of Chicago Press: 200–226.
- Inghilleri M. (2003) Habitus, Field and Discourse: Interpreting as a Socially Situated Activity. *Target*. Vol. 15. No. 2: 243–268. DOI: 10.1075/target.15.2.03ing.
- Kaczmarek L. (2016) Towards a Broader Approach to the Community Interpreter's Role: On Correspondence between Role Perceptions and Interactional Goals. *Interpreting*. Vol. 18. No. 1: 57–88. DOI: 10.1075/intp.18.1.03kac.
- Kim J. (2019) Ethnic Capital, Migration and Citizenship: A Bourdieusian Perspective. *Ethnic and Racial Studies*. Vol. 42. No. 3: 357–385. DOI: 10.1080/01419870.2019.1535131.
- Kim J. (2018) Migration-Facilitating Capital: A Bourdieusian Theory of International Migration. *Sociological Theory*. Vol. 36. No. 3: 262–288. DOI: 10.1177/0735275118794982.
- Lee J. (2009) Conflicting Views on Court Interpreting Examined through Surveys of Legal Professionals and Court Interpreters. *Interpreting*. Vol. 11. No. 1: 35–56. DOI: 10.1075/intp.11.1.04lee.
- Morris R. (2010) Images of the Court Interpreter: Professional Identity, Role Definition and Self-Image. *Translation and Interpreting Studies*. Vol. 5. No. 1: 20–40. DOI: 10.1075/tis.5.1.02mor.
- Nakane I. (2014) *Interpreter-Mediated Police Interviews: A Discourse-Pragmatic Approach*. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
- Norström E., Fioretos I., Gustafsson K. (2012) Working Conditions of Community Interpreters in Sweden: Opportunities and Shortcomings. *Interpreting*. Vol. 14. No. 2: 242–260. DOI: 10.1075/intp.14.2.06nor.
- Pöschhacker F. (2008) Interpreting as Mediation. In: Valero-Garcés C., Martin A. (eds) *Crossing Borders in Community Interpreting: Definitions and Dilemmas*. Amsterdam: John Benjamins Publishing: 9–26.
- Resta Z., Ioannidis A. (2016) A Sociological Approach to the Professionalization of Court Interpreting in Greece. In: Bajčić M., Dobrić Basanež K. (eds) *Towards Professionalization of Legal Translators and Court Interpreters in the EU*. Cambridge: Cambridge Scholars Publishing: 66–82.
- Russell S. (2002) Three's a Crowd: Shifting Dynamics in the Interpreted Interview. In: Cotterill J. (ed.) *Language in the Legal Process*. Basingstoke: Palgrave Macmillan: 111–126.
- Wadensjö C. (1998) *Interpreting as Interaction*. New York: Longman.

Статья поступила: 21.11.20. Финальная версия: 24.01.21. Принята к публикации: 25.01.21.

LEGAL INTERPRETERS IN THE INVESTIGATION OF CRIMINAL CASES: TYPES OF PROFESSIONAL BEHAVIOR AND SOCIAL PRACTICES

MASLOVSKAYA E.V.

Sociological Institute of FCTAS RAS, Russia

Elena V. MASLOVSKAYA, Dr. Sci. (Sociol.), Lead Researcher, Sociological Institute of FCTAS RAS, St. Petersburg, Russia (ev_maslovskaya@mail.ru).

Abstract. The article presents the results of a study of professional activities of interpreters in the process of investigation of criminal cases involving migrants from post-Soviet states in today's Russia. The author relies on Pierre Bourdieu's general sociological theory and his analysis of the juridical field. The empirical research methods that have been used in the study include semi-structured interviews. The peculiarities of formal and informal interaction of interpreters with the sides involved in the process of investigation are revealed in the article. A classification of types of professional behavior of legal interpreters is proposed. It has been found that the type of professional behavior adopted by an interpreter is defined first of all by his/her level of education, legal status and also social characteristics. The article singles out the models of behavior of interpreters which depend on the size of a diaspora, the degree of ethnic solidarity and the density of social ties. Since legal interpreting is included into asymmetrical power relations within the juridical field, special attention in the study has been devoted to revealing the strategies and tactics used by interpreters and jurists. It is demonstrated in the article that the current structure of the juridical field predetermines reproduction of a homologous system of stratification of the interpreters' community.

Keywords: sociology of law, juridical field, law enforcement bodies, migrants, legal interpreters, types of professional behavior.

Received: 21.11.20. Final version: 24.01.21. Accepted: 25.01.21.

А.Л. СИТКОВСКИЙ, Ю.В. ЛАТОВ

ПАРАДОКСЫ ОЦЕНКИ РОССИЙСКОЙ ПОЛИЦИИ С ПОМОЩЬЮ ОПРОСОВ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ

СИТКОВСКИЙ Андрей Леонидович – кандидат юридических наук, заместитель начальника Научно-исследовательского центра Академии управления МВД России (sitk-andrej@yandex.ru); ЛАТОВ Юрий Валерьевич – доктор социологических наук, главный научный сотрудник Научно-исследовательского центра Академии управления МВД России; ведущий научный сотрудник Института социологии ФНИСЦ РАН (latov@mail.ru). Оба – Москва, Россия.

Аннотация. С 1990-х гг. по заказу МВД России ежегодно проводятся общероссийские опросы общественного мнения о полиции, результаты которых рассматриваются как важный элемент оценивания деятельности территориальных подразделений органов внутренних дел. В статье рассматриваются неизбежно возникающие при таком подходе противоречия между оценками общественного мнения и оценками по ведомственным критериям. Рассмотрен кейс, когда в 2018 г. ГУ МВД России по Челябинской области оказалось на одном из первых мест по ведомственным критериям, но на последнем месте (в регионе лишь 24,3% опрошенных выразили доверие полиции) по данным опроса общественного мнения. Авторами, которые как эксперты участвовали в объяснении этого казуса, сделан вывод, что в нем проявились системные противоречия эксаптации в постсоветской России модели community policing. Стремление к партнерству полиции с гражданским обществом проявляется в форме организации не ее аудита со стороны НКО, а мониторинговых опросов общественного мнения, которые отражают скорее социальную напряженность в регионе, чем отношение к местным ОВД.

Ключевые слова: общественное мнение • социология полиции • модель community policing • эксаптация институтов • гражданское общество

DOI: 10.31857/5013216250010880-1

Партнерская модель полиции как импортированный институт. Внедрение в постсоветской России практик мониторинга общественного мнения о полиции следует рассматривать как результат импорта западного института «community policing» – перехода полиции от роли «надзирателя» над обществом к роли партнера общества [Майоров, Дунаева, 2017]. Когда в постсоветской России с 1990-х гг. началось введение оценок гражданами работы милиции в число официальных критериев оценивания ее работы, то российская милиция шла в значительной степени по тем же путям, по которым ранее прошли органы внутренних дел развитых стран Запада [Зимин, 2014].

До последней трети XX в. полицейские государственные органы западных стран строили взаимодействия с гражданами как контролеры с контролируемыми (пусть с элементами обратной связи), т.е. действовала патерналистская модель взаимодействия. Общество, особенно его низшие слои, не могло не чувствовать отчуждения от «надсматривающей» полиции. Известно, что в середине XX в. уровень доверия граждан к полиции в некоторых штатах США колебался в районе 20% и ниже, поскольку очень значительная часть населения (прежде всего, из низших социальных групп) считала полицию и ее действия неэффективными и даже враждебными.

Кризис патерналистской модели взаимодействия граждан и полиции привел к тому, что в 1970-х гг. сначала в США и Великобритании, а затем в ряде других западных стран была проведена системная реформа деятельности полиции. Эта реформа на основе концепции «community policing» (буквально – «политика, ориентированная на сообщество») проявилась в первую очередь в общей переориентации полиции с позиции доминирования над гражданами на позицию подчинения их интересам, на постоянный контакт с гражданами для поиска новых возможностей удовлетворения потребностей населения в правоохранительной деятельности. В результате к началу XXI в. уровень доверия населения к полиции в большинстве развитых стран повысился до уровня 50–85% (см., напр.: [Гимпельсон, Монусова, 2012: 30]).

Таким образом, в основе деятельности полиции в современных развитых странах лежит *партнерская модель* организации полицейской деятельности, предполагающая постоянное сотрудничество между полицией и обслуживаемым населением. Сущностными признаками указанной модели являются ориентация полиции на общественное мнение в процессе повседневного принятия решений, многоуровневая система гражданского контроля деятельности органов правопорядка всех уровней и высокая активность граждан в самостоятельном инициировании и решении общественно значимых вопросов правоохранительной деятельности.

Поскольку представителями гражданского общества считаются общественные организации, независимые от полиции, то партнерство полиции с гражданами проявляется в первую очередь в сотрудничестве именно с организациями, осуществляющими гражданский контроль над полицией. Это – не только контроль расследования гражданских жалоб, но и аудиторская проверка финансов полиции, мониторинг деятельности полицейской организации в целом. Такой контроль легче организовать в США, где полиция в основном децентрализована и большинство полицейских организаций подчиняются муниципальным органам власти. Но и в странах с более централизованной полицией развит гражданский контроль полиции, в первую очередь, через общественные организации.

Импорт демократических институтов, который стремились в 1990–2010-е гг. организовать постсоветские правительства России, привел к заимствованию и идеологии партнерской модели организации правоохранительной деятельности. В ее формальном закреплении важным рубежом стало принятие Федерального закона Российской Федерации от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции». Он не только символически менял название правоохранительных органов с «милиции» на «полицию», но и провозглашал переход именно к партнерской модели, когда деятельность полиции открыта для граждан и организаций гражданского общества (ст. 8), где полицейские опираются на общественное доверие и поддержку граждан (ст. 9). Накопленный с 1980-х гг. опыт проведения опросов россиян об их отношении к полиции нашел отражение в пункте 5 статьи 9: «Федеральный орган исполнительной власти в сфере внутренних дел проводит постоянный мониторинг общественного мнения о деятельности полиции, а также мониторинг взаимодействия полиции с институтами гражданского общества». Результаты опросов общественного мнения должны, согласно данному федеральному закону, не только оглашаться через СМИ, но и быть «одним из основных критериев официальной оценки деятельности полиции». Действительно, с 1997 г. ежегодно по заказу МВД России проводятся общероссийские опросы по репрезентативной выборке (с 2016 г. их проводит ФСО России), во время которых респондентов спрашивают, прежде всего, об их доверии к органам внутренних дел, об их оценках эффективности работы органов, а также о чувстве защищенности от преступности и виктимности (как часто граждане становятся жертвами правонарушений). Результаты этих опросов общественного мнения являлись в 2010-е гг. одним из главных критериев оценки деятельности органов внутренних дел.

Однако, как очень часто бывает с импортируемыми институтами в странах догоняющего развития, на «чужой» почве «заморское растение» нередко начинает давать не совсем те плоды, которые ожидались. Далее разобран кейс, который рельефно показывает трудности

перехода российских правоохранительных органов с патерналистской на партнерскую модель взаимодействия с гражданами путем внедрения опросов общественного мнения.

«Казус Челябинска-2018». На первых порах, в 1990–2000-е гг., одним из главных препятствий было подспудное сопротивление сотрудников милиции, которые очень критично относились к переходу от «службы закону» (фактически – государству) к «оказанию правоохранительных услуг». К 2010-м гг. этот барьер был в основном пройден: по данным социологических исследований, в последние годы «необходимость быть оценёнными населением не вызывает большого внутреннего сопротивления у полицейских» [Интервью с Леонидом Косалом, 2018: 18]. В то же время практическая реализация обратной связи полиции с гражданами наталкивается на системные проблемы, связанные не только и не столько с работой самой полиции.

Главной проблемой остается вопрос интерпретации и, соответственно, возможности практического использования результатов опросов общественного мнения о полиции. Яркой иллюстрацией данной проблемы является кейс Челябинска. Сущность его в следующем.

При проведении очередного мониторинга общественного мнения об органах внутренних дел весной 2018 г. в отношении полиции Челябинской области были зафиксированы исключительно низкие оценки респондентов. Результаты опроса, проведенного ФСО России в мае 2018 г.¹, показали, в частности, что доверие органам внутренних дел в Челябинской области выразили 24,3% респондентов, в то время как противоположной позиции придерживались 60,5%. Показатель доверия населения к челябинской полиции в 2018 г., по этим данным, был существенно ниже средних показателей и по Уральскому федеральному округу (35,3%), и по России в целом (39,4%). По данному показателю регион среди субъектов России оказался на последнем (85-м) месте. Другие показатели мониторинга мнений граждан о полиции – защищенность, эффективность и виктимность – оказались в Челябинской области тоже гораздо хуже, чем в целом в Российской Федерации (табл. 1).

Таблица 1

Показатели оценки населением деятельности полиции по Уральскому федеральному округу, 2018 г. (% положительных оценок)

Регион	Показатели			
	доверие	защищенность	эффективность	виктимность
Курганская область	46,5	46,2	43,3	7,5
Свердловская область	35,7	33,7	32,7	9,0
Тюменская область	51,5	61,8	51,0	5,8
Ханты-Мансийский АО – Югра	35,7	40,3	33,3	10,3
Челябинская область	24,3	25,0	23,8	15,0
Ямало-Ненецкий АО	44,7	51,0	43,0	14,0
Уральский федеральный округ	35,3	42,2	33,4	10,6
Российская Федерация	39,4	36,7	38,2	8,2

Приведенные данные опроса ФСО показывали, казалось бы, что работу органов внутренних дел Челябинской области трудно назвать даже удовлетворительной. Это парадоксально противоречило тому, что ведомственная оценка (на основе внутренних показателей – количества задержанных, раскрываемости преступлений и т.д.) работы ГУ МВД

¹ Объем выборки в 85-ти субъектах Российской Федерации составил 47 199 человек и соответствовал основным социально-демографическим характеристикам взрослого городского и сельского населения страны в разрезе ее субъектов.

России по Челябинской области, наоборот, являлась в 2018 г. очень высокой (по итогам сентября–октября 2018 г. – 2-е место среди территориальных подразделений по России). Поскольку критериями общей оценки работы полиции являются и ведомственная оценка, и оценка общественным мнением, возник казус: руководство Министерства внутренних дел России должно было, согласно ведомственным оценкам, полицейских Челябинской области награждать, а согласно данным мониторинга общественного мнения – наказывать. Чтобы объяснить противоречие, ведомственными и гражданскими социологами, включая авторов данной статьи, проводилось дополнительное исследование ситуации в регионе².

«Челябинск-2018» как зеркало российской системы оценивания работы полиции.

В объяснении данного казуса сливаются особенности конкретного региона и общие проблемы системы оценивания работы полиции при помощи опроса общественного мнения.

Прежде всего, для понимания ситуации в Челябинской области надо помнить, что это – старопромышленный Южно-Уральский регион, являющийся с XVIII в. центром российской черной металлургии и, как другие подобные регионы, с конца XX в. переживающий системный кризис: плохая экология, относительно низкие зарплаты и гарантии занятости, регулярные конфликты местных властей с общественными организациями и др. В 2018 г. Челябинская область занимала 4-е место среди регионов РФ по общему количеству зарегистрированных преступлений, хотя по населению – 10-е. Практически каждый третий взрослый (в возрасте от 14 до 80 лет) мужчина когда-либо привлекался к уголовной ответственности. Специалистами ФСО Челябинская область рассматривается как субъект РФ, население которой наиболее критично относится к деятельности органов государственной власти всех уровней, распространяя это отношение и на органы внутренних дел.

Кроме этих объективных факторов на результаты опроса в 2018 г. повлияли другие, более субъективные факторы. Мониторинговый социологический опрос проводился в Челябинской области в мае 2018 г., когда в регионе наблюдался существенный всплеск социальной напряженности. С одной стороны, он был связан с протестами против неблагоприятной экологической обстановки (протесты противников строительства Томинского горно-обогатительного комбината, критическая ситуация с городским мусорным полигоном, возгорания на Коркинском угольном разрезе). С другой стороны, на экологические протесты наложились нелицеприятные мнения некоторых граждан о силовых действиях полиции во время несанкционированной акции протеста 5 мая 2018 г. «Он нам не царь» сторонников А. Навального: в СМИ сообщали, что в Челябинске полицией задержано больше протестующих, чем где-либо по стране.

Объясняя ситуацию, эксперты-социологи подчеркивали, что оценки общественного мнения не могут не отличаться от ведомственных оценок. У них принципиально разные критерии: первые характеризуют *фактическую результативность* работы полиции, вторые – *имидж* полиции, тесно связанный с имиджем государственной власти в целом. Расхождение между этими оценками типичны по двум основным причинам.

Первая причина – отсутствие у большинства респондентов-россиян личного опыта взаимодействия с полицией. Участвующие в опросе граждане делятся на две категории: одни из них лично сталкивались с работой полиции (хотя бы с дорожной полицией и участковыми), другие – их большинство – никогда с ней не сталкивались и судят об этой работе по сообщениям СМИ либо по отзывам знакомых. Правда, спецификой Челябинской области является, как упоминалось, высокая криминальность, поэтому личное «знакомство» с работой полиции в регионе встречается относительно часто. Однако это знакомство – в таких «ролях», которые усиливают негативную окраску оценок работы полиции, хотя подавляющая часть челябинцев, кто когда-то привлекался к уголовной ответственности, на момент опроса являлись обычными добропорядочными гражданами.

² Далее использованы некоторые материалы справки [Мониторинг..., 2019].

Вторая причина – эффект ореола, когда оценку части дают на основании оценки целого. В данном случае речь идет о том, что в России (и не только в ней) оценки гражданами полиции во многом производны от оценок государственной власти на региональном и на общегосударственном уровнях. На полицию могут проецироваться критические оценки других правоохранительных органов (например, судов). При этом граждане слабо учитывают, в какой степени именно полиция ответственна за конкретные недостатки системы государственного управления. Поскольку сотрудники полиции являются ближайшими к гражданам представителями государственного аппарата, их часто оценивают даже хуже, чем этот аппарат в целом, в то время как более высокопоставленных носителей власти оценивают лучше.

Указанные соображения социологов не являлись тайной для руководства МВД России: понимая специфику Челябинской области и особенности формирования общественного мнения о полиции, руководители не были склонны наказывать челябинских полицейских. Однако возникшую ситуацию пришлось, так сказать, «разруливать» в экстраординарном режиме: из столицы в Челябинск приезжала в служебную командировку комиссия из сотрудников ВНИИ МВД и Академии управления МВД России, которые писали по итогам проверки официальное заключение о ситуации. На положительные (в пользу ГУ МВД по Челябинской области) выводы существенно повлияло то, что феноменально низкие показатели за 2018 г. существенно отличались не только от данных предыдущего года, но и последующего (это станет известно после завершения работы комиссии и подтвердит ее выводы) (табл. 2).

Таблица 2

**Результаты изучения общественного мнения о работе органов внутренних дел
в Челябинской области (% положительных ответов)**

Год опроса	Показатели			
	доверие	защищенность	эффективность	виктимность
2017	32,5	27,3	28,5	10,3
2018	24,3	25,0	23,8	15,0
2019	35,3	37,7	32,2	10,0

Источник: по данным ФСО России.

Итак, «казус Челябинска-2018» удалось урегулировать. Но как быть, если подобные ситуации – резкое расхождение динамики ведомственных оценок и оценок общественного мнения о работе ОВД в субъектах Российской Федерации – будут повторяться и умножаться?

Мониторинг общественного мнения о полиции как результат экзаптации партнерской модели. На данном примере хорошо видно, что сформировавшаяся в 2000–2010-е гг. интерпретация результатов опросов граждан о полиции как оценок работы территориальных органов полиции является не совсем пока удачным институциональным имплантом. Сотрудники полиции могут работать более чем самоотверженно, но если регион является объективно проблемным, при оценивании работы местной полиции граждане будут выражать негативное отношение не столько конкретно к ОВД, сколько в целом к управлению регионом. Возможна и обратная ситуация, когда в успешно развивающемся регионе граждане не замечают плохой работы полиции, поскольку она скрыта общими положительными изменениями.

Современные проблемы организации и практического использования мониторинга общественного мнения россиян о полиции неотрывны от общей проблемы централизации/децентрализации ее работы. Когда полиция образует единый общенациональный аппарат,

как в России или во Франции, на оценки работы местной полиции очень сильно влияют связанные (иногда весьма косвенно) с полицией события в отдаленных регионах страны.

Таким образом, мониторинг доверия россиян полиции становится сбором информации скорее о социальной напряженности в стране в целом и в различных ее регионах, чем собственно о результативности работы территориальных правоохранительных органов. Речь идет об эффекте экзотизации, нередком при импорте институтов: в «чужом» институциональном окружении заимствованный институт начинает выполнять не только и не столько те функции, которые изначально планировались, сколько те, о которых при импорте даже не думали или считали второстепенными. Действительно, ранее изложенные результаты опроса в Челябинской области выглядят очень странно, если их трактовать как оценки работы полиции, но вполне реалистично – как оценки социальной напряженности в регионе, которая действительно может резко «прыгать» из года в год.

Для понимания того, насколько российский вариант партнерской модели полиции отклонился от зарубежного «первоисточника», обратим внимание на очень разную роль опросов общественного мнения в России и на Западе. Российская реформа полиции в начале XXI в. сконцентрировалась на создании национальной системы мониторинга общественного мнения о полиции и требовании обязательно использовать (хотя бы формально) результаты этого мониторинга при принятии управленческих решений (хотя бы типа «наградить/наказать»). Зададимся вопросом: организуют ли в странах Запада такие системы мониторинга общественного мнения об органах внутренних дел? Понятно, их не может быть в США с ее децентрализованными службами полиции, где просто нет аналога российского МВД, которое могло бы такие опросы заказывать, а по их результатам оценивать работу полицейских организаций городов и штатов. Но регулярных общенациональных опросов о полиции для оценивания ее работы не проводят и в странах с более централизованными полицейскими службами.

При обсуждении реформирования российской полиции редко замечают, что главная проблема – не столько в самой полиции, сколько в российском гражданском обществе. В постсоветской России гражданский контроль над полицией понимается как обратная связь с обслуживаемым населением в целом. Это связано с советскими (укорененными в досоветских культурных стереотипах) представлениями, что государственная власть служит народу и, следовательно, подконтрольна только народу в целом. Стремление отдельных общественных организаций влиять на власть сразу наталкивается на их обвинение в том, что они не имеют права говорить от имени народа. Между тем гражданское общество, которое по партнерской модели должно контролировать полицию (и государственную власть в целом), отнюдь не тождественно механической совокупности граждан. В рамках дискурса о гражданском обществе всегда подчеркивается, что акторами гражданского общества выступают не столько граждане сами по себе, сколько общественные организации, ответственно выражающие интересы определенных социальных групп. Поэтому региональные службы/подразделения полиции на Западе ориентируются не столько на результаты опросов обслуживаемого населения (хотя опросы на локальном уровне проводят), сколько на оценки влиятельных общественных организаций, представители которых входят в общественные советы, осуществляющие разбор жалоб, аудит (в том числе финансовый) правоохранительной деятельности и т.д. При этом право конкретных общественных организаций выступать от имени социальных групп (этнических, профессиональных, земляческих и т.п.) постоянно тестируется способностью этих организаций вести за собой значительные массы граждан (при организации выборов разных уровней, при сборе и распределении пожертвований, разрешении социальных конфликтов и т.д.).

В процессе реформирования российских правоохранительных органов идея организации обратной связи с гражданами не через опросы общественного мнения, а через представляющие авторитетные НКО общественные советы в территориальных органах внутренних дел также нашла отражение в официальных документах. В том же самом Федеральном законе «О полиции» в пункте 7 статьи 9 прямо указано, что «общественные

советы... призваны обеспечить согласование общественно значимых интересов... путем... осуществления общественного контроля за деятельностью полиции». Однако эта норма является своего рода «платьем на вырост».

Контроль предполагает возможность контролера регулировать ресурсы контролируемого, в то время как сложившаяся система общественных советов может влиять (ограниченно) на имидж территориальных органов внутренних дел, но не на их финансовое обеспечение и на кадровый состав. Это связано не столько с общим недоверием к НКО, сколько с качественными характеристиками самих общественных организаций. Слабость традиций самоорганизации ведет к тому, что российские НКО редко демонстрируют желание и способность реально руководить производством общественных услуг (чаще – желание и способность требовать что-либо от государственных органов). Естественно, партнерство полиции с теми, кто не столько «подставляет плечо», сколько «толкает под руку», может развиваться в очень ограниченных рамках. Действительно, руководители территориальных органов полиции периодически отчитываются перед общественными советами, обсуждают с ними отдельные аспекты работы (например, отражение деятельности полиции в СМИ), но принципиально не могут предлагать им провести полный аудит своей работы.

Представляется, что выбранный еще в 1990-е гг. путь внедрения импортированной с Запада модели партнерства милиции/полиции с обществом, основанный на приоритетном внимании к опросам общественного мнения, к 2020-м гг. исчерпал положительный потенциал. С одной стороны, мониторинг оценок россиянами работы органов внутренних дел удалось наладить по всей России. Однако, с другой стороны, практическое использование этих оценок оказалось спорным по причине ограниченности выбранного метода обратной связи. Переход к следующему этапу развития институтов партнерства станет возможен лишь при повышении «зрелости» как российского государства, так и российского гражданского общества.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Гимпельсон В.Е., Монусова Г.А. Доверие полиции: межстрановой анализ // Вопросы экономики. 2012. № 11. С. 24–47. DOI: 10.32609/0042-8736-2012-11-24-47.
- Зимин Е.А. Концепция «community policing»: общие предпосылки возникновения, доктринальная и практическая неопределенность // Проблемы права. 2014. № 1. С. 88–92.
- Интервью с Леонидом Косалсом. Полиция, которая действует в России, вполне соответствует социально экономической и политической системе, существующей сейчас в стране // Экономическая социология. 2018. № 1. С. 14–24.
- Майоров В.И., Дунаева О.Н. Полиция и общество: быть или не быть социальному партнерству // Социологические исследования. 2017. № 4. С. 43–51.
- Мониторинг общественного мнения о деятельности органов внутренних дел в субъектах Российской Федерации. М.: ВНИИ МВД, 2019.

Статья поступила: 10.08.20. Принята к публикации: 09.10.20.

PARADOXES OF THE RUSSIAN POLICE ASSESSMENT IN THE PUBLIC OPINION POLLS

SITKOVSKY A.L.*, LATOV Yu.V.*

*Academy of Management of the Ministry of Internal Affairs of Russia, Russia

Andrey L. SITKOVSKY, Cand. Sci. (Leg.), Deputy Head of the Research Center, Academy of Management of the Ministry of Internal Affairs of Russia (sitk-andrej@yandex.ru); Yuri V. LATOV, Dr. Sci. (Sociol.), Chief Researcher, Research Center of the Academy of Management of the Ministry of Internal Affairs of Russia; Leading Researcher, Institute of Sociology of FCTAS RAS (latov@mail.ru). Both – Moscow, Russia.

Abstract. Since the 1990s the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation has commissioned an annual all-Russian public opinion poll on the police, the results of which are considered as an important element in evaluating the activity of territorial subdivisions of the internal affairs bodies. The article deals with the inevitable contradictions between the public opinion assessments and those based on departmental criteria. The case-study in related to 2018 events, when the Ministry of Internal Affairs of Russia in the Chelyabinsk region was on one of the first places by departmental criteria, but on the last place (in this region only 24.3% of respondents expressed confidence in the police) according to the public opinion poll. The authors, who, as experts, participated in the explanation of this case, concluded that it showed systemic contradictions of the exaptation in post-Soviet Russia of community policing model. The desire for a partnership between the police and civil society manifests itself in the form of monitoring public opinion polls rather than an NGO audit, which reflect rather social tensions in the region.

Keywords: public opinion, sociology of police, model of community policing, exaptation of institutions, civil society.

REFERENCES

- Gimpelson V.E., Monusova G.A. (2012) Trust in the Police: Cross-country Comparisons. *Voprosy Ekonomiki*. No. 11: 24–47. DOI: 10.32609/0042-8736-2012-11-24-47. (In Russ.)
- Interview with Prof. Leon Kosals. (2018) The Police Acting in Russia Today are Consistent with Social, Economic and Political Conditions in the Country. *Ekonomicheskaya sotsiologiya* [Journal of Economic Sociology]. Vol. 19. No. 1: 14–24. (In Russ.)
- Mayorov V.I., Dunayeva O.N. (2017) Police and Society. To Be or not to Be Social Partnership? *Sotsiologicheskiye issledovaniya* [Sociological Studies]. 2017. No. 4: 43–51. (In Russ.)
- Monitoring of Public Opinion on Activity of the Internal Affairs Bodies in the Subjects of the Russian Federation*. (2019) Moscow: VNII MVD. (In Russ.)
- Zimin E.A. (2014) The “Community Policing” Concept: the General Prerequisites of Development, Doctrinal and Practical Uncertainty. *Problemy prava* [Issues of law]. No. 1: 88–92. (In Russ.)

Received: 10.08.20. Accepted: 09.10.20.

С.Г. УШКИН, Е.А. КОВАЛЬ

СУБЪЕКТЫ НОРМОТВОРЧЕСТВА В ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ СТУДЕНТОВ-ЮРИСТОВ

УШКИН Сергей Геннадьевич – кандидат социологических наук, ведущий научный сотрудник отдела мониторинга социальных процессов Научного центра социально-экономического мониторинга (ushkinsergey@gmail.com); КОВАЛЬ Екатерина Александровна – доктор философских наук, профессор кафедры уголовно-процессуального права и криминалистики Средне-Волжского института (филиала) Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста России) (nwifesc@yandex.ru). Оба – Саранск, Россия.

Аннотация. Для исследования представлений современных российских студентов о социальных нормах перспективным представляется изучение взглядов тех, кто в ближайшее время будут сами участвовать в нормотворческой деятельности, – студентов юридических специальностей и направлений подготовки. На основе эмпирического материала, полученного в 2016 (N = 374) и 2020 гг. (N = 415) на базе филиалов Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста России), авторы выявляют закономерности формирования и взаимовлияния правовых, моральных и религиозных норм. Доказано, что в социальном воображаемом студентов-юристов выражены тенденции исключения из нормотворческих процессов групп меньшинств (сексуальных, национальных, религиозных), хотя в динамике фиксируется повышение толерантности к этим группам.

Ключевые слова: нормы права • нормы морали • нормы религии • культурные ценности • социальное воображаемое • нормотворчество

DOI: 10.31857/S013216250012553-1

Проблематика взаимообусловленности норм права, морали и религии занимает важное место на пересечении ряда научных дисциплин, и значимость ее не ослабевает. Она тесно связана с поиском путей построения справедливого общества, основанного на верховенстве закона. Ее актуальность особенно высока для нашей страны, где усиливаются запросы на обеспечение действенной правовой защиты [Петухов, Петухов, 2019: 127].

Конструирование уважительного отношения к закону, расширенное воспроизводство практик, соответствующих нормативным предписаниям, тесно связано с трансформацией правового сознания россиян [Козырева, Смирнов, 2020: 76]. Реализация подобного сценария связана не только со способностью людей принять новые правила игры, но и с возможностями обеспечить необходимые условия преодоления правового нигилизма. К сожалению, в нашем обществе преобладает критическое восприятие представителей правоохранительных органов и органов власти, что становится одной из причин неуважения к закону и противозаконного поведения [Покида, Зыбуновская, 2020: 97].

Необходимым условием развития правового сознания россиян в целом является повышение правовой культуры самих профессиональных юристов, которая формируется под влиянием профильного образования, практики правоприменения и господствующей идеологии. Сосредоточим внимание на первом факторе, исследуя для этого правовую культуру студентов юридических специальностей и направлений подготовки (студентов-юристов), которые в перспективе должны будут профессионально заниматься

правоприменением и правотворчеством. Наш основной акцент будет сделан на взаимосвязи права с другими нормативными регуляторами в социальном воображаемом будущих профессиональных юристов.

Теоретические предпосылки и гипотезы. Рассмотрению природы нормативности посвящен большой пласт исследовательских работ в разных научных направлениях. В центре их внимания – причины возникновения и трансформации норм, механизмы их воспроизводства; особые черты, отличающие социальные нормы от эмпирически наблюдаемых; различия между принятием легитимности нормы и следованием ей [Девятко и др., 2017: 14].

В качестве основной методологической рамки нашего анализа выбран нормативный подход, разрабатываемый в русле левоцентристского проекта «хорошего общества» [Коваль, 2016]. В его основе лежит модель социального воображаемого – совокупности представлений людей о собственном существовании в социуме, взаимоотношениях с другими людьми, ожиданиях, с которыми к таким контактам обычно подходят, а также глубинных нормативных идеях и образах, скрывающихся за этими ожиданиями [Taylor, 2007: 171]. Под социальным воображаемым понимается источник социального порядка и автономный фактор социальной жизни. Оно служит для того, чтобы люди представили окружающие субъекты в собственной системе нравственных координат и на ее основе определили отношение к ним. Именно в социальном воображаемом следует искать основания правовых, моральных и религиозных норм, что делает его в некотором смысле более реальным, чем сама реальность [Касториадис, 2003: 69].

В этом контексте мы попытались выявить представления респондентов об источниках правовой нормативности и субъектах нормотворчества. Логично предположить, что эти представления определяют образ правовой системы у будущих юристов и их ценностно-нормативные установки, оказывающие прямое влияние как на качество их будущей конкретной правоприменительной и правотворческой деятельности, так и на уровень их общей правовой культуры.

Опираясь на классические правовые теории, мы выделяем возможных носителей нормотворческой воли и анализируем, кто из них, по мнению респондентов, создает нормы на современном этапе развития общества, а кто в идеале должен их устанавливать. Здесь надо обратить внимание на противопоставление религиозных, патерналистских и договорных подходов к пониманию источников правовых норм.

Наиболее древние концепции характеризуются религиозными представлениями о сверхъестественном источнике нормативности права. Они актуальны для той части общества, в социальном воображаемом которой доминируют традиционно-религиозные представления о праве. Ключевыми субъектами нормотворчества в них являются Бог и религиозная элита.

Более поздние патерналистские концепции основываются на понимании государства как семейного союза, где правитель, носитель нормотворческой воли, – своего рода глава семьи («отец народа»), а граждане – ее члены. Патерналистские теории в социальном воображаемом порождают веру «...широких слоев населения в “царя-батюшку” и во всякое начальство как в “отца родного”» [Нерсисянц, 2013: 42]. В постсоветской России на роль «царя-батюшки» вполне может претендовать президент, а на роль «всякого начальства» – правящие элиты.

Наиболее современные концепции, апеллирующие к договорной природе права, основываются на идеях соглашения между равноправными людьми о пространстве нормативного и ненормативного. Эти идеи оказали существенное влияние на формирование современных правовых демократических государств, поскольку основными субъектами нормотворчества признаются рядовые граждане (даже если они делегируют отдельные свои права государственным органам) и социальные группы. Представления об общественном договоре как источнике правовой нормативности, даже если они латентны, свидетельствуют о доминировании в социальном воображаемом идей свободы, равенства, неотчуждаемых прав человека.

Проверяемая гипотеза исследования заключается в том, что в правовом сознании российских студентов-юристов существует расхождение между сущим и должным, связанное с синкретизмом правовой культуры, выраженном во взаимосвязи и взаимообусловленности норм права, морали и религии на бытовом уровне. Те, кто связывают свою профессиональную жизнедеятельность с правоприменением и правотворчеством, неминуемо отталкиваются от предшествующего повседневного рационального и чувственного опыта.

Проблема в том, что в юридическом образовании нравственным аспектам профессиональной деятельности уделяется сравнительно мало внимания [Коваль и др., 2020: 279]. Это порождает проблемы с целостным восприятием ценностно-нормативных элементов социального воображаемого, в котором тесным образом переплетаются различные нормативные регуляторы. Нарушаются процессы формирования нормального правосознания будущих юристов, которое, как отмечает И.А. Ильин, «...может быть развито и упрочено в душе только в связи с ее общим, моральным и нравственным воспитанием» [Ильин, 1994: 237]. Между тем сегодняшним выпускникам и учащимся вузов вскоре предстоит практически решать возникающие в обществе проблемы. От того, каких ценностей, норм и принципов они придерживаются, с какими установками и ориентациями они приступят к трудовой деятельности, во многом будет зависеть их профессиональный успех [Ретивина, 2019: 57].

Эмпирическая база и методика анализа. Поскольку поле исследовательских вопросов в рамках данного направления представляется весьма широким, мы ограничимся далее только двумя проблемами – что, с точки зрения будущих юристов, детерминирует нормы права, морали и религии, а также кто должен их устанавливать.

Представленный в работе анализ основан на результатах социологического опроса, проведенного авторами на базе филиалов Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста России) в восьми российских городах – Ижевске, Казани, Калуге, Петрозаводске, Саранске, Саратове, Туле и Хабаровске, в апреле – сентябре 2020 г. Студенты участвовали в анкетировании удаленно, посредством сервиса Google Forms.

Рекрутинг респондентов происходил через представителей администрации структурных подразделений, профессорско-преподавательский состав и студенческие советы. В каждом из филиалов опрошено примерно 10% обучающихся по очной форме. В исследовании участвовали свыше 1000 респондентов, после нормализации выборки по полу, форме и месту обучения отобрано 415 результативных анкет. Там, где это возможно, приведены результаты нашего предыдущего исследования, проведенного среди студентов того же вуза ($N = 374$) четыре года назад по схожей методике (см.: [Коваль, Ушкин, 2018; Ушкин, Коваль, 2020]).

В инструментарии мы попытались закодировать субъекты правотворчества, которые детерминировали правовую культуру в различные периоды развития правовых систем. В частности, если в качестве субъектов респонденты выбирают Бога или религиозную элиту, это свидетельствует о доминировании в социальном воображаемом традиционно-религиозных установок; государство или правящую элиту – патерналистских; социальные группы или простых граждан – демократических.

Провокативным являлся вопрос об исключении отдельных социальных групп из обсуждения социальных норм и ценностей. Развитая правовая культура позволяет четко дифференцировать субъекты по возможности их участия в жизни государства, основываясь в первую очередь на действующих законах и подзаконных актах. Например, российская правовая система не ограничивает деятельность национальных, религиозных или сексуальных меньшинств, представителей оппозиции. Безусловно, в ней прослеживается ориентация на поддержание морали при помощи права (см., напр.: [Харт, 2020]), но это регулируется негласными договоренностями в судебном корпусе. В то же время терроризм признается противоправным деянием, за которое предусмотрена уголовная ответственность. Поэтому если респонденты заявляют, что готовы прислушаться к террористам при обсуждении дальнейшего развития общества, то это свидетельствует не об обостренном чувстве толерантности опрашиваемых, а, скорее, об их правовом нигилизме.

Результаты и их обсуждение. Как показал проведенный в 2020 г. опрос, более половины (53%) студентов-юристов придерживаются мнения, что существующие в обществе нормы права, морали и религии отчасти связаны между собой, отчасти – нет. Каждый третий (35%) указывает на наличие тесной взаимосвязи, оставшиеся (7%) прямой связи не наблюдают.

Различия во взглядах проявляются, в частности, в качественно разных представлениях о характере происхождения норм. Чаще всего субъектом, создающим правовые нормы, называли государство (70%) или правящую элиту (23%), создающим моральные нормы – различные социальные группы (38%) или простых граждан¹ (32%), создающим религиозные нормы – религиозную элиту (48%) или Бога (25%) (табл. 1).

Таблица 1

Представления студентов-юристов о том, кто в современном обществе создает нормы права, морали и религии, 2020 г. (в % от числа ответивших)

Субъект нормотворчества	Нормы права	Нормы морали	Нормы религии
Бог	1	7	25
Государство	70	8	8
Правящая элита	23	12	6
Религиозная элита	1	1	48
Социальные группы	3	38	4
Простые граждане	1	32	4
Другой вариант ответа	1	2	5

В представлениях студентов-юристов практически исключается божественное происхождение правовых норм, что характерно для ряда классических естественно-правовых концепций. Следовательно, преобладающим типом мировоззрения будущих юристов является юридический позитивизм. Подавляющее большинство опрошенных (70%) признают за государством исключительное право на правотворчество. Такое позитивистское понимание права влияет и на восприятие иных социальных норм, поэтому исследование такого рода корреляций представляется небезынской научной задачей.

Восприятие Бога как создателя моральных норм характерно для традиционно-религиозного сознания, но лишь небольшая доля (7%) респондентов придерживается такого мнения, хотя половина опрошенных (55%) считает себя верующими людьми. По данному вопросу различия в подгруппах верующих и неверующих респондентов минимальны (8 и 5% соответственно) и объяснимы смещениями при проведении исследования. Поэтому, вслед за рядом авторов, констатируем, что религия «утрачивает статус единого общего мировоззрения и превращается всего лишь в подсистему, постепенно теряя все больше своих функций, сосредотачиваясь на сугубо религиозной функции» [Узланер, 2019: 216].

Парадоксально, что, как показывают результаты исследования, при создании религиозных норм респонденты чаще отдают главенство не Богу, а религиозной (церковной) элите. Причем такая ситуация наблюдается как среди тех, кто считает себя верующими людьми (34 и 43% соответственно), так и тех, кто, напротив, верующими не является (6 и 55% соответственно). Причем среди неверующих определенная доля людей все же указывает на божественное происхождение религиозных норм, что говорит о колеблющемся характере их мировоззрения.

¹ Термин «социальные группы» в рамках данного исследования использовался для обозначения сообществ, связанных общими интересами и имеющими возможность их лоббировать (например, профессиональные, этнические, протестные группы и т.д.). Под «простыми гражданами» подразумевалось неструктурированное население в целом.

Существенным нормотворческим потенциалом респонденты наделяют правящую элиту: 23% (почти четверть) закрепляют за ней создание правовых норм, 12% – норм моральных. Лишь в религиозной сфере нормотворческое влияние правящей элиты является незначительным (такой выбор сделали всего 6%).

Религиозная элита, в отличие от правящей, рассматривается только как субъект создания религиозных норм (выбор в ее пользу сделали 48%). То, что она не рассматривается как самостоятельный субъект правового нормотворчества, объясняется тем, что представители религиозной элиты не занимают должности в органах власти и занимаются правовым нормотворчеством не в большей степени, чем иные граждане. Однако и субъектом морального нормотворчества, в восприятии опрошенных, религиозная элита тоже не выступает. Вероятно, это связано с низким уровнем авторитета современных религиозных элит, чему способствуют многочисленные сюжеты в российских СМИ, критически рассматривающие как отдельные поступки руководителей религиозных конфессий, так и их моральные качества.

Респонденты высоко оценивают роль социальных групп (38%) и простых граждан (32%) как субъектов морального нормотворчества. По большому счету, можно говорить о приближении к полноценному воплощению мечты о власти общественного мнения, которая должна выражаться в реализации установок на проведение референдумов, массовых опросов, мониторинга социальных сетей и блогов, и т.д. Проблема в том, что социальные группы и простые граждане зачастую становятся объектом манипуляции правящей элиты, поэтому выражают свою позицию в ограниченном диапазоне возможностей (см.: [Юдин, 2020]).

Помимо выявления понимания респондентами текущего положения вещей в процессах создания социальных норм, своеобразного нормотворческого сущего, мы попытались исследовать и понимание нормотворческого должного.

В процесс обсуждения того, что должно в обществе стать общепринятой нормой, по мнению респондентов, должны быть включены различные акторы, среди которых значимую роль играют простые граждане. Можно сказать, что, по мнению студентов-юристов, устанавливать нормы права должно государство с опорой на мнение простых граждан, нормы морали – простые граждане при поддержке различных социальных групп и государства, а нормы религии – простые граждане наряду с религиозной элитой и Богом (табл. 2). Тезис, что при формировании норм религии простые граждане более значимы, чем Бог, выглядит очень парадоксально, но он хорошо отражает культурную ситуацию в глубоко секуляризированном обществе, где даже многие граждане, называющие себя верующими, не считают Бога реальным актором нормотворчества.

Идентификация простых граждан как надлежащего ключевого субъекта создания общепринятых норм свидетельствует, видимо, о кризисе в России легитимности правящего истеблишмента, развитии критического (а часто – и протестного) потенциала и росте

Таблица 2

Представления студентов-юристов о том, кто должен определять, что в обществе должно стать общепринятой нормой, 2020 г. (в % от числа ответивших)

Актор	Нормы права	Нормы морали	Нормы религии
Бог	2	6	22
Государство	59	18	11
Правящая элита	4	6	5
Религиозная элита	–	–	22
Социальные группы	7	19	4
Простые граждане	24	47	26
Другой вариант ответа	4	4	10

установки на демократическое преобразование российского общества, в котором понятие «власть народа» имеет позитивные коннотации. В любом случае люди, находящиеся у власти (правящая элита), не обладают в социальных представлениях респондентов теми качествами, которые делали бы их популярным субъектом создания общепринятых норм. Подобное отношение к ним может являться как индикатором развития гражданственности, так и фактором расшатывания социально-политической стабильности [Ушкин, 2017: 128].

Еще одна возможная интерпретация полученных результатов – вероятная популярность левоцентристских социальных проектов в студенческой среде. Это подтверждается в других исследованиях. Так, М.С. Константинов и Р.А. Пупыкин, анализируя изменения в социально-политических установках и ожиданиях регионального студенчества в период 2015–2019 гг., установили приоритетное положение левоцентристских и демократических ценностей наряду с падением популярности «...практически всех “правых” идеологий – консерватизма (на 15,5%), национального патриотизма (на 14,6%) и монархизма (на 5,8%)» [Константинов, Пупыкин, 2020: 196].

Еще один разрыв между сущим и должным обнаруживается в представлениях о субъектах морального нормотворчества. Респонденты полагают, что государство должно больше участвовать в определении того, что морально: на уровне сущего его выбрали 8% респондентов, а на уровне должного – 18%. Впрочем, почти половина опрошенных называют основным нормотворческим субъектом в сфере морали всё тех же простых граждан (47%).

То, что будущие юристы уделяют такое большое внимание роли простых граждан в формировании норм права, морали и религии, может косвенно свидетельствовать о стремлении респондентов к сохранению устойчивости социума. Н. Луман назвал право иммунитетом общества, призванным защищать воспроизводство коммуникативной системы общества от различных помех [Луман, 2007: 36]. Можно предположить, что и у моральных норм есть аналогичные иммунные свойства.

Следует обратить внимание на то, что в представлениях респондентов некоторые социальные группы должны исключаться из конструирования морального, правового и религиозного континуумов. Как отмечает А. Этциони, склонность к исключению имеют абсолютно все сообщества, это является нормативным дефектом их природы [Etzioni, 2002]. При этом принципы исключения могут базироваться на негласном «общественном договоре», который время от времени может меняться. Например, в СМИ давно обсуждаются высказывания папы римского Франциска, выступившего за легализацию однополых браков, что означает постепенное обретение в католическом миропонимании гомосексуальными парами равного статуса с гетеросексуальными.

Юридическое сообщество, включая будущих юристов, должно быть наименее склонно к исключениям в вопросах об участии различных групп в нормотворческой деятельности по каким-либо социальным признакам и резко негативно относиться к вовлечению в процесс обсуждения норм преступников. Однако результаты исследования показали (табл. 3), что социальное воображаемое опрошенных не соответствует прогнозируемому исследователями должному.

Как показали опросы, более половины респондентов ни при каких обстоятельствах не допустили бы к публичному обсуждению социальных норм и ценностей представителей террористических организаций. В то же время симптоматично, что более трети студентов-юристов не исключили террористов из числа желательных, по их мнению, участников такого обсуждения. Свыше трети опрошенных (причем за 2016–2020 гг. эта доля выросла) не стали бы привлекать к дискуссии маргиналов. Значимая доля опрошенных не готова допускать к нормотворческим процессам различные виды меньшинств, хотя за 2016–2020 гг. уровень толерантности в этом вопросе вырос – респонденты существенно реже стали исключать и сексуальные, и религиозные, и национальные меньшинства, и оппозиционеров. Одновременно в полтора раза увеличилась доля тех респондентов, которые считают, что к процессам правового и морального нормотворчества «необходимо

Таблица 3

**Представителей каких социальных групп студенты-юристы не допустили бы к публичному обсуждению социальных норм и ценностей ни при каких обстоятельствах
(в % от числа опрошенных)**

Социальные группы	2016	2020
Национальные меньшинства	16	10
Религиозные меньшинства	21	18
Сексуальные меньшинства	33	26
Маргинализованные слои населения (бомжи, наркоманы, алкоголики, проститутки и т.д.)	38	44
Террористические организации	56	62
Оппозиция	9	5
Необходимо допускать всех	7	11
Другое	1	1
Затрудняюсь ответить	18	12

Примечание. Сумма по столбцам превышает 100%, поскольку респондентам предлагалось выбрать более одного варианта ответа.

допускать всех». Впрочем, это трудно считать проявлением роста правовой культуры, поскольку, согласно анкете, в число «всех» входят и члены террористических организаций.

Безусловно, в социологических опросах не бывает правильных или неправильных ответов. Однако в нашем случае мы можем позволить себе ввести подобные дефиниции, соотнеся ответы с российским законодательством, согласно которому из всех названных в анкете акторов нелегитимны только представители террористических организаций.

Респондентов, таким образом, можно дифференцировать на тех, кто дал совершенно правильные, отчасти правильные и совершенно неправильные ответы. К первой группе относятся 18% опрошенных, исключаящих из публичного дискурса только террористов; к последней – 15%, не исключаящих террористов, но исключаящих представителей меньшинств и/или маргиналов и/или оппозиционеров. Таким образом, опрос показал, что лишь менее чем каждый пятый студент-юрист обладает развитой правовой культурой (насколько об этом может свидетельствовать ответ на один вопрос в анкете); почти столько же будущих юристов характеризуются низким уровнем толерантности в сочетании с признанием возможности участия террористов в публичном дискурсе по ценностно-нормативным вопросам. При этом нет статистически значимых взаимосвязей между уровнем развития правовой культуры и различными социальными характеристиками (пол, возраст, место обучения, курс, религиозность, вероисповедание, национальность). Можно предположить, что студенты, демонстрирующие развитую правовую культуру, это «отличники», а давшие совершенно неправильные ответы – «троечники» (в вузах эти полярные по успеваемости группы составляют порядка 15–20% [Мягков, 2017: 46]). Однако данное предположение требует дальнейшей проверки на новых опросных данных.

Выводы и рекомендации. Становление и развитие проекта «хорошего общества» в российском варианте сопряжено с рядом рисков, которые затрудняют его достижимость. В первую очередь, это – раскол по позициям, определяющим развитие моральной и правовой систем. Он является следствием низкой социальной консолидированности как всего российского общества, так и будущих профессиональных юристов.

Полученные результаты свидетельствуют о готовности респондентов к социальному контракту, основанному на договоренностях между отдельными членами общества. Возможно, приоритет коммуникативных представлений об источнике нормативности права, морали и религии объясняется стремлением к снятию конфликтов и к достижению «хорошего общества» с наименьшими потерями.

Существенная часть опрошенных склонна доверить создание правовых норм гражданам. Это связано с тем, что будущие юристы имеют расширенные (в сравнении с советскими временами) представления о нормотворческом процессе. Они понимают, что в постсоветской России существуют механизмы правового нормотворчества, в которых могут участвовать не только специализированные органы, но и простые граждане (референдум, «нулевые чтения» проектов нормативных актов, общественная экспертиза нормативных правовых актов и т.п.). Вероятно, этим объясняется отмечаемая респондентами важность легитимации выработанных правил представителями всех социальных групп, а не только политиками, интеллектуалами и т.д. Все те, кто будет участвовать в обсуждении социальных норм и ценностей, не должны, по мнению опрошенных, маркироваться как «другие», поскольку уровень толерантности к ним не является высоким – и особенно это касается представителей меньшинств (сексуальных, религиозных, национальных). Впрочем, уровень толерантности к меньшинствам как участникам нормотворческих процессов (как минимум, в форме публичных ценностно-нормативных диалогов) за последние четыре года увеличился, что выразилось в росте доли тех, кто готов отказаться от исключений в нормотворческих процессах.

Тревогу вызывает то, что свыше трети опрошенных готовы включить в общественный дискурс и представителей террористических организаций. Казалось бы, будущие юристы, как никто другой, должны знать, что терроризм и пособничество терроризму – уголовно наказуемые деяния, следовательно, их привлечение к нормотворческому дискурсу идет вразрез с действующим законодательством. Реальность, к сожалению, такова, что уровень правовой культуры тех, кто в перспективе планирует заниматься правоприменением и правотворчеством, оставляет желать лучшего. Возникают закономерные вопросы: суждено ли им стать профессионалами в своем деле? А если суждено, то каково будет их влияние на остальных граждан?

Таким образом, изучение правовой культуры студентов-юристов приводит к выводу о серьезном разрыве между должным и сущим в их ценностно-нормативных представлениях. Это может быть обусловлено различными причинами – связанными как с общими недостатками национальной культуры (высокий уровень социальной разобщенности и, соответственно, низкий уровень доверия; низкий уровень правовой культуры; склонность к традиционным ценностям, выводящим отдельные виды меньшинств за пределы нормативного пространства), так и конкретно с правовым нигилизмом будущих юристов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Девятко И.Ф., Абрамов Р.Н., Катерный И.В. (ред.) Нормы и мораль в социологической теории: от классических концепций к новым идеям. М.: Весь Мир, 2017.
- Касториadis К. Воображаемое установление общества. М.: Гнозис; Логос, 2003.
- Ильин И.А. Собрание сочинений: в 10 т. Т. 4. М.: Русская книга, 1994.
- Коваль Е.А. Нормативные основания «хорошего общества». Саранск: ЮрЭксПрактик, 2016.
- Коваль Е.А., Сычев А.А., Жадунова Н.В., Фомина Л.Ю. «Руководствоваться законом и совестью»: hard skills и soft skills в юридическом образовании // Интеграция образования. 2020. Т. 24. № 2. С. 276–295. DOI: 10.15507/1991-9468.099.024.202002.276-295.
- Коваль Е.А., Ушкин С.Г. Пути России в будущее. Готово ли наше общество стать «хорошим»? // Социологические исследования. 2018. № 2. С. 136–145. DOI: 10.7868/S0132162518020149.
- Козырева П.М., Смирнов А.И. Эволюция правовых представлений россиян: законопослушность или справедливость? // ПОЛИС. Политические исследования. 2020. № 5. С. 75–89. DOI: 10.17976/jpps/2020.05.06.
- Константинов М.С., Пупыкин Р.А. Социально-политические установки и ожидания студенческой молодежи Ростовской области (по материалам анкетированного опроса 2019 г.) // Государственное и муниципальное управление. Ученые записки. 2020. № 1. С. 193–202. DOI: 10.22394/2079-1690-2020-1-1-193-202.
- Луман Н. Социальные системы. Очерк общей теории. СПб.: Наука, 2007.
- Луман Н. Что такое коммуникация? // Социологический журнал. 1995. № 3. С. 114–124.

- Мягков А.Ю. Академическая активность студентов: барьеры самореализации и стимулы к учебе // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. Серия: Социальные науки. 2017. № 2. С. 45–52.
- Нерсесянц В.С. Теория права и государства. М.: Норма; ИНФРА-М, 2013.
- Павлюткин И.В. Динамика религиозности молодых людей в России // Научный результат. Социология и управление. 2020. Т. 6. № 3. С. 153–183. DOI: 10.18413/2408-9338-2020-6-3-0-10.
- Петухов В.В., Петухов Р.В. Запрос на перемены: причины актуализации, ключевые слагаемые и потенциальные носители // ПОЛИС. Политические исследования. 2020. № 5. С. 119–133. DOI: 10.17976/jpps/2019.05.09.
- Покида А.Н., Зыбуновская Н.В. Правовые ценности современных россиян: приоритеты и противоречия // Социологические исследования. 2020. № 1. С. 92–99. DOI: 10.31857/S013216250008327-2.
- Ретивина В.В. Трудовые ценности и установки современной студенческой молодежи // Высшее образование в России. 2019. Т. 28. № 1. С. 57–63. DOI: 10.31992/0869-3617-2019-28-1-57-63.
- Узланер Д.А. Конец религии? История теории секуляризации. М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2019.
- Ушкин С.Г. Протесты и протестующие провинциального города: как к ним относится население? // Власть. 2017. № 11. С. 123–129.
- Ушкин С.Г., Коваль Е.А. Социальное будущее в представлениях будущих российских юристов // Вестник Института социологии. 2020. Т. 11. № 3. С. 28–42. DOI: 10.19181/vis.2020.11.3.661.
- Харт Г.Л.А. Право, свобода и мораль. М.: Ин-т Гайдара, 2020.
- Юдин Г.Б. Общественное мнение, или Власть цифр. СПб.: ЕУ в СПб., 2020.
- Etzioni A. The Good Society // Seattle Journal of Social Justice. 2002. Vol. 1. No. 1. P. 83–96.
- Taylor Ch. A Secular Age. Cambridge, MA: Belknap Press, 2007.

Статья поступила: 05.11.20. Финальная версия: 05.11.20. Принята к публикации: 11.01.21.

THE SUBJECTS OF NORM-CREATING IN THE REPRESENTATIONS OF LAW STUDENTS

USHKIN S.G.*, KOVAL E.A.**

*Scientific Center of Social-Economic Monitoring State Institution, Russia; **All-Russian State University of Justice, Russia

Sergey G. USHKIN, Cand. Sci. (Sociol.), Leading Researcher, Social Processes Monitoring Department, Scientific Center of Social-Economic Monitoring State Institution (ushkinsergey@gmail.com); Ekaterina A. KOVAL, Dr. Sci. (Philos.), Prof., Middle-Volga Institute – branch of All-Russian State University of Justice (RLA of the Ministry of Justice of Russia) in Saransk (nwifesc@yandex.ru). Both – Saransk, Russia.

Acknowledgements. The paper is part of the research project “Norm-creating of Morality, Law and Religion” (RFBR No. 19-011-00082).

Abstract. To research the ideas of modern Russian students about social norms, it seems promising to study the views of those who in the near future will use their professional competencies in the norm-creating activities – law students. The authors work with empirical material obtained in 2016 ($N = 374$) and 2020 ($N = 415$) on the basis of branches of the All-Russian State University of Justice (RLA of the Ministry of Justice of Russia). The patterns of formation and mutual influence of legal, moral and religious norms were revealed. It is proved that in the social imaginary of young people, there are tendencies to exclude minority groups (sexual, national, religious) from the rule-making processes, although an increase in tolerance towards these groups is recorded in dynamics.

Keywords: norms of law, norms of morality, norms of religion, cultural values, social imaginary, norm-creating.

REFERENCES

- Castoriadis C. (2003) *The Imaginary Institution of Society*. Moscow: Gnosis; Logos. (In Russ.)
- Deviatko I.F., Abramov R.N., Katerny I.V. (eds) (2017) *Norms and Morality in Sociological Theory: From Classical Conceptions to New Ideas*. Moscow: Ves Mir. (In Russ.)
- Etzioni A. (2002) The Good Society. *Seattle Journal of Social Justice*. Vol. 1. No. 1: 83–96.
- Hart H.L.A. (2020) *Law, Liberty, and Morality*. Moscow: In-t Gaidara. (In Russ.)
- Ilyin I.A. (1994). *Collected Works in 10 vols*. Vol. 4. Moscow: Russkaya kniga. (In Russ.)

- Konstantinov M.S., Pupykin R.A. (2020) Social and Political Guidance and Expectations of the Students of Rostov Region (Based on the 2019 Questionnaire). *Gosudarstvennoe i munitsipal'noe upravlenie. Uchenye zapiski* [State and Municipal Management. Scholar Notes]. No. 1: 193–202. DOI: 10.22394/2079-1690-2020-1-1-193-202. (In Russ.)
- Koval E.A. (2016) *The Normative Foundations for a "Good Society"*. Saransk: Yurekspraktik. (In Russ.)
- Koval E.A., Sychev A.A., Zhadunova N.V., Fomina L.Yu. (2020) "To Follow the Law and Conscience": Hard Skills and Soft Skills in the Legal Education. *Integratsiya obrazovaniya* [Integration of Education]. Vol. 24. No. 2: 276–295. DOI: 10.15507/1991-9468.099.024.202002.276-295. (In Russ.)
- Koval E.A., Ushkin S.G. (2018) Russia's Paths in the Future: Is our Society Ready to become a "Good Society"? *Sotsiologicheskie issledovaniya* [Sociological Studies]. No. 2: 136–145. DOI: 10.7868/S0132162518020149. (In Russ.)
- Kozyreva P.M., Smirnov A.I. (2020) The Evolution of Russian Citizens' Views on the Law: Law Abidance or Justice? *POLIS. Politicheskie issledovaniya* [POLIS. Political Studies]. No. 5: 75–89. DOI: 10.17976/jpps/2020.05.06. (In Russ.)
- Luhmann N. (2007) *Social Systems. Essay on the General Theory*. St. Petersburg: Nauka. (In Russ.)
- Luhmann N. (1995) What is Communication? *Sotsiologicheskii zhurnal* [Sociological Journal]. No. 3: 114–124. (In Russ.)
- Myagkov A.Yu. (2017) Academic Activity of Students: Barriers to Self-realization and Incentives for Learning. *Vestnik Nizhegorodskogo universiteta im. N.I. Lobachevskogo. Seriya: Sotsialnye nauki* [Vestnik of Lobachevsky State University of Nizhni Novgorod. Series: Social Sciences]. No. 2: 45–52. (In Russ.)
- Neresyants V.S. (2013) *Theory of Law and State*. Moscow: Norma; INFRA-M. (In Russ.)
- Pavlyutkin I.V. (2020) Dynamics of Religious Commitments of Young People in Russia. *Nauchnyy rezultat. Sotsiologiya i upravlenie* [Research Result. Sociology and Management]. Vol. 6. No. 3: 153–183. DOI: 10.18413/2408-9338-2020-6-3-0-10. (In Russ.)
- Petukhov V.V., Petukhov R.V. (2019) Request for Change: Factors and Causes of its Actualization, Key Components, and Potential Carriers. *POLIS. Politicheskie issledovaniya* [POLIS. Political Studies]. No. 5: 119–133. DOI: 10.17976/jpps/2019.05.09. (In Russ.)
- Pokida A.N., Zybunovskaya N.V. (2020) Legal Values of the Russian Population: Priorities and Contradictions. *Sotsiologicheskie issledovaniya* [Sociological Studies]. No. 1: 92–99. DOI: 10.31857/S013216250008327-2. (In Russ.)
- Retivina V.V. (2019) Labor Values and Attitudes of Modern Students. *Vysshee Obrazovanie v Rossii* [Higher Education in Russia]. Vol. 28. No. 1: 57–63. DOI: 10.31992/0869-3617-2019-28-1-57-63. (In Russ.)
- Taylor Ch. (2007) *A Secular Age*. Cambridge, MA: Belknap Press.
- Ushkin S.G., Koval E.A. (2020) The Future of Society According to Future Russian Lawyers. *Vestnik Instituta sotziologii* [Bulletin of the Institute of Sociology]. Vol. 11. No. 3: 28–42. DOI: 10.19181/vis.2020.11.3.661. (In Russ.)
- Ushkin S.G. (2017) Attitude of the Population to the Protests in the Provincial City. *Vlast'* [The Authority]. Vol. 25. No. 11: 123–129. (In Russ.)
- Uzlaner D.A. (2019) *The End of Religion? A History of the Theory of Secularization*. Moscow: Izd. dom Vysshey shkoly ekonomiki. (In Russ.)
- Yudin G.B. (2020) *Public Opinion. The Power of Numbers*. St. Petersburg: EU v SPb. (In Russ.)

Received: 05.11.20. Final version: 05.11.20. Accepted: 11.01.21.

© 2021 г.

Дж. СУТЕРС

СОЦИОЛОГИЯ И ВОЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: РАСШИРЯЯ ГОРИЗОНТЫ С ПОМОЩЬЮ КЛАССИКОВ

СУТЕРС Джозеф – почетный профессор социологии и организационных исследований Тилбургского университета (Нидерланды) и Нидерландской академии обороны, Нидерланды (jmm1.soeters@gmail.com).

Аннотация. В статье демонстрируется возможность использовать наработки классической социологии для изучения различных аспектов современной военной социологии, особенно вопросов субстанциональной рациональности. В качестве примера приводится Георг Зиммель, взгляды которого на положение человека в социальных группах, динамику конфликта, доверие и положение «чужого» могут оказаться полезными в социологических исследованиях функционирования и действий вооруженных сил. Автор призывает к развитию военной социологии, более детально изучающей операционную сторону вооруженных сил, принимая во внимание интересы всех вовлеченных в военный конфликт сторон.

Ключевые слова: армия • классики социологии • субстанциональная рациональность • Георг Зиммель • военные операции • военные убеждения • «овраживание»

DOI: 10.31857/S013216250012680-1

Введение. С момента зарождения социологии как научной дисциплины война и мир, конфликт и насилие, армия и вооруженные силы всегда, в скрытой или явной форме, были предметом социологических научных исследований. В XIX–XX вв. война, массовые волнения, революции, боевые действия, мобилизации и связанная с этим жажда мира были частью жизни каждого человека. События и опыт, связанные с войной, не могли не стать предметом социологического анализа.

Сегодня военная социология по большей части имеет дело с гражданско-военными отношениями. Она изучает принятие политических решений об использовании вооруженных сил, отношения между государством и вооруженными силами, влияние на них общественного мнения и СМИ, репрезентацию населения страны в вооруженных силах, включая гендерные и национально-расовые аспекты, а также вызовы организационного характера (человеческие ресурсы и занятость), с которыми сегодня сталкиваются вооруженные силы. Этой отрасли социологии посвящено немалое количество научных работ. Важным источником для их обзора является докторская диссертация Б. Боэне о развитии военной социологии в США с начала прошлого века [Boëne, 1995]. Антология Д. Сигала и Дж. Бёрка дает ценный взгляд на положение дел в этой отрасли с 1940-х гг. до настоящего времени [Segal, Burk, 2012]. Узнать о сегодняшнем состоянии этой отрасли в Европе можно, обратившись к фундаментальной работе Г. Кюммеля и А. Прюферта [Küttel, Prüfert, 2000]. В «Руководстве по войне и обществу» С. Карлтона-Форда и М. Эндера представлено исследование общественного влияния на недавние войны в Ираке и Афганистане [Carlton-Ford, Ender, 2013]. «Руководство по социологии в вооруженных силах»

Дж. Кафорิโอ и М. Нусиари дает наиболее свежее и всеобъемлющее представление об успехах в этой сфере [Caforio, Nuciari, 2018]. Наконец, обзор развития российской военной социологии, которая часто выпадает из зарубежных обзоров литературы по теме, предоставлен И.В. Образцовым [Obraztsov, 2019].

С. Малешевич указывает, что многие «отцы-основатели» социологии видели в войне и насилии ключевые механизмы социальных изменений, хотя дальнейшие пацифистские интерпретации классики, возможно, исказили этот подход [Malešević, 2010a; 2010b]. Он даже говорит «о воинственной социологии», «социологии, кишасей мыслями о войне». В покоем ключе на «подавление войны» в социальной теории ссылаются Х. Йоас и В. Кнёбель, которые полагают, что войны зачастую являлись системообразующим элементом в генерации многих социальных теорий, будучи «информационным фоном идей», но не появляясь (или появляясь крайне редко) затем в самих теориях [Joas, Knöbl, 2013: viii].

Эти наблюдения стали толчком для написания данной статьи, цель которой – изучить связь трудов основателей социологии с сегодняшними вызовами, стоящими перед вооруженными силами. Вклад социологов касается вооруженных сил как в процессе их боевой подготовки, так и в моменты боевых действий при выполнении задач предотвращения, сдерживания и разрешения крупномасштабных вооруженных конфликтов.

Связь социологии с военными исследованиями. Военные организации специфичны. Это, как правило, – особый, обособленный тип организации. Их обычно не изучают в рамках общих организационных исследований. Присущая им функция использования вооруженного насилия обособляет их от остального организационного мира. Связь военных исследований как дисциплины больше прослеживается даже не с организационными исследованиями, а с другими научными отраслями (особенно с политологией, административными исследованиями, изучением международных отношений и теорий гражданско-военных отношений).

В свое время [Soeters, 2018] мы проанализировали вклад в развитие военных исследований знаменитых социологов-классиков – М. Вебера, Э. Дюркгейма, К. Маркса, Г. Зиммеля, Дж. Аддамса, У. Дюбуа – и более современных ученых – Э. Гоффмана, М. Фуко, М. Яновица, Н. Элиаса, К. Ламмерса, А. Рассел Хокшильд, С. Энло и Б. Латура. Из данного списка только Морриса Яновица можно считать собственно военным (и политическим) социологом, все остальные – ученые широкого профиля, но выдвинутые ими теории и наблюдения могут сыграть важную роль в социологическом изучении вооруженных сил. Теории и наработки этих авторов двигали военные исследования вперед. Они создавали то, что сыграло важную роль для понимания структуры, функционирования и эффективности сегодняшних вооруженных сил на всем земном шаре.

Их влияние было опосредовано и работами других ученых. Взгляды Маркса на социальное неравенство и элиты, например, стали особенно значимыми для изучения вооруженных сил благодаря работе Ч.Р. Миллса [Mills, 1956]. Позднее такие социологи, как Я. Леви [Levy, 2010], также стали рассматривать социальное неравенство и его связь с военными действиями и их последствиями. Теории Вебера о бюрократии были интерпретированы для военных исследований многими учеными; например, одним из них стал М. Эндер [Ender, 2009], продолживший работу Дж. Ритцера [Ritzer, 1998], который, в свою очередь, актуализировал М. Вебера. Наработки Дж. Аддамса о роли госслужбы в медиации конфликта были вдохновлены прагматичными идеями Дж. Дьюи, которые не так давно стали использоваться и непосредственно для анализа вооруженных сил [Shields, Soeters, 2017]. Теории о разнообразии в обществе, выдвинутые У. Дюбуа, были доработаны и применены к вооруженным силам Ч. Москосом и Дж. Батлером [Moskos, Butler, 1996]. М. Липски [Lipsky, 1980] помог использовать в военном деле исследования и подходы Э. Гоффмана. Работа К. Дандекера [Dandeker, 1990] выявила роль трудов М. Фуко и М. Вебера для анализа вызовов, стоящих сегодня перед силовыми структурами. Следуя по стопам работ А.Р. Хокшильд, Э. Бен-Ари [Ben-Ari, 1989] вынес на повестку вопрос об эмоциях в вооруженных силах. Многие американские социологи, включая Д. Сигала и Дж. Бёрка

[Segal, Burk, 2012], продолжают расширять вклад М. Яновица в военные исследования. И это лишь небольшая часть подобных примеров.

Установление связи военных исследований с классикой социологии дает бесчисленное множество идей, теорий и эмпирических исследований, которые могут показаться чрезмерными и даже дезориентирующими. Темы варьируются от военной бюрократии и военной музыки до связей в первичных группах, от вопросов сохранения мира, расовых и гендерных проблем, стилей работы до эмоций в вооруженных силах и взаимовлияния науки и техники. И это только малая часть.

Следует признать, что Европа, где социология зародилась, и США, где она получила свое развитие, продолжают занимать доминирующее положение в социологических исследованиях в целом и в военной социологии в частности, что связано с определенными издержками [Obraztsov, 2019]. Такое доминирование Севера и Запада проблематично серьезной культурной ангажированностью. Поэтому некоторые ученые говорят о необходимости развивать так называемые взаимосвязанные социологии (connected sociologies), в которых теоретические категории будут переосмыслены для «создания нового понимания, которое будет включать в себя и преобразовывать предыдущие» [Bhambra, Santos, 2017: 6]. Считается, что такой расширенный подход, уделяющий намного больше внимания событиям на «мировом Юге» и на Востоке, не просто добавит что-то к нашим знаниям, но и трансформирует их.

Принимая во внимание вышеизложенное и памятуя, что данная статья – лишь малый вклад в то, что должно стать всемирной военной социологией, вначале мы предлагаем вниманию читателей применение классических теорий к анализу и решению современных военных задач на примере трудов Г. Зиммеля. А затем рассмотрим обзор тем, которые красной нитью проходят через работы многих классиков социологии и могут использоваться для разрешения вызовов, стоящих сегодня перед вооруженными силами.

Практическое применение социологической теории: Г. Зиммель и вооруженные силы.

Зиммель (1858–1918) посвятил большую часть своей научной деятельности изучению конфликтов и динамики социальных отношений. Проводя исследования под «социологическим микроскопом», он предпринял первые попытки создать «формальную социологию», в которой обнаруживается сходство между разными социальными феноменами [Simmel, 1902; 1904; 1906; 1909]. Хотя он сам непосредственно военной социологией не занимался, именно его труды стали особенно значимы для современного изучения вооруженных сил.

Положение человека в группах. В первую очередь, важную роль для анализа военных организаций и их деятельности играет теория Зиммеля о положении человека в крупных структурах (группах, сетях). Он впервые эксплицитно указал на роль таких характеристик, как количество, положение, размер группы и принадлежность к группам, в понимании поведения человека [Simmel, 1902]. Зиммель подчеркивал, что частота и форма взаимоотношений оказывают серьезное воздействие на поведение, вне зависимости от личности человека и содержания взаимоотношений. Одно только количество людей, вовлеченных во взаимоотношения, является важным критерием разделения на группы как по горизонтали, так и по вертикали. Он также отмечал появившуюся в современной жизни принадлежность сразу к нескольким группам, которая является продуктом и сама приводит к космополитизму, дифференциации, индивидуализму, конфликту и конкуренции [Moss, Khurana, 2009; Simmel, 1902; 1955].

Принадлежность к нескольким группам важна для понимания серьезных проблем, имеющих отношение к сотрудничеству между военными службами, с национальными вооруженными силами или национальными акторами в конкретной стране при операциях за границей. В этой связи сложно переоценить важность для военных задач внутри страны и в миссиях за ее пределами трудов М. Грановеттера по «сильным» и «слабым» связям [Granovetter, 1973; 1983], а также Р. Бёрта по «структурным дырам» [Burt, 1995].

Действительно, в военных операциях силам, развернутым за границей, необходимо строить партнерство с национальными политическими силами той страны, в которой они

находятся, которые могли бы помочь иностранцам в достижении цели, задействуя свои локальные ресурсы, информацию и компетенции. Вопрос в том, как правильно выбрать «подходящие» национальные силы. Как правило, в непривычной среде силовики склонны искать партнерства с теми локальными представителями, которые: а) близки им по географическому положению, б) схожи с ними и в) взаимно хорошо относятся к ним [Bollen, Soeters, 2010: 178–180]. Такие процессы развиваются имплицитно и являются следствием «универсальных» социопсихологических динамик, возникающих между людьми. Западные силы склонны создавать партнерства с организациями с сопоставимой организационной культурой, сотрудники которых учились на Западе или, по крайней мере, владеют английским языком.

Из этого вытекают важные (хотя и не очевидные, на первый взгляд) последствия для военной практики. С. Чейс, гражданка США, проживавшая во время миссии ИСАФ¹ в афганском городе Кандагаре, описывала, как американским военным было необходимо найти локальных партнеров в зоне операций, которые могли бы оказать им содействие в строительстве и обеспечении безопасности, транспортной и логистической деятельности, в найме местных жителей для лингвистической поддержки. Долгое время американцы отдавали предпочтение только одному региональному политическому лидеру и его племени, сотрудничая с ним. По ее мнению, это было крупнейшей ошибкой американцев в их операции на той территории. В результате в регионе уже не было единых «правил игры» для всех, поскольку все время предпочтение отдавалось только одному политическому партнеру за счет всех других потенциальных партнеров (племен, политических движений). В этой связи Чейс делает заключение, что «большинству кандагарцев казалось, что основная задача войск США в Кандагаре – служить Гуль Аге Шерзаю [губернатору провинции Кандагар в 2001–2003 гг., тому региональному лидеру, которого американцы выбрали своим партнером. – Прим. авт.] и его племени баракзай» [Chayes, 2006: 182]. В результате кандагарцы, не принадлежащие к этому конкретному племени, стали испытывать негодование в отношении американских войск. К тому же вся важная информация находилась в руках одного партнера американцев, исключая остальных, которые все более склонялись к росту враждебности. В результате пошатнулась легитимность всей миссии в регионе [Bollen, Soeters, 2010: 180], что привело ситуацию в более плачевное состояние, чем до начала операции.

Конфликт. В отличие от многих более поздних социологов, Зиммель (как и Маркс) всегда подчеркивал важность изучения конкуренции и конфликта. И это неудивительно, поскольку оба ученых жили в конфликтных обществах. Такой подход делает их труды еще более значимыми для социологии вооруженных сил.

Зиммель начинает с того, что конфликт является обычным феноменом в обществе [Simmel, 1904; 1955]. У него есть положительные стороны, поскольку он служит интегрирующей силой в группе, вовлеченной в конфликт, крепко связывая членов одной группы. Поэтому правомерно мнение, что политические лидеры, сталкиваясь с антагонизмом в своей стране, часто начинают развивать конфликтные отношения с соседними странами именно по этой причине. И наоборот, единство группы часто теряется, когда исчезает оппонент. Например, протестантизм фрагментировался после того, как его оппонент, католическая церковь, потерял свои вес и власть [Simmel, 1955: 97–98].

Важно еще одно связанное с этим наблюдение: конфликт централизует группу и процесс принятия решений в ней. По этой причине «организация в армии – наиболее централизованная из всех существующих организаций... Армия – это организация, в которой безусловное верховенство центральной власти исключает любое независимое движение элементов» [Simmel, 1955: 89].

¹Международные силы содействия безопасности (International Security Assistance Force; ISAF) – возглавляемый НАТО международный войсковой контингент, включавший войска 50-ти стран, действовавший на территории Афганистана в 2001–2015 гг. – Прим. перевод.

Зиммель заметил, что переход от войны к миру представляет собой более серьезную проблему, чем движение в обратном направлении. Он стал тщательно изучать различные мотивы и процессы на стадии завершения конфликта. Затем он проанализировал прекращение конфликта и увидел несколько причин этого процесса, по которым он может подойти к концу [там же: 109]: это происходит, когда исчезает предмет конфликта, или когда обнаруживается, что весь процесс был иррациональным, или когда у одной из сторон иссякают силы, или когда одна из сторон побеждает, или когда конфликт урегулируется путем компромисса или примирения. Подытоживая, Зиммель говорит, что драма непримиримости после конфликта также подходит к концу.

Отдельно им рассмотрено возникновение альянсов из групп, вовлеченных в конфликт. Помимо того, что конфликт крепко связывает членов группы, он может притянуть в эту группу людей или другие группы, которые никогда не объединились бы в обычной ситуации [там же, 1955: 90]. Такие альянсы могут быть устойчивыми, но чаще они формируются под конкретную задачу, объединяя людей для одной общей, но временной акции (войны, конфликта). Группы становятся союзниками по ряду причин: в конфликте с другими – не до избирательности в отношении друзей; сам конфликт зачастую лежит за пределами непосредственных интересов союзников; возможная выгода от победы может быть быстрой и серьезной; какие-то определенные личные элементы часто отходят на второй план; союзники могут взаимно подстегивать друг в друге чувства враждебности к противнику [там же: 106–107].

В XX в. идеи Зиммеля считались «устаревшими», но они до сих пор полезны. В частности, американский социолог Р. Коллинз, специалист по социологии насилия, разработал модель динамики конфликта, включая процессы эскалации и деэскалации, очень схоже с тем, как это делал Зиммель, но в более аналитической и универсальной форме [Collins, 2011].

Не ссылаясь открыто на Зиммеля, американский социолог Ф. Христия провела серьезные исследования в Боснии и в Афганистане по вопросу формирования альянсов во время гражданской войны. Она обнаружила, что все группы стремятся к формированию межгрупповых военных альянсов для создания минимальной выигрышной коалиции, которая бы обеспечила им победу, но так, чтобы плоды этой победы нужно было бы разделить с наименьшим числом союзников. Такое формирование альянсов очень сильно зависит от восприятия того, как распределяется относительная власть. Они склонны быть неустойчивыми, поскольку воюющие группировки все время меняются и часто подвержены фракционированию. Поэтому существуют различные циклы смены и дробления альянсов в гражданских войнах. Согласно Ф. Христии, формирование альянсов не основывается на политике идентичности, хотя политики, журналисты, военные и ученые часто заявляют, что это важный фактор [Christia, 2012: 240]. Она пишет, например, что христиане-католики были в начале 1990-х гг. союзниками мусульман в войне в Боснии; аналогично мусульмане-сунниты могут быть заодно с мусульманами-шиитами сейчас, но воевать с ними потом. Альянсы в первую очередь связаны с властью и шансами на победу путем вступления в альянс с кем-то.

Эти выводы глубокой работы Ф. Христии во многом перекликаются с заключениями Зиммеля и очень важны для понимания сегодняшних военных действий, в которых противником зачастую не является какая-то одна неизменная сторона. Напротив, воюют друг с другом разнообразные, постоянно меняющиеся группы, которые могут вступить в союзнические отношения с кем угодно, даже с зарубежными военными силами, если только эти зарубежные военные не будут по невнимательности помогать одной группе за счет других в регионе (как мы видели ранее на примере Афганистана). Вооруженные силы могут успешно использовать эти выводы в своей тактике. Самое главное, чтобы военные знали об этих динамических изменениях, поскольку незнание может им дорого стоить.

«Чужой». Важную роль для социологии вооруженных сил играют также работы Г. Зиммеля о роли «чужого» [Levine, 1977]. «Чужой» – это человек, не являющийся частью сообщества, которое он посещает, и, следовательно, имеющий возможность наблюдать

за ним с некоторой независимостью. Он подвергает сомнению то, что кажется неоспоримым, потому что ему легче заметить несогласованность и неувязки в поведении, взаимодействиях и культуре внутри группы [Schuetz, 1944]. Классический пример «чужого» – это социолог, который в силу своего образования склонен рассматривать повседневную социальную жизнь дистанцированно [Dahrendorf, 1968: 93–94]. От того, какова природа пребывания «чужого» (кратковременное посещение или долговременное проживание; по приглашению или принимаемое неохотно), существенно зависит взаимодействие между принимающей стороной и «чужим» [Levine, 1977: 23].

Зиммель в своем анализе «чужого» подчеркивает его положительные моменты: «чужой» может передавать информационные сообщения между группами, сообществами или компаниями, которые никак не были бы связаны без него. Поскольку он вовлечен только частично, «чужой» может придерживаться иного, более отстраненного взгляда на происходящее вокруг, в результате чего ему легче, чем своим, спровоцировать социальные изменения и инновации. К тому же, «стоя одной ногой внутри, а другой снаружи», он зачастую может выступать в качестве доверенного лица или судьи между конфликтующими сторонами, поскольку не вовлечен в эмоции, царящие внутри сообщества или группы [Moss, Khurana, 2009: 295].

Социальный тип «чужого» во многом важен для вооруженных сил. Например, военные переводчики, действуя между местными партнерами миротворцев и иностранными войсками, обладают всеми характерными чертами «чужого». Следующий пример хорошо иллюстрирует, как много «чужие» могут сделать в военных операциях. Британский военный ученый Тео Фаррелл описал, как развивались британские операции в афганской провинции Гильменд [Farrell, 2010]. Он наблюдал, как разные сменяющие друг друга войска вступали в ожесточенные бои с талибами, следуя одному и тому же сценарию и прибегая все к той же боевой подготовке, корни которой уходят во времена Второй мировой войны. Британские позиции в регионе постепенно улучшались ввиду больших потерь, понесенных противником, но качественное улучшение оказалось связано с новообразованным «боевым подразделением 52». Эта резервная бригада была незадолго до описываемых событий пополнена личным составом, имеющим совершенно иной опыт, отличный от традиционных способов ведения боя. Ее командир ранее участвовал в двух миссиях, не связанных с боевыми действиями: одна была связана с реформированием иракской военной полиции, другая – с реорганизацией ливанской армии. В обеих миссиях он понял, как важно влиять на местных партнеров, принимая их интересы всерьез. По сути и этот командир, и другие вновь прибывшие военнослужащие в этом подразделении были «чужими» в вооруженных силах ввиду качественно иного опыта, который они приобрели за время своей работы со многими военными и невоенными группами и сообществами. И они смогли успешно применить этот опыт в Гильменде, оказавшись настоящими новаторами.

Существует много примеров того, как «чужие» появляются внутри и вокруг военных организаций. Особенно стоит отметить рассмотренную А. Шюцем ситуацию возвращающегося домой ветерана войны. Его статья была опубликована в 1945 г., когда вот-вот должны были демобилизовать большое количество американских солдат вследствие завершения Второй мировой войны. Анализируя положение ветеранов, Шюц сначала подчеркивает, как все упорядочено и структурировано в армии, какое положение и ощущение дает солдатам военная форма, когда они служат. Когда же ветеран возвращается домой, то, скорее всего, в первую очередь он столкнется с тем, что на «гражданке» все дезорганизовано и неупорядоченно. К тому же без военной формы ветеран теряет очевидный статус кого-то особенного. Вся ситуация кажется «странной». Поэтому к встрече и взаимному привыканию должны готовиться не только ветераны, но и встречающее их общество. Ветерану снова придется учиться понимать гражданское общество, а обществу нужно будет понять, что «человек, которого они так ждут, будет другой, не такой, каким они его себе представляют» [Schuetz, 1945: 376]. Этот урок и сегодня продолжает оставаться таким же важным и актуальным, как 70 с лишним лет назад.

Наследие Зиммеля в социологии трудно переоценить. Однако есть еще одно замечание. Как и Вебер, и Дюркгейм, на закате своей жизни Зиммель стал свидетелем начала разразившейся Первой мировой войны. Он так оптимистично и апологетично писал свои эссе и выступал по поводу этих событий, говоря об «августовском переживании» и выражая поддержку позиции кайзеровской Германии, что понять и принять это сегодня кажется невозможным [Joas, Knöbl, 2013: 134–137; 153]. Но Зиммель лишь принял позицию в отношении этих событий, аналогичную позиции М. Вебера и других немецких ученых. Это демонстрирует, что взгляды знаменитых социологов, какими бы профессионалами они ни были с аналитической точки зрения, зависят от времени и условий. Большая часть их взглядов остается полезной и важной, однако другую их часть вряд ли можно назвать таковой [Cotesta, 2017].

Связь классики социологии с современными военными исследованиями: темы и перспективы. Пример Зиммеля показывает, что наработки социологов-классиков можно и сегодня использовать при социологическом анализе деятельности вооруженных сил. Основатели социологии каждый по-своему внесли вклад в наши сегодняшние знания о вооруженных силах в социальном контексте [Soeters, 2018]. Даже если они не изучали непосредственно вооруженные силы, их теоретические и эмпирические наработки могут плодотворно применяться в военной среде.

Категории научного вклада. Понять охват и разнообразие научного вклада основателей социологии можно, осознавая, что авторы рассуждают на разных уровнях социологического анализа. Не стремясь к чрезмерному упрощению, можно разбить значимость классической социологии для военного дела на следующие категории:

- *макроуровень* – уровень вооруженных сил в контексте общества в целом и национальных порядков;

- *мезоуровень* – уровень организаций (правительственных, гражданского общества и рыночных структур) и институций (законов, традиций и обычаев);

- *микроуровень* – уровень поведения отдельных людей и взаимодействия между ними.

Это очень приблизительные категории, и их ни в коем случае не стоит рассматривать как статические или независимые друг от друга. Люди строят свою жизнь на микроуровне, но испытывают влияние возможностей и ограничений, образующихся на мезо- и макроуровнях [Giddens, Sutton, 2013]. В то же время на микроуровне люди участвуют в создании этих возможностей и ограничений мезо- и макроуровней. У них есть право голоса в демократических выборах, есть слово в организациях, они вовлечены в формирование рабочих обычаев этих организаций и, помимо этого, они могут влиять на гражданское общество как волонтеры и активные граждане. Однако пространство для маневра может быть меньше у одних и больше у других. Поведение человека всегда контекстуально обусловлено. Это относится к человеческому поведению и к социальной жизни в целом, но также и к человеческому поведению и к социальной жизни в военной сфере.

В приведенной ниже таблице представлены основные идеи основателей социологии на этих трех уровнях (табл.). Важно не просто перечислить темы, а добавить некоторые ключевые тенденции, вытекающие из предыдущей дискуссии об актуальности трудов основателей социологии для современных военно-социологических исследований.

Социология военных операций. Война, насилие и поведение военнослужащих – социальные феномены по своей сути, «социальные факты». Нет ничего «несоциологического» в том, чтобы выстрелить, взорвать здание или запустить беспилотник. Боевое действие – это действие человека, и оно всегда затрагивает других людей, влияет на их действия и реакции, их чаяния и переживания.

Это означает, что социологам не следует отказываться от изучения динамики военных операций, их непосредственного воздействия и более позднего резонанса. Некоторые авторы-классики конкретно высказывались о насилии и войне [Grutzpalk, 2002]. Они изучали поведение военнослужащих на поле боя, пусть, в большинстве своем, и в безопасном окружении своих библиотек или кабинетов. Обязательно нужно продолжать

Таблица

Вклад основателей социологии в развитие военного дела на макро-, мезо- и микроуровнях

Уровни	Проблемы	Социологи
Макроуровень: общество и взаимодействие обществ	Насилие и конфликт: содержание и динамика; появление противника	Элиас/Зиммель
	Спад насилия	Элиас
	Неравенство в экономике, обществе и вооруженных силах	Маркс
	Раса и гендер	Дюбуа/Энло/Аддамс
	Суицид (насилие, направленное против собственной жизни и здоровья)	Дюркгейм
	Значимость компаративных исследований	Дюркгейм
	Медиация; разрешение конфликта и социальное развитие	Аддамс
	Международная организованность и надзор	Фуко
Мезоуровень: организация и институция	Наука и техника	Латур
	Бюрократия: содержание и развитие, профессионализация, лидерство	Вебер
	«Тотальная институция»	Гоффман
	Сети и положения; альянсы; аутсорсинг (частные военные компании)	Зиммель
	Военные силовые элиты; военные перевороты; товаризация	Маркс
	Состав и эффективность рабочей силы	Дюбуа/Аддамс/Энло/Яновиц
	Надзор и контроль	Фуко
	Гражданско-военные и политические отношения	Яновиц
Микроуровень: взаимодействие между людьми	Технологические инновации и политика	Латур
	Связи в первичных группах	Дюркгейм
	Общение с противником и с «чужим»; доверие; «чужие» внутри и снаружи вооруженных сил	Зиммель
	Операционный стиль прагматика	Аддамс/Яновиц
	Разнообразие на первичном уровне	Дюбуа/Аддамс/Энло
	Социализация новобранцев	Гоффман
	Сдержанное поведение в бою	Элиас
	Эмоции на работе и после нее	Хокшильд

и усиливать такое изучение поведения военнослужащих в действии, возможно, сокращая при этом расстояние до места действия по сравнению с тем, как это было принято у социологов-основателей.

Военная социология сегодня в основном изучает гражданско-военные и военно-политические отношения, включая роль средств массовой информации, а также военное управление и проблему человеческих ресурсов [Soeters, 2018]. Предметами изучения в рамках последнего становятся лидерство, набор и удержание личного состава, влияние образования и подготовки, роль условий развертывания, стресс, благополучие семей военных. Это – важные феномены. Однако они составляют лишь внешний слой, а не ядро военной организации и поведения военнослужащих.

Сегодня военная социология нечасто изучает боевые действия непосредственно. Ученые-теоретики, похоже, не особенно заинтересованы в изучении боевых действий в горячих точках, когда военные убивают или убивают их. Эти события отдаются на откуп военным экспертам и журналистам, либо, в ретроспективе, историкам. Впрочем, есть и

исключения: например, М. Эндер [Ender, 2009], Д. Рестень [Resteigne, 2012] и Ч. Рuffed [Ruffa, 2014] провели полевые исследования среди военнослужащих в бою, хотя и не в центре боевых действий, изучая больше самих военнослужащих, чем их влияние на регион операции. Между тем существует насущная необходимость изучать влияние боевых действий на население страны конфликта – на то, как оно и разные его группы справляются с окружающими событиями и реагируют на них. Интересно отметить, что ученые-женщины, социологи и политологи – такие как Ф. Олонисакин [Olonisakin, 2000], Б. Пулиньи [Pouligny, 2006], Ф. Христия [Christia, 2012], С. Отессер [Autessere, 2014] и многие другие – берут инициативу в свои руки. Они лично едут в районы боевых действий, живут (зачастую с риском для жизни) среди граждан тех стран, где разворачиваются конфликты. Тем самым они прокладывают путь к эмпирической социологии и антропологии военных операций – путь, до недавнего времени почти не исследованный.

Действительно, если серьезно относиться к тому, что писали основоположники, социологам нужно вернуть боевые действия в круг своих интересов. И тогда следующим шагом должно стать их изучение непосредственно в районах проведения военных операций.

Изучение взаимопроникновения военных убеждений. Нужно продолжать изучать военные идеи, идеологии и традиции. Для начала надо понимать, что нет объективной истины в процессе принятия военных решений или в поведении военных. Как известно из социологии знания, «реальности» и то, как мы их понимаем, «социально сконструированы» [Berger, Luckman, 1984]. Поэтому нелегко определить, например, идеальный способ проведения военных операций: определение идеала зависит от целей и приоритетов, которые перед собой ставит человек, ценностей и убеждений, в которые он верит, и причинно-следственных связей, которые он проводит. Скорее всего, существуют национальные «шаблоны» таких целей, ценностей и убеждений. Похоже, что, к примеру, англосаксонский шаблон ценностей и убеждений, относящихся к военному делу и вооруженным силам, отличается от их современной континентальной западноевропейской конфигурации. А африканский стиль проведения военных операций отличается от англосаксонского и западноевропейского или русского и китайского, которые также отнюдь не схожи.

Из социологии организаций известно, что организации одного сектора склонны становиться похожими друг на друга, несмотря на разделяющие их государственные границы и континенты. Этот процесс называется изоморфизмом – тенденцией к развитию схожих форм. Возникает вопрос, которым следует озадачиться социологам-теоретикам: как развиваются эти процессы и в каком направлении они пойдут? В последние десятилетия англосаксонский (особенно американский) стиль военного поведения доминирующим образом задавал направление движения всем остальным. Это связано с технологическим, экономическим и культурным доминированием США и стран НАТО. Мы видели, что происходило после распада Советского Союза, когда национальные вооруженные силы стран Центральной и Восточной Европы (Польша и Болгарии, например) перешли под эгиду НАТО. Подобную ассимиляцию можно наблюдать и во время операций в Афганистане. Концепция «правительственности» Мишеля Фуко помогает увидеть, как начинаются такие процессы.

Тем не менее такое влияние не обязательно должно продолжаться и в будущем. Баланс, убеждения и приоритеты могут очень быстро меняться. Доминирование военного стиля определяется его способностью достигать целей, эффективностью и общим успехом как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. Это влияет и на процессы обучения и адаптации в вооруженных силах страны, а также может привести к изменениям взаимного влияния между вооруженными силами разных стран. Как только ученые, практики военных исследований и политики увидят в разных военных операциях источник вариативности и выбора и станут изучать их с этой точки зрения, начнется дискуссия о том, в каком направлении лучше двигаться дальше.

Важны изменения и в стратегических приоритетах. Наглядным примером может стать усиление военного сотрудничества между вооруженными силами стран Европейского

союза, которое должно произойти в ближайшем будущем. Этот процесс ускоряется нежеланием США продолжать брать на себя всю ответственность в этом регионе, а также растущими угрозами в ближайшем окружении Европы. Изучить эту тему будет особенно интересно.

Как уже говорилось выше, важно расширить область военных исследований, включив в нее реалии Юга и Востока с целью создания «взаимосвязанных социологий вооруженных сил». Вполне может оказаться, что вооруженные силы, которые, как сейчас считается, играют менее важную роль, на самом деле могут внести весомый вклад в предотвращение, сдерживание и разрешение военных конфликтов в разных частях мира. Тогда военная социология сможет выйти за границы сфер изучения авторов-основателей, которые в основном анализировали лишь Европу и Америку.

Методы настоящего сопряжения. Следуя за основоположниками социологии и расширяя горизонты их взглядов, стоит подчеркнуть необходимость эмпирики в военных исследованиях. Во-первых, следует серьезно отнестись к урокам Дюркгейма и других классиков о важности сопоставительного анализа. Только сопоставляя и сравнивая, можно понять, какие динамики наиболее благоприятны для предотвращения, сдерживания и разрешения насущного конфликта. Несомненно, не стоит исключать и собственные взгляды исследователей, но нужно помнить, что компаративные исследовательские подходы дают определенные мерилы и критерии более важные, чем личное мнение.

Во-вторых, важно связывать разные уровни действия и анализа [Autessere, 2014]. Военные миссии всегда реализуются на разных уровнях, которые обязательно нужно изучать в комплексе. Необходимо как можно скорее сократить пропасть между теорией и практикой, чтобы появилась возможность проводить настоящие полевые исследования на местах военных действий.

В-третьих, в социологических исследованиях можно выделить два методологических направления – качественное и количественное. В большинстве случаев ученые-социологи выбирают одно из них. Однако некоторые отцы-основатели сочетали в своей работе оба подхода. Например, успешно делали это Э. Дюркгейм, У. Дюбуа и М. Яновиц. Данную традицию стоит продолжать.

Понимание и сдержанность; укрощение процесса «овраживания». Как уже отмечалось, ни в социальной жизни, ни в военных вопросах нет объективных и всеобъемлющих истин. «Социальные реальности», включая «военные реальности», всегда «социально сконструированы» [Berger, Luckman, 1984]. Это проявляется в том, как мы воспринимаем предметы и явления, что думаем о них. Человек делает это как часть коллектива, строит «сообщества восприятия и мысли», в которых он когнитивно социализируется [Zerubavel, 1997: 9, 15]. Такими коллективами могут быть политические партии, национальные вооруженные силы, региональные и религиозные сообщества или профессиональные ассоциации. По словам Э. Зерубавеля, «мы усваиваем элементы окружения, используя разные нормы наведения резкости <...>, общество контролирует, какие мысли даже просто “приходят нам в голову”» [Zerubavel, 1997: 51]. Это означает, что мы не верим тому, что видим. Наоборот, мы видим то, во что верим. Такой социально-когнитивный механизм только усиливается сегодняшними интернет-технологиями (алгоритмами, которые дают новые данные, совпадающие с тем, что нам нравилось ранее или на что мы обращали внимание).

Этот механизм играет огромную роль в международных отношениях и военных вопросах. Человек не может выступать против другого человека и бороться с ним, не прибегая к тому, чтобы, прежде всего, его обвинить, обесчеловечить, сделать козлом отпущения, т.е. «овражить», при этом удостоверяться, что соратники поддерживают эти обвинения и голословные заявления [Soeters, 2005]. Есть только один способ предотвращения этих процессов: нужно проявить сдержанность и попытаться понять, по-настоящему понять, почему другие люди делают то, что делают, даже если их поведение, на первый взгляд, кажется плохим. Нужно не увлекаться соперничеством, не желать любой ценой быть лучшим или доминировать над остальными, не жаждать ощущения собственного

превосходства и не хотеть «ухватить большую часть пирога». Сдержанность, контроль над эмоциями, страстями и порывами, контроль над собой, а не над окружающими, может помочь совершить такой поворот [Elster, 2000; Sorokin, 1954].

Вместо заключения: к военной социологии с более «широкой душой». Основатели социологии учили нас не ограничиваться тем, что и так делают военные эксперты, – постановкой вопросов о близких связях целей и средств. В социологии это называется функциональной рациональностью. Примером такой рациональности может быть изучение того, как лучше всего, например, разбомбить мост – с наименьшими затратами топлива, боеприпасов, с максимальной безопасностью для самолета. А постановка и изучение вопроса, как разрушение этого моста с возможным сопутствующим ущербом может помочь завершить боевые действия, уже относится к сфере субстанциальной рациональности. Здесь связи целей и средств – намного более далекие и сложные.

Социологи-основоположники К. Маркс, Г. Зиммель, У. Дюбуа, М. Яновиц, А. Рассел Хокшильд и С. Энло без устали повторяли, насколько важно обращать внимание на более широкие вопросы, даже если другие это не всегда поймут или оценят. Действительно, то, что казалось противоречивым вчера, вполне может стать общеизвестной истиной сегодня [Levy, Reinecke, Manning, 2016]. То, что было предметом субстанциальной рациональности в прошлом, становится сейчас предметом функциональной рациональности. Все меняется и меняется быстро.

В этом контексте П. Адлер и Дж. Джермиер говорили, что управленческие исследования должны больше внимания уделять эксплуатируемым группам (таким как работники более низкого звена и необеспеченные слои населения), а также жестокому обращению с естественной окружающей средой [Adler, Jermier, 2005]. Они выступали за науку с более «широкой душой». Аналогично можно выступить за развитие военной социологии с более «широкой душой», уделяющей особое внимание странам, переживающим период военного присутствия и боевых действий иностранных вооруженных сил, но также солдатам и ветеранам, которые несут бремя своих действий. Такая военная социология должна обеспечить то, что, несмотря на чистое выполнение военных задач (успешно проведенные операции без урона собственным подразделениям и без издержек), исходная законность этих задач и военного присутствия как такового все равно будет подвергаться не менее детальному рассмотрению [Ben-Ari, 1989: 383]. Она также должна не допустить того, чтобы терялся из вида возможный ущерб от военного присутствия и боевых действий [Masuch, 1991]. Такая военная социология должна способствовать повышению эффективности вооруженных сил.

Для достижения этой цели можно обратиться к старой идее «социологического воображения» [Mills, 1959], которая предполагает постановку базовых вопросов по ситуации и представления, как можно было бы поступить иначе. Она также предполагает непринятие утверждения, будто «не было другого выхода». Она выдвигает аргументы против тенденции свести все альтернативы к одному предлагаемому решению. Она говорит о тщательнейшем изучении «военного определения реальной обстановки в мире», как однажды сказал Ч.П. Миллз [Mills, 2000: 202]. На самом деле она предполагает критическое изучение любого определения реальной обстановки в современном мире.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ [REFERENCES]

- Adler P.S., Jermier J. (2005) Developing a Field with More Soul: Standpoint Theory and Public Policy Research for Management Scholars. *Academy of Management Journal*. Vol. 48. No. 6: 941–944. DOI: 10.5465/AMJ.2005.19573091.
- Autessere S. (2014) Going Micro: Emerging and Future Peacekeeping Research. *International Peacekeeping*. Vol. 21. No. 4: 492–500. DOI: 10.1080/13533312.2014.950884.
- Ben-Ari E. (1989) Masks and Soldiering: The Israeli Army and the Palestinian Uprising. *Current Anthropology*. Vol. 4. No. 4: 372–389.

- Berger P., Luckman Th. (1984) *The Social Construction of Reality. A Treatise in the Sociology of Knowledge*. Harmondsworth: Penguin.
- Bhambra G.K., Santos B.S. (2017) Introduction: Global Challenges for Sociology. *Sociology*. Vol. 51. No. 1: 3–10. DOI: 10.1177/0038038516674665.
- Boëne B. (1995) *Conditions d'émergence et de développement d'une sociologie spécialisée: le cas de la sociologie militaire aux Etats-Unis* [Conditions for the Emergence and Development of a Specialized Sociology: the Case of Military Sociology in the United States]. Ph.D. thesis. Paris: University of Paris V René Descartes.
- Bollen M., Soeters J. (2010) Partnering with 'Strangers'. In: Soeters J., Fenema P.C., Beeres R. (eds) *Managing Military Organizations. Theory and Practice*. London; New York: Routledge: 174–186.
- Burt R.S. (1995) The Social Structure of Competition. In: Nohria N., Eccles R.G. (eds) *Networks and Organizations: Structure, Form and Action*. Boston: Harvard Univ. Press: 57–91.
- Caforio G. (2003) Some Historical Notes. In: Caforio G. (ed.) *Handbook of the Sociology of the Military*. New York: Kluwer Academic/Plenum Publishers: 7–26.
- Caforio G., Nuciari M. (eds) (2018) *Handbook of the Sociology of the Military*. Cham: Springer.
- Carlton-Ford St., Ender M. (2013) *The Routledge Handbook of War and Society: Iraq and Afghanistan*. London; New York: Routledge.
- Chayes S. (2006) *The Punishment of Virtue. Inside Afghanistan after the Taliban*. London: Penguin Books.
- Christia F. (2012) *Alliance Formation in Civil Wars*. Cambridge: Cambridge Univ. Press.
- Collins R. (2011) C-escalation and D-escalation: a Theory of the Time-dynamics of Conflict. *American Sociological Review*. Vol. 77. No. 1: 1–20. DOI: 10.1177/0003122411428221.
- Coser L. (1963) Peaceful Settlements and the Dysfunctions of Secrecy. *Journal of Conflict Resolution*. Vol. 7. No. 3: 246–253.
- Cotesta V. (2017) Classical Sociology and the First World War: Weber, Durkheim, Simmel and Scheler in the Trenches. *History*. Vol. 102. No. 351: 432–449. DOI: 10.1111/1468-229X.12456.
- Dahrendorf R. (1968) *Pfade aus Utopia. Arbeiten zur Theorie und Methode der Soziologie* (Gesammelte Abhandlungen 1) [Out of Utopia: Essays on Theory and Method of Sociology (Collected Works 1)]. München: Piper & Co Verlag.
- Dandeker Chr. (1990) *Surveillance, Power and Modernity: Bureaucracy and Discipline from 1700 to the Present Day*. Cambridge: Polity Press.
- Elster J. (2000) *Ulysses Unbound. Studies in Rationality, Precommitment, and Constraints*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Ender M.G. (2009) *American Soldiers in Iraq. McSoldiers or Innovative Professionals?* London; New York: Routledge.
- Farrell Th. (2010) Improving in War: Military Adaptation and the British in Helmand Province, Afghanistan 2006–2009. *Journal of Strategic Studies*. Vol. 33. No. 4: 567–594. DOI: 10.1057/ipr.2013.19.
- Giddens A., Sutton Ph.W. (2013) *Sociology*. 7th ed. Cambridge: Polity Press.
- Granovetter M. (1973) The Strength of Weak Ties. *American Journal of Sociology*. Vol. 78. No. 6: 1360–1380.
- Granovetter M. (1983) The Strength of Weak Ties: A Network Theory Revisited. *Sociological Theory*. Vol. 1. Iss. X: 201–233. DOI: 10.2307/202051.
- Grutzpalk J. (2002) Blood Feud and Modernity: Max Weber's and Emile Durkheim's Theories. *Journal of Classical Sociology*. Vol. 2. No. 2: 115–134. DOI: 10.1177/1468795X02002002854.
- Joas H., Knöbl W. (2013) *War in Social Thought: Hobbes to the Present*. Princeton, NJ; Oxford: Princeton Univ. Press.
- Kümmel G., Prüfert A. (2000) (eds) *Military Sociology: The Richness of a Discipline*. Baden-Baden: Nomos Verlagsgesellschaft.
- Levine D.N. (1977) Simmel at a Distance: On the History and Systematics of the Sociology of the Stranger. *Sociological Focus*. Vol. 10. No. 1: 15–29.
- Levy D., Reinecke J., Manning S. (2016) The Political Dynamics of Sustainable Coffee: Contested Value Regimes and the Transformation of Sustainability. *Journal of Management Studies*. Vol. 53. No. 3: 364–401. DOI: 10.1111/joms.12144.
- Levy Y. (2010) The Hierarchy of Military Death. *Citizenship Studies*. Vol. 14. No. 4: 345–361. DOI: 10.1080/13621025.2010.490030.
- Lipksy M. (2010) *Street-level Bureaucracy: Dilemmas of the Individual in Public Services*. New York: Russel Sage Foundation.
- Lowry R.P. (1972) Toward a Sociology of Secrecy and Security Systems. *Social Problems*. Vol. 19. No. 4: 437–450.
- Malešević S. (2010b) How Pacifist were the Founding Fathers? War and Violence in Classical Sociology. *European Journal of Social Theory*. Vol. 13. No. 2: 193–212. DOI: 10.1017/S0003975611000257.
- Malešević S. (2010a) *The Sociology of War and Violence*. Cambridge: Cambridge Univ. Press.

- Mannheim K. (1940) *Man and Society in an Age of Reconstruction*. London: Routledge; Kegan Paul.
- Masuch M. (1991) The Determinants of Organizational Harm. In: Bacharach S.B. (ed.) *Research in the Sociology of Organizations*. Vol. 9. US: JAI Press Inc.: 79–102.
- Mills Ch.W. (1959) *The Sociological Imagination*. New York: Oxford Univ. Press.
- Mills Ch.W. (2000) *The Power Elite*. New ed. Oxford; New York: Oxford Univ. Press.
- Moskos Ch., Butler J.S. (1996) *All that We Can Be: Black Leadership and Racial Integration the Army Way*. New York: Basic Books.
- Moss K.R., Khurana R. (2009) Types and Positions: The Significance of Georg Simmel's Theories for Organizational Behavior. In: Adler P.S. (ed.) *The Oxford Handbook of Sociology and Organization Studies: Classical Foundations*. Oxford: Oxford Univ. Press: 291–306.
- Obraztsov I. V. (2019) The Institutionalization of Military Sociology: the Russian Path of Gains and Losses. *Journal of Political and Military Sociology*. Vol. 46. No. 1: 124–163. DOI: 10.5744/jpms.2019.1005.
- Olonisakin F. (2000) *Reinventing Peacekeeping in Africa: Conceptual and Legal Issues in ECOMOG Operations*. The Hague; Boston: Kluwer Law International.
- Poulligny B. (2006) *Peace Operations Seen from Below. UN Missions and Local People*. Bloomfield, CT: Kumarian Press.
- Resteigne D. (2012) *Le Militaire en Opérations Multinationales. Regards Croisés en Afghanistan, en Bosnie, au Liban* [The Military in Multinational Operations: Counter-Gazes in Afghanistan, Bosnia, Lebanon]. Bruxelles: Bruylant.
- Ritzer G. (1998) *The McDonaldisation Thesis: Explorations and Extensions*. London: Sage.
- Ruffa Ch. (2014) What Peacekeepers Think and Do: An Exploratory Study of French, Ghanaian, Italian and South Korean Armies in the United Nations Interim Force in Lebanon. *Armed Forces and Society*. Vol. 40. No. 2: 199–225. DOI:10.1177/0095327X12468856.
- Schuetz A. (1945) The Homecomer. *American Journal of Sociology*. Vol. 50. No. 5: 369–376.
- Schuetz A. (1944) The Stranger: An Essay in Social Psychology. *American Journal of Sociology*. Vol. 49. No. 6: 499–507.
- Segal D., Burk J. (eds) (2012) *Military Sociology*. 4 vols. Thousand Oaks, CA: Sage.
- Shields P., Soeters J. (2017) Peaceweaving: Jane Addams, Positive Peace, and Public Administration. *American Journal of Public Administration*. Vol. 47. No. 3: 323–339. DOI: 10.1177/0275074015589629.
- Simmel G. (1955) *Conflict & the Web of Group-Affiliations*. New York etc.: Free Press.
- Simmel G. (1902) The Number of Members as Determining the Sociological form of the Group. *American Journal of Sociology*. Vol. 8. No. 1: 1–46.
- Simmel G. (1909) The Problem of Sociology. *American Journal of Sociology*. Vol. 15. No. 3: 289–320.
- Simmel G. (1904) The Sociology of Conflict. I. *American Journal of Sociology*. Vol. 9. No. 4: 490–525.
- Simmel G. (1906) The Sociology of Secrecy and Secret Societies. *American Journal of Sociology*. Vol. 11. No. 4: 441–498.
- Soeters J. (2005) *Ethnic Conflict and Terrorism. The Origins and Dynamics of Civil Wars*. London; New York: Routledge.
- Soeters J. (2018) *Sociology and Military Studies. Classical and Current Foundations*. New York; London: Routledge.
- Sorokin P.A. (1954) *The Ways and Power of Love*. Boston: Beacon Press.
- Zerubavel E. (1997) *Social Mindscales. An Invitation to Cognitive Sociology*. Cambridge, MA; London: Harvard Univ. Press.

Перевод с англ. В.В. БЕЛОУСОВОЙ

Статья поступила: 20.11.20. Принята к публикации: 30.12.20.

SOCIOLOGY AND MILITARY STUDIES: BROADENING THE PERSPECTIVE BY USING THE CLASSICS

SOETERS J.

Tilburg University, Netherlands Defence Academy, Netherlands

Joseph SOETERS, Emeritus Prof. in sociology and organization studies, Tilburg University; Defence Academy, Netherlands (jmml.soeters@gmail.com).

Abstract. It has often been overlooked that sociology was founded in times and societies where war and the military were common affairs. Therefore it is not surprising that sociology has a lot to say about these impactful phenomena. This, however, has not always been acknowledged in the history of this discipline, even though military sociology as a subdiscipline has matured since WWII. This article points at the possibility of presenting an overview of classical sociology's significance for the study of the armed forces, especially in questions that are of a substantive rational nature. The case of Georg Simmel is presented as an example; it appears that the sociological study of the armed forces and their actions can profit from the insights of this sociologist with respect to: positions and numbers in networks; conflict dynamics; secrecy and trust; and the position of the stranger. At the end, the article advocates the development of a sociology that studies the more operational side of the armed forces, taking the interests of all people who are involved in conflicts into account.

Keywords: sociology, armed forces, founding parents, substantive rationality, Georg Simmel, military operations, military beliefs, "hostilization".

Transl. by V.V. BELOUSOVA

Received: 20.11.20. Accepted: 30.12.20.

ВОСПРОИЗВОДСТВО СОЦИАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ В СИСТЕМЕ ВОЕННОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КАРЛОВА Екатерина Николаевна – кандидат социологических наук, старший научный сотрудник Военно-воздушной академии имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина, Воронеж, Россия (ekaterina-n-karlova@yandex.ru).

Аннотация. Предпринимается попытка проанализировать направления модернизации военного профессионального образования – социального института воспроизводства социальной структуры Вооруженных сил РФ – в представлении военного истеблишмента. Приведены результаты контент-анализа интервью должностных лиц Министерства обороны РФ 2009–2020 гг., посвященных проблемам военного профессионального образования в России. По мнению военных экспертов, военное образование призвано воспроизводить традиционную социальную структуру вооруженных сил, развивая в курсантах командирские и морально-психологические качества, недоступные гражданским специалистам. Гражданские вузы воспринимаются экспертами лишь как резервный источник подготовки военных кадров в кризисные периоды. Социальный запрос на интеграцию женщин в военную профессию не находит отклика в военном ведомстве, эксперты чаще всего поддерживают гендерную сегрегацию в армии. Попытки укрепления профессионального статуса сержантов, прапорщиков и мичманов путем получения ими среднего профессионального образования скорее способствуют маргинализации данной категории военнослужащих.

Ключевые слова: военная социология • социальная структура вооруженных сил • военное профессиональное образование • гражданско-военные отношения

DOI: 10.31857/S013216250011053-1

Проблема изменения социальной структуры современной армии. С середины XX в. содержание военной профессии и внутренняя социальная структура вооруженных сил претерпевали трансформации, связанные с интенсивным научно-техническим развитием военного дела, расширением спектра сил и средств ведения вооруженной борьбы и демократизацией общества. Классическое содержание военной профессии, сформулированное С. Хантингтоном как организация, оснащение и обучение военной силы, планирование ее деятельности, руководство ее действиями в бою и вне его [Huntington, 1957: 7–18], с учетом научно-технического развития военного дела дополняется М. Яновичем инженерными компетенциями. Эталонным образом военного продолжает оставаться командир, патриот, непосредственный организатор и участник военных миссий, однако в социальной структуре армии увеличивается количество инженеров в погонах и гражданских специалистов [Janowitz, 1959: 30–33]. В начале 1990-х гг. на Западе фиксируется окончательный переход на контрактную систему комплектования, сокращение воинского контингента и «огражданение» отдельных категорий военнослужащих, чьи навыки легко доступны на гражданском рынке труда [Heineken, 2008].

Глубокое разделение воинского труда и сближение с гражданскими структурами при сохранении специфических военных компетенций отмечается и отечественными военными социологами [Бондаренко, 2002; Смелик, 2000]. В этих условиях повышается роль гражданских вузов и научно-педагогических кадров в подготовке специалистов для Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ) [Чукин, 2018; Лурье, 2014]. В настоящее время взаимодействие армии с ведущими гражданскими образовательными организациями

осуществляется в форме подготовки ими военных кадров по наукоемким инженерным специальностям и обмена педагогическим опытом.

С ростом технической оснащенности армий, делающей воинский труд все менее связанным с физическими возможностями человека, расширяется представленность женщин в вооруженных силах различных стран [Гербач, 2018; Woodruff, Keltly, 2017; Smith, Rosenstein, 2016]. Интеграция женщин в военную профессию, наряду с представленностью в армии различных слоев общества по признакам социально-экономического класса, политической принадлежности, географического региона, сексуальной ориентации, расы, возраста, языка и т.д., выступает важным индикатором демократизации общества, что способствует укреплению взаимопонимания армии и общества [Heinecken, 2006].

К тенденциям изменения социальной структуры вооруженных сил относится также профессионализация унтер-офицерского состава [Caforio, 2006], чья деятельность в высокотехнологичной армии требует продолжительной специальной подготовки. В ходе реформы министра обороны А.Э. Сердюкова в 2008–2012 гг. в ВС РФ была предпринята попытка создать новую категорию «профессиональных сержантов», которые должны были заменить офицеров, мичманов и прапорщиков на должностях младших командиров и техников [Леонцев, 2011; Капустин, 2017].

Одной из задач военной реформы 2008–2012 гг. было также приведение военного профессионального образования (далее ВПО) в соответствие с новой структурой и задачами ВС РФ. Однако в настоящее время почти нет комплексных исследований ВПО как социального института воспроизводства социальной структуры ВС РФ в новых социально-политических и экономических реалиях. Как изменился кадровый заказ военного ведомства на подготовку специалистов с учетом сближения содержания труда военных и гражданских специалистов, гендерной интеграции и профессионализации сержантов и прапорщиков? В какой форме эти тенденции проявляют себя, и насколько они принимаются или отвергаются военным истеблишментом? В данной статье предпринимается попытка ответа на эти вопросы – определения направлений модернизации ВПО как социального института воспроизводства социальной структуры ВС РФ сквозь призму представлений специалистов Министерства обороны РФ.

Данные и метод исследования. Эмпирическую базу исследования составили результаты контент-анализа интервью с должностными лицами Министерства обороны РФ в авторской передаче А. Ермолина «Военный совет» на радиостанции «Эхо Москвы» как альтернатива опросу экспертов в условиях ограниченной доступности высокостатусных респондентов. Эта передача стартовала в 2009 г. в период активизации информационной политики МО РФ, призванной обеспечить общественную поддержку военных реформ. Гостями передачи были главы департаментов, служб и управлений Министерства обороны (далее – МО) РФ, главнокомандующие видами ВС РФ, командующие войсками, начальники военных образовательных организаций, командиры крупных воинских соединений и объединений. К рамочным ограничениям этих данных относится специфика высказываний официальных лиц, работающих в системе с жесткой субординацией: выражение экспертами официальной позиции МО РФ, концентрация на положительном опыте и достижениях военного образования. В то же время ведущие радиопередачи артикулировали проблемные вопросы гражданско-военных отношений и добивались от гостей их обсуждения.

Всего для анализа было отобрано 261 интервью с 187 должностными лицами МО РФ, опубликованные в 2009–2020 гг., включая 65 интервью, целиком посвященных проблемам ВПО, и 196 интервью, в которых частично затрагивается данная тема. Единицей анализа являлись фрагменты интервью, содержащие законченную мысль, релевантную тематике исследования, – цитаты размером от 20 до 200 слов ($N = 1800$). Категории анализа кодировались как присутствующие или отсутствующие в единице анализа. Затем бинарные переменные, присутствующие в не менее 5% единиц анализа (18 из 72 категорий), были сгруппированы с применением иерархического кластерного анализа с использованием кластерного метода Варда и меры квадратного евклидова расстояния. В описании и

интерпретации полученных результатов сочетались количественный и качественный подходы с включением в анализ редко встречаемых переменных, важных с содержательной точки зрения.

Визуальный анализ дендрограммы иерархической кластеризации позволил сгруппировать 18 наиболее часто встречающихся категорий контент-анализа в 5 кластеров, которые соответствуют темам, раскрывающим самые актуальные проблемы ВПО (табл. 1). Для проверки результатов иерархической кластеризации был проведен анализ с использованием метода *k*-средних, в результате которого переменные оказались в тех же кластерах, что и при иерархическом анализе.

Таблица 1

Кластеры и категории, закодированные в текстах интервью

Кластеры	Категории в рамках кластера	Описание категории	Доля интервью, в которых присутствует категория (в %)
Военный профессионализм	Уровень подготовки выпускников в целом	Оценка уровня подготовки выпускников, отзывы на выпускников из войск	28,4
	Инженерная подготовка	Уровень инженерной или иной профессиональной подготовки	24,5
	Среднее профессиональное образование	Подготовка по программам среднего профессионального образования в военных вузах сержантов (до 2014 года) и прапорщиков	24,1
	Морально-психологические качества	Патриотизм, верность воинскому долгу, дисциплинированность, морально-волевые качества и т.д.	20,3
	Здоровье, физическая подготовка	Состояние здоровья, уровень физической подготовки при поступлении, в процессе обучения и службы	16,1
Кадровый потенциал военного образования	Профессорско-преподавательский состав (ППС)	Научная квалификация, войсковой опыт, сокращение, «огражданение» ППС в результате реформы	26,4
	Научная работа	Выполнение научно-исследовательских работ, публикационная активность, военно-научная работа курсантов и слушателей и т.д.	26,4
	Конгрессно-выставочная деятельность, конкурсы	Участие курсантов, слушателей, ППС в выставках, форумах, конференциях, конкурсах, Армейских международных играх и т.д.	21,8
	Гражданско-военные отношения в области образования и науки	Взаимодействие с гражданскими вузами и НИО по подготовке кадров для ВС РФ, повышению квалификации ППС, разработке образовательных стандартов, проведению научных исследований и т.д.	18,4
Гендерная интеграция	Конкурс в военные вузы	Количество человек на место среди абитуриентов	29,1
	Женщины в военной профессии	Прием девушек в военные вузы, служба женщин в ВС РФ	25,7
	Внутрипрофессиональная дифференциация	Престиж и особенности разных военных специальностей, должностные позиции, которые военнослужащие могут занимать в зависимости от личных и деловых качеств	23,8

Окончание табл. 1

Кластеры	Категории в рамках кластера	Описание категории	Доля интервью, в которых присутствует категория (в %)
Практическая направленность военного образования	Практическая составляющая обучения	Участие курсантов, слушателей, ППС в войсковых практиках, стажировках, практических занятиях, командно-штабных играх, учениях и т.д.	23,8
	Перевооружение и новые военные вызовы	Поступление новой техники в войска, изменение характера современных войн, необходимость совершенствования средств и методов ведения войны	23,0
	Учебно-материальная база военных вузов	Состояние материально-технических фондов, лабораторно-экспериментальной базы и имущественного комплекса	22,6
	Информационные технологии	Информатизация военного образования, доступ обучаемых к цифровым ресурсам, обучающим программам, электронным библиотекам и т.д.	22,6
	Тренажеры	Применение тренажеров, учебно-тренировочных средств в учебном процессе	19,2
Традиции	Роль традиций в военном образовании	История, традиции и ритуалы в образовательной и повседневной деятельности военных вузов	26,8

Результаты исследования. В кластер «Военный профессионализм» выделены материалы, в которых экспертами обсуждаются профессионально важные качества военнослужащего, которые формируются в процессе обучения в военном вузе, а также перспективы профессионализации сержантов, мичманов и прапорщиков путем получения ими среднего профессионального образования (далее СПО) в военном вузе.

Несмотря на то что по количеству упоминаний инженерные компетенции превосходят командирские, в рассуждениях экспертов последние все же имеют приоритетное значение. Искусство руководства подчиненным личным составом и комплекс таких морально-психологических качеств, как патриотизм, дисциплинированность, готовность к тяготам и лишениям военной службы, нематериальная мотивация, составляют суть военной профессии в целом, объединяющей разные военно-учетные специальности: *«В большей степени специфика инженерная, но все первичные должности, на которые распределяются наши выпускники, командные. Для того чтобы эксплуатировать сложную высокотехнологическую технику, необходимо инженерное образование. И мы своих курсантов готовим в первую очередь как инженеров, но при этом не забывая о том, что командир все-таки важнее, чем инженер»* (первый зам. нач. Военной академии войсковой противовоздушной обороны МО РФ, 2017 г.).

Значительно реже в интервью встречаются позиции экспертов, разделяющие типы военной карьеры на командный, инженерный, научный и другие профили, подобно М. Яновицу, выделявшему идеальные типы офицеров – менеджеров, героев и инженеров [Janowitz, 1971], и Г. Леви, разграничивающему три социальных слоя в израильской армии – герои боевых подразделений, синие и белые воротнички [Levy, Sasson-Levy, 2008]. Так, командир соединения противоракетной обороны ВКС РФ подчеркивает инженерный профиль своей деятельности: *«Да, мы все, конечно, военнослужащие, носим военную форму, заканчивали военные институты или училища. Мы умеем командовать, мы умеем ходить строевым шагом, петь строевые песни, но если сравнивать нас с другими военнослужащими или другими войсками, мы больше инженеры. <...> У нас даже офицеры иногда шутят, что мы в руках чаще держим отвертку или какой-то прибор, чем автомат или пистолет».*

По мнению экспертов, подготовка по инженерной специальности обязательна, но недостаточна для реализации полноценной войсковой карьеры. Без командно-методических навыков возможности карьерных траекторий ограничиваются исполнительскими должностями: «Если человек не живет по принципу “делай как я”, то карьера офицера для него не сложится. Карьера научного сотрудника – может быть, карьера штабного офицера – может быть, но карьера офицера, который командует подразделением, она точно не сложится. Я знаю по своему опыту, потому что я прошел службу от командира взвода до командира бригады. И всегда жил по принципу “делай как я”: бежать впереди, стрелять впереди, по-другому не получится» (нач. Военной академии радиационной, химической и биологической защиты им. Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко, 2015 г.).

Как видно из табл. 2, чаще всего профессиональные качества выпускника упоминаются экспертами Воздушно-десантных войск, представители которых непосредственно связаны с деятельностью в экстремальной боевой обстановке и в наибольшей степени соответствуют традиционному героическому идеалу военной профессии. Эксперты отдельно выделенной категории тыловых специальностей, большинство которых составляют военные медики и физкультурники, значительно реже обсуждают качества выпускников, за исключением физической подготовки. Интересно, что из 7-ми интервью, заявленной темой которых являлось военно-медицинское образование, лишь одно содержало достаточно фрагментов, релевантных категориальному аппарату исследования. Узкопрофессиональная медицинская тематика в них преобладала над общевоевным содержанием, что косвенно подтверждает гипотезу о существовании дифференциации военных профессионалов по содержанию труда.

Таблица 2

Доля единиц анализа, в которых упоминаются качества выпускника, формируемые в военном вузе (в % от количества единиц анализа по видам ВС/родам войск)

Качества выпускника	Виды ВС РФ и рода войск, представленные экспертами						
	сухопутные войска	военно-морской флот	воздушно-космические силы	воздушно-десантные войска	ракетные войска стратегического назначения	тыловые войска	ВС РФ в целом
Командирские	3,1	4,3	2,0	8,6	4,6	1,8	3,3
Инженерные	5,0	5,7	5,9	6,7	6,2	0,9	5,1
Морально-психологические	4,7	3,5	5,0	13,3	4,9	0,9	4,8
Физическая подготовка	5,5	4,3	3,8	10,5	1,0	6,2	3,9

Выпускники военных вузов в сержантском звании должны были, по замыслу военной реформы 2008–2012 гг., отвечать требованиям военной профессии: уметь организовывать боевые действия войск и управлять ими в повседневной деятельности, быть верными военной присяге, разделять патриотические ценности военной корпорации. Становление института профессиональных сержантов было самой популярной темой в интервью экспертов в 2009–2011 гг., но затем количество таких упоминаний резко снижается. Судя по высказываниям экспертов, деструктивное влияние на профессионализацию нового сержантского корпуса оказали ограниченность карьерных перспектив, отсутствие внятного социального статуса, престижа, высокий уровень текучести кадров и другие проблемы: «[Процесс подготовки профессиональных сержантов] непросто идет. Наверное, потому что у нас в вооруженных силах вообще с этой категорией, сержантов и прапорщиков, все время происходят какие-то изменения, и эта категория не может никак устояться.

Мы объявляли набор – 3500 сержантов должно было обучаться в наших военно-учебных заведениях. Из них, к сожалению, мы набрали чуть более 500» (зам. нач. Гл. управ. кадров МО РФ, 2010 г.).

С 2014 г. было принято решение вернуть воинские звания «мичман» и «прапорщик» (существовавшие в СССР с 1972 г. и практически ликвидированные в ходе реформы 2008–2012 гг.), а в 2015 г. на факультетах СПО военных вузов организована подготовка прапорщиков и мичманов. Эксперты оценивают конкурс на специальности СПО в 2–3 человека на место (для высшего образования – 3–6 человек на место). В интервью эксперты признаются, что на факультеты СПО поступают абитуриенты, которые не набрали достаточно баллов ЕГЭ для поступления на программы высшего образования: «Он понимает, может быть, что не дотягивает до училища, но служить он хочет, поэтому идет осмысленно в прапорщики. Мы даем возможность, даже если он отучился там определенное время, поступать в училище» (нач. инженерных войск ВС РФ, 2018 г.). Обучение прапорщиков и мичманов в военных вузах обострило их стремление к служебному росту, что не способствовало кристаллизации данной категории как устойчивой социально-профессиональной группы: «А что касается прапорщиков, конечно, им обидно. Поэтому они всеми силами стремятся стать офицерами. <...> У них есть право получить преимущество стать офицерами. У нас таких примеров очень много, когда, проучившись здесь у нас 2 года и 10 месяцев, через пару лет они получают высшее образование и <...> становятся лейтенантами» (зам. командующего ВДВ по воздушно-десантной подготовке, 2018 г.).

В сообщениях, отнесенных к кластеру «Кадровый потенциал военного образования», экспертами обсуждается содержание профессионализма профессорско-преподавательского состава (далее ППС), участие гражданских вузов и академического сообщества в подготовке кадров для ВС РФ. Уровень квалификации ППС ВПО складывается из уровня научной квалификации и войскового опыта, частота упоминаний которых в анализируемых интервью примерно равна. Исключение составляют интервью представителей ВДВ, в которых практический опыт упоминается в 5 раз чаще научного. Зачастую эти два параметра профессионализма ППС противопоставляются: «Преподаватели, которые выполняли специальные задачи и награждены государственными наградами, смотрят уже по-другому на это, они не теорию тебе преподают, а непосредственно то, что применяли» (нач. Ярославского высшего военного училища противовоздушной обороны, 2018 г.).

Существует также обратная ситуация недостатка академических компетенций у войсковых офицеров при назначении их на соответствующую должность в военном вузе, отмечаемая отечественными и зарубежными учеными [Белошицкий, Карлова, 2019; Johnson-Freese, 2013]. Один из экспертов «Военного совета» указывает на необходимость дополнительной педагогической подготовки войсковых офицеров: «Преподавательский состав – это, как правило, офицеры, имеющие достаточно богатый практический опыт службы на флоте. После прихода в академию они проходят профессиональную переподготовку, потому что офицер меняет свою деятельность. Одно дело быть командиром, другое дело – преподавать» (зам. нач. Военного учебно-научного центра ВМФ «Военно-морская академия», 2015 г.).

Взаимодействие военной и гражданской высших школ ограничивается смежными научно-педагогическими областями при сохранении монополии военной корпорации на экспертное знание по узкой военной тематике. Эта позиция проявляется в требовании замещения должностей ППС военно-специальных дисциплин офицерами с войсковым опытом и неприятием выпускников гражданских вузов на офицерских должностях.

Военные кафедры и учебные военные центры при гражданских вузах используются как резервный источник кадров в кризисные периоды приостановки набора в военные вузы и массового увольнения офицеров: «Когда было тяжело с комплектованием, когда не хватало офицерского состава, когда его численность была 350 [тысяч], мы разработали закон и узаконили порядок приема на военную службу по контракту гражданских студентов, которые обучаются в учебных военных центрах» (нач. Гл. управ. кадров Министерства обороны РФ, 2013 г.).

Эксперты из войск, испытывающие проблемы с комплектованием некоторых должностей, демонстрируют открытость выпускникам гражданских вузов: «У нас сложились теплые и дружеские отношения с руководством Росавиации, с руководством Института гражданской авиации в Ульяновске. <...> Мы уже набрали порядка 80-ти человек с этих училищ, это Ульяновское училище и Санкт-Петербургская академия. У нас есть такие парни, которые, закончив вот эти вот вузы, пришли к нам и успешно осваивают, летают, довольны, нравятся» (командующий Военно-транспортной авиацией, 2018 г.). Представители военных вузов более ревностно относятся к автономии офицерской корпорации, отдавая предпочтение кадрам, подготовленным в ведомственных вузах, где помимо инженерных компетенций курсантам прививаются морально-психологические и командирские качества: «Конечно, никакой учебно-военный центр полноценного офицера подготовить не сможет. Без армейской среды невозможно подготовить офицера в гражданском вузе. Можно подготовить инженера, можно подготовить специалиста, бакалавра, магистра, но только не офицера, командира, начальника» (нач. отд. воен. образ. ракетных войск стратегического назначения, 2015 г.).

Социальный запрос на интеграцию женщин в военную профессию – один из самых актуальных в системе военного образования, о чем свидетельствует его артикуляция по просьбам радиослушателей в каждом интервью «Военного совета» с руководителями военных вузов. Большинство специальностей ВПО обладают гендерной эксклюзивностью: девушки составляют всего 2,4% общего контингента курсантов и учатся преимущественно по военно-гуманитарному, инженерно-техническому и медицинскому профилям.

Как видно из табл. 3, наибольшая концентрация женщин наблюдается в вузах тыловой направленности, меньше всего курсантов женского пола в сухопутных войсках. Частота упоминания женщин в контексте военного образования примерно совпадает с представленностью женщин в том или ином виде ВС/роде войск. Повышенный спрос на женское военное образование порождает высокий конкурс в военные вузы, доходящий до 40 человек на место.

Таблица 3

Показатели упоминания женщин в интервью экспертов разных видов ВС/родов войск (в %)

Вид ВС/род войск	Доля девушек среди обучающихся*	Показатели упоминания женщин			
		доля единиц контент-анализа	положительные оценки (к-во единиц анализа)	нейтральные оценки (к-во единиц анализа)	отрицательные оценки (к-во единиц анализа)
Сухопутные войска	1,1	4,5	8	8	3
Военно-морской флот	1,4	6,4	3	5	1
Воздушно-космические силы	2,7	7,9	10	23	2
Воздушно-десантные войска	1,3	3,9	4	3	0
Ракетные войска стратегического назначения	2,0	6,7	0	8	4
Тыловые войска	4,9	10,1	4	7	0
ВС РФ в целом	2,4	5,6	29	57	10

Примечание. *Рассчитано авторами на основе пресс-релизов о выпусках из военных вузов МО РФ в 2019 г.

В интервью большинства экспертов прослеживается идея о внутрипрофессиональной дифференциации по гендерному признаку, наличии определенной ниши в рамках военной профессии, которую женщины могут занимать в соответствии с психофизиологическими качествами и социальной ролью жены и матери: *«Допустим, должности операторского профиля, может быть, будут более приемлемы для женщин, потому что у них более четкая двигательная координация, точная координация внимания, сосредоточенность внимания. Некоторые физиологически заложенные особенности по определенным военнo-учетным специальностям могут, в общем-то, дать определенный приоритет»* (нач. Военного института физической культуры, 2013 г.).

Если сферы военной науки, образования и здравоохранения достаточно перспективны для женщин с точки зрения служебного роста, то в войсковой иерархии существуют формальные ограничения: *«Командир роты, командир батальона, командир полка, командир бригады, начальник штаба бригады – таких должностей [для женщин] нет. Во-первых, они не предусмотрены комплектованием военнoслужажими-женщинами. Есть перечень воинских должностей, в котором оговорено, где могут проходить службу женщины-военнoслужажие»* (нач. Гл. управ. кадров Министерства обороны РФ, 2013 г.).

Положительных оценок удостоиваются уровень успеваемости, физической подготовки и целеустремленность курсантов-девушек. Вместе с тем женщины почти не упоминаются в контексте профессионально важных для офицера морально-психологических качеств, им зачастую приписывается прагматичная служебная мотивация: *«Все-таки те социальные льготы и те социальные гарантии, которые государство предлагает для военнoслужажих сегодня, это, скажем так, наиболее востребовано у девушек на сегодняшний день. Все-таки выслуга лет, право на получение жилья, постоянная забота со стороны государства – это не слова, это на самом деле так»* (зам. нач. Военной академии воздушно-космической обороны им. Г.К. Жукова, 2020 г.).

Другие стратификационные признаки курсантов, помимо гендерной принадлежности, редко упоминаются в интервью военных экспертов. Отдельные высказывания все же позволяют сделать вывод, что основными поставщиками военных кадров являются средние стратификационные группы, в то время как выходцы из высокодоходных социальных групп и социально неблагополучных слоев населения в меньшей степени ориентированы на военную службу: *«Это настоящий, на мой взгляд, социальный лифт для парня, который решил сделать военную карьеру, который надеется в основном на себя, у которого нет каких-то сверхобеспеченных родителей, строящих всю его судьбу, а который рассчитывает на свои силы. Так сказать, человек, который делает себя сам»* (нач. отдела военного образования ракетных войск стратегического назначения, 2019 г.). Военные эксперты особенно выделяют также кандидатов, имеющих опыт военной социализации: суворовцев, нахимовцев, кадетов, детей военнoслужажих и молодых людей, прошедших военную службу по призыву или по контракту, несмотря на отсутствие у них формальных преференций для поступления.

Категории из кластеров «Практическая направленность обучения» и «Традиции» не имеют прямого отношения к воспроизводству социальной структуры ВС РФ, однако иллюстрируют самобытность ВПО и силу консервативных установок военного истеблишмента в целом. Практическая направленность обучения выражается в тесной связи образовательного процесса с жизнью войск и реализуется стажировками, стрельбами, полевыми выходами. Она обусловлена требованием к выпускнику немедленно приступить к исполнению служебных обязанностей в боевой обстановке. Косвенно практическая составляющая обучения также служит средством инициации курсанта в профессиональное сообщество, формирования корпоративной сплоченности в полевых условиях: *«...проведение войсковых стажировок и практик. Для чего они предназначены? Во-первых, выпускник должен понимать, где и как он будет проходить службу, как формируется офицерский коллектив, как осуществляется взаимодействие, какой уровень взаимовыручки и поддержки, чем всегда отличались офицеры в советской армии, в российской армии. Этим всегда наша*

армия отличалась, и это наши святые традиции» (нач. филиала Военной академии РВСН им. Петра Великого, 2019 г.).

Ясность предназначения выпускников военных вузов часто противопоставляется экспертами неопределенному будущему гражданских специалистов. В условиях, когда в стране социальной нормой стало неиспользование выпускниками российских образовательных организаций в профессиональной деятельности полученных знаний и навыков [Malinovskiy, Shibanova, 2019], гарантированное распределение лейтенантов становится конкурентным преимуществом ВПО: «Они все 100% трудоустроены, такого не может быть, чтобы, например, человек остался без места службы» (зам. нач. Военной академии воздушно-космической обороны им. Г.К. Жукова, 2020 г.).

Заключение. Усложнение вооружения и военной техники, совершенствование военного искусства привели к углублению разделения воинского труда, дифференциации офицерского корпуса на класс офицеров, обладающих боевыми и командирскими компетенциями и класс офицеров-администраторов, инженеров, педагогов и других специалистов, чьи компетенции не уникальны для военной сферы и доступны для освоения гражданским специалистам. Однако в представлении отечественного военного истеблишмента военное образование призвано воспроизводить традиционную социальную структуру вооруженных сил, в которой разграничение командирских и инженерных компетенций военных специалистов носит условный характер. Выпускники гражданских вузов занимают менее устойчивые позиции в военной иерархии, поскольку уступают курсантам в развитии командирских и морально-психологических качеств.

Судя по результатам контент-анализа, репрезентативность различных социальных слоев и групп в ВС РФ, за исключением женщин, не является актуальной проблемой российских гражданско-военных отношений. Высокий спрос со стороны гражданского общества на женское ВПО пока не находит отклика в военном ведомстве: гендерная интеграция в военную профессию ограничивается небольшими наборами в военные вузы по узкому списку военно-учетных специальностей.

Укрепление профессионального статуса сержантов, прапорщиков и мичманов в России происходит путем получения профессионального военного образования. Вместе с тем сокращение образовательной дистанции способствовало маргинализации прапорщиков, мичманов и обострило их стремление аттестоваться в офицерский состав.

В течение XX – начала XXI в. военная профессия прошла путь от относительной социальной замкнутости к социальной репрезентативности, увеличению интенсивности социальной мобильности между армией и гражданским обществом. В то же время уникальность военной организации, заключающаяся в ведении боевых действий и подготовке к ним, обуславливает выдвижение на лидирующие позиции военной иерархии физически подготовленных и преданных воинскому долгу мужчин-командиров, имеющих опыт продолжительной воинской социализации в системе военного профессионального образования. Консервативные позиции, которые демонстрируют военные эксперты, свидетельствуют об их стремлении сохранить в российской армии автономию от гражданского общества и монополию на военно-специальное знание.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Белошицкий А.В., Карлова Е.Н. Подготовка научно-педагогических кадров в высшей военной школе: социальные факторы эффективности // Вестник Воронежского государственного университета. Серия: проблемы высшего образования. 2019. № 3. С. 23–27.
- Бондаренко В.Ф. Специализация и диверсификация внутри военной организации // Социологические исследования. 2002. № 12. С. 73–76.
- Герbach Ж.В. Институализация военнoслужаших женского пола в современной российской армии // Проблемы социологии. 2018. № 1. С. 179–183.
- Капустин В.В. Социальное проектирование подготовки сержантов в системе военного среднего специального образования // Военно-социологические исследования: современные подходы и концепции: монография / Под общ. ред. Л.В. Певеня. М.: Военный университет, 2017. С. 139–149.

- Леоновец Г.В. О подготовке сержантов по программам среднего профессионального образования // Военная мысль. 2011. № 10. С. 54–61.
- Лурье Л.И. Взаимообогащение гражданского и военного образования в процессе инновационной деятельности // Педагогическое образование и наука. 2014. № 4. С. 66–70.
- Смелик Р.Г. Характер и содержание воинского труда // Вестник Омского университета. 2000. № 2. С. 107–111.
- Чукин С.Г. Военное образование как социокультурный институт // Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. 2018. № 9. С. 296–303.
- Caforio G. Trends and Evolution in the Military Profession // *Social Sciences and the Military: An Interdisciplinary Overview*. New York: Routledge, 2006. P. 181–196.
- Heineken L. Discontent Within the Ranks? Officers' Attitudes toward Military Employment and Representation – A Four-Country Comparative Study // *Armed Forces and Society*. 2008. Vol. 35. No. 3. P. 477–500. DOI: 10.1177/0095327X08322563.
- Heineken L., Soeters J. Managing Diversity: From Exclusion to Inclusion and Valuing Difference // *Handbook of the Sociology of the Military*. Ed. by G. Caforio, M. Niciari. Cham: Springer, 2018. P. 327–339.
- Huntington S.P. *The Soldier and the State: The Theory and Politics of Civil-military Relations*. Cambridge: The Balknap Press of Harvard University Press, 1957.
- Janowitz M. *Sociology and the Military Establishment*. New York: Russell Sage Foundation, 1959.
- Janowitz M. *The Professional Soldier: A Social and Political Portrait*. New York: Free Press, 1964.
- Johnson-Freese J. *Educating America's Military*. London: Routledge, 2013.
- Levy G., Sasson-Levy O. Militarized Socialization, Military Service, and Class Reproduction: The Experiences of Israeli Soldiers // *Sociological Perspectives*. 2008. Vol. 51. No. 2. P. 349–374. DOI: 10.1525/sop.2008.51.2.349.
- Malinovskiy S., Shibanova E. Higher Education in Russia: Highly Available, Less Accessible // *International Briefs for Higher Education Leaders*. Iss. 8. Washington: Center for Internationalization and Global Engagement (CIGE), 2019. P. 20–22.
- Smith D.G., Rosenstein J.E. Gender and the Military Profession: Early Career Influences, Attitudes, and Intentions // *Armed Forces and Society*. 2017. Vol. 43. No. 2. P. 260–279. DOI: 10.1177/0095327X15626722.
- Woodruff T., Kelly R. Gender and Deployment Effects on Pro-Organizational Behaviors of U.S. Soldiers // *Armed Forces and Society*. 2017. Vol. 43. No. 2. P. 280–299. DOI: 10.1177/0095327X16687068.

Статья поступила: 07.09.20. Финальная версия: 16.11.20. Подписана к печати: 30.12.20.

THE REPRODUCTION OF SOCIAL STRUCTURE OF THE RUSSIAN ARMED FORCES IN MILITARY PROFESSIONAL EDUCATION

KARLOVA E.N.

Military Educational and Scientific Centre of the Air Force N.E. Zhukovsky and Y.A. Gagarin Air Force Academy, Russia

Ekaterina N. KARLOVA, Cand. Sci. (Sociol.), Assoc. Professor, Senior Researcher, Research Center (Educational and Information Technologies) of the Military Educational and Scientific Centre, N.E. Zhukovsky and Y.A. Gagarin Air Force Academy, Voronezh, Russia (ekaterina-n-karlova@yandex.ru).

Abstract. The social structure of the armed forces is being transformed in the direction of deepening the division of military labor, civil-military convergence, gender integration and professionalization of non-commissioned officers. These changes are reflected in the military professional education system as a social institution for the reproduction of the Army's social structure. The article attempts to highlight the display of new trends in the transformation of the social structure of the armed forces by the military establishment. There are presented the results of content analysis of interviews with officials of the Ministry of defense of the Russian Federation on the problems of military professional education in Russia from 2009 to 2020. The authors reveal the intraprofessional differentiation of military professionals in terms of the labor content into unique military commanders and those who have a great similarity with civil engineers and other professionals. In the view of the military establishment, military education is still intended to reproduce the traditional social structure of the armed forces, developing in cadets commanding, moral and psychological qualities that are not available to civilian specialists. Civil universities are perceived by experts as a reserve source of training military personnel in times of

crisis. The social request to integrate women into the military profession does not find a response in the military department, experts often support gender segregation in the army. Attempts to strengthen the professional status of sergeants, warrant officers and midshipmen by providing them with secondary vocational education rather contribute to the marginalization of this category of military personnel.

Keywords: social structure of the Armed Forces, military professional education, military profession, civil-military relations, content analysis.

REFERENCES

- Beloshitskiy A.V., Karlova E.N. (2019) The Training of the Academic Educational Staff at the Higher Military School: Social Efficiency Factors. *Vestnik Voronezhskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: problemy vysshego obrazovaniya* [Proceedings of Voronezh State University. Series: Problems of Higher Education]. No. 3: 23–27. (In Russ.)
- Bondarenko V.F. (2002) Specialization and Diversification within the Military Organization. *Sotsiologicheskie issledovaniya* [Sociological Studies]. No. 12: 73–76. (In Russ.)
- Caforio G. (2006) Trends and Evolution in the Military Profession. In: Caforio G. (ed.) *Social Sciences and the Military: An Interdisciplinary Overview*. New York: Routledge: 181–196.
- Chukin S.G. (2018) Military Education as Socio-cultural Institute. *Uchenye zapiski universiteta imeni P.F. Lesgafta* [Scholarly Notes of P.F. Lesgaft University]. No. 9: 296–303. (In Russ.)
- Gerbach Zh.V. (2018) Institutionalization of Female Soldiers in Modern Russian Army. *Problemy sotsiologii* [Problems of Sociology]. No. 1: 179–183. (In Russ.)
- Heinecken L. (2008) Discontent Within the Ranks? Officers' Attitudes toward Military Employment and Representation – A Four-Country Comparative Study. *Armed Forces and Society*. Vol. 35. No. 3: 477–500. DOI: 10.1177/0095327X08322563.
- Heinecken L., Soeters J. (2018) Managing Diversity: From Exclusion to Inclusion and Valuing Difference. In: Caforio G., Niciari M. (eds) *Handbook of the Sociology of the Military*. Cham: Springer: 327–339.
- Huntington S.P. (1957) *The Soldier and the State: the Theory and Politics of Civil-military Relations*. Cambridge: The Balknap Press of Harvard University Press.
- Janowitz M. (1959) *Sociology and the Military Establishment*. New York: Russell Sage Foundation.
- Janowitz M. (1964) *The Professional Soldier: A Social and Political Portrait*. New York: Free Press.
- Johnson-Freese J. (2013) *Educating America's Military*. London: Routledge, 2013.
- Kapustin V.V. (2017) Social Design of Sergeants Training in the System of Military Secondary Special Education. In: Peven' L.V. (ed.) *Military-sociological Studies: Contemporary Approaches and Concepts*: monograph. Moscow: Voennyi universitet: 139–149. (In Russ.)
- Leonovets G.V. (2011) On the Training of Sergeants according to the Programs of Intermediate Vocational Education. *Voennaya mysl'* [Military Thought]. No. 10: 54–61. (In Russ.)
- Levy G., Sasson-Levy O. (2008) Militarized Socialization, Military Service, and Class Reproduction: The Experiences of Israeli Soldiers. *Sociological Perspectives*. Vol. 51. No. 2: 349–374. DOI: 10.1525/sop.2008.51.2.349.
- Lurie L.I. (2014) Mutual Enrichment of the Civil and Military Education in the Course of Innovation Activity. *Pedagogicheskoe obrazovanie i nauka* [Pedagogical Education and Science]. No. 4: 66–70. (In Russ.)
- Malinovskiy S., Shibanova E. (2019) *Higher Education in Russia: Highly Available, Less Accessible. International Briefs for Higher Education Leaders*. Iss. 8. Washington: Center for Internationalization and Global Engagement (CIGE): 20–22.
- Smelik R.G. (2000) The Nature and Content of Military Labour. *Byulleten Omskogo universiteta* [Herald of Omsk University]. No. 2: 107–111. (In Russ.)
- Smith D.G., Rosenstein J.E. (2017) Gender and the Military Profession: Early Career Influences, Attitudes, and Intentions. *Armed Forces and Society*. Vol. 43. No. 2: 260–279. DOI: 10.1177/0095327X15626722.
- Woodruff T., Kelty R. (2017) Gender and Deployment Effects on Pro-Organizational Behaviors of U.S. Soldiers. *Armed Forces and Society*. Vol. 43. No. 2: 280–299. DOI: 10.1177/0095327X16687068.

Received: 07.09.20. Final version: 16.11.20. Accepted: 30.12.20.

Социальная политика. Социальная структура

© 2021 г.

В.Н. ЯРСКАЯ-СМИРНОВА, Е.Р. ЯРСКАЯ-СМИРНОВА

МОДУСЫ ТЕМПОРАЛЬНОСТИ В НАРРАТИВАХ О ДОСТУПНОСТИ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

ЯРСКАЯ-СМИРНОВА Валентина Николаевна – доктор философских наук, профессор, Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А., Саратов, Россия (jarskaja@mail.ru); ЯРСКАЯ-СМИРНОВА Елена Ростиславовна – доктор социологических наук, профессор, заведующая Международной лабораторией исследований социальной интеграции, Научно-исследовательский университет «Высшая школа экономики», Москва, Россия (elena.iarskaia@gmail.com; eiarskaia@hse.ru).

Аннотация. В статье представлены темпоральные характеристики доступности городской среды для маломобильных граждан. Анализ основывается на качественных интервью в четырех российских городах с активистами из числа людей с инвалидностью. Авторы рассматривают мнения информантов о том, как эволюционируют отношения человека с окружающей социальной и физической средой в течение нескольких лет, и какие изменения происходят в моментах повседневного взаимодействия. Речь идет о таких макроструктурных характеристиках темпоральности, как возраст, сезон, устаревание и обновление технологий, смена политических приоритетов. Другие модусы темпоральности – это динамика отношения окружающих, интенсивности коллективных действий, трансформация восприятия доступной среды. Перспектива повседневной темпоральности раскрывается на микроуровне социальных интеракций, в которых нарушаются и перенастраиваются ритмы городской жизни, раскрывается субъектность, случаются акты эксклюзии и инклюзии.

Ключевые слова: темпоральность • время • инвалидность • активисты • город • доступность • мобильность • повседневность • качественные интервью • интервью на прогулке

DOI: 10.31857/S013216250010208-1

Введение. Социальная модель, вокруг которой строится определение инвалидности в Конвенции ООН (ратифицирована в России в 2012 г.), ставит акцент не на статусе, закреплённом ввиду диагноза, а на отношении между телом и организацией социального пространства. На первый план выходят процессы переоценки и коммуникации: инвалидность здесь трактуется «как эволюционирующее понятие, как результат взаимодействия между имеющими нарушения здоровья людьми и средовыми барьерами, которые мешают их полному участию в жизни общества наравне с другими»¹.

В России систематически предпринимаются усилия по формированию условий, направленных на соблюдение международных стандартов прав инвалидов. Фактически

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФ, проект № 18-18-00321.

¹ Конвенция ООН о правах инвалидов. ООН, 2006. URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/disability.shtml (дата обращения: 24.12.2020).

ставится вопрос о создании более комфортных условий жизни для всех, хотя в первую очередь для маломобильных граждан, которые представляют собой неоднородную группу лиц, и потребности их различны². Разные группы горожан выдвигают свои требования и критерии доступности: незрячие и слабовидящие, глухие и слабослышащие, передвигающиеся на коляске, родители с детьми на колясках, велосипедисты и скейтеры, автомобилисты и пешеходы, водители общественного транспорта, – их представления о комфортности и безопасности городской среды могут сильно различаться. Разработка универсального дизайна, функциональное зонирование городского пространства – долгосрочный проект.

Барьеры и ограничения связаны с пространственной логикой, а взаимодействия и изменения – с темпоральной. С нашей точки зрения, в социальных исследованиях и политике инвалидности необходим темпоральный поворот. Исследовательское внимание, уделяемое инвалидизирующим пространственным барьерам и притеснениям, необходимо сбалансировать, фокусируясь на паттернах эксклюзии, которые производятся темпом, скоростью и ритмом повседневной жизни [Paterson, 2012].

Нас интересует темпоральность как рефлексия изменений доступности городского пространства и мобильности, которая становится источником статуса и власти [Урри, 2012: 75–76]. Неразрывная связь пространства-времени с учетом социальных детерминант хронотопа хорошо артикулирована в социальной теории, философии времени. В исследованиях инвалидности эта методология начала использоваться не так давно [Ярская-Смирнова, 2019]. Некоторые авторы восполняют этот пробел, обращая внимание на историю инвалидности [Burch, Rembis, 2014; Hughes, 2019], другие раскрывают пространственно-временные аспекты инвалидности, применяя биографический метод [Priestley, 2001], перспективу этнометодологии [Bigby, Wiesel, 2019]. Э. Кэйфер [Kafer, 2013] ввела в научный оборот метафору крип-темпоральности, вслед за ней Хикман с соавторами предлагают учитывать меняющиеся темпоральные регистры, встроенные в повседневные телесные опыты крип-субъективности [Hickman et al., 2019].

В этой статье мы используем познавательные возможности темпорального поворота в исследовании городского пространства с точки зрения доступности для людей с инвалидностью. Статья построена на анализе 30 качественных интервью, собранных летом 2019 г. в Казани, Самаре, Саратове и Томске³, с местными экспертами-активистами из числа людей с инвалидностью, промоутерами интересов маломобильных граждан, исследователями, блогерами, авторами заметок в СМИ и социальных сетях⁴. Дополнительно было проведено десять интервью с маломобильными жителями тех же городов⁵ в методологии walk along⁶ [Глазков, Стрельникова, 2016; Ярская, Ярская-Смирнова, 2018]. Интервью были подвергнуты процедуре кодирования, полученные категории стали структурообразующими для настоящей статьи, цель которой – раскрыть темпоральные характеристики взаимодействия человека с городской средой на макро- и микроуровне.

² Государственная программа «Доступная среда». URL: <http://zhiti-vmeste.ru/gosprogramma-dostupnaya-sreda/> (дата обращения: 24.12.2020).

³ Три города на Волге и один в Сибири были включены в проект на основе имеющихся научных связей. В цели данной статьи не входит сравнение городских политик и практик доступности, однако в рамках проекта было проведено количественное исследование, результаты которого содержат сравнительный анализ [Ярская, 2020].

⁴ Мы выражаем признательность коллегам, которые провели интервью в этих городах: И. Ясавееву, Е. Мироновой, С. Егоровой, А. Чернецкой, Е. Авериной. В число информантов интервью по методу walk along вошли люди с различными видами инвалидности: нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения и слуха. В число экспертов вошли люди с инвалидностью, активно занимающиеся вопросами развития городской среды, а также два эксперта без инвалидности. Эксперты были отобраны коллегами в их городах, при этом в выборку включали информантов разного пола, возраста и вида инвалидности.

⁵ Обозначения: KWA – интервью на прогулке; КЭ – интервью с экспертом в Казани; TWA, ТЭ – Томск; СамЭ – Самара; СарЭ – Саратов.

⁶ Данная методология представляет собой сочетание интервью с участвующим наблюдением в процессе прогулки с информантом.

Время года и историческое время. Сезонные и суточные колебания доступности испытывают на себе жители тех городов, администрации которых не следят за освещением улиц и состоянием тротуаров, создавая опасные для здоровья и жизни условия не только людям с инвалидностью, но и всем жителям. Универсальная недоступность поджидает тех, кто передвигается пешком или с колясками в некоторые сезоны года: *«Этой зимой трое моих знакомых получили переломы. Надо ввести ответственность за очистку тротуаров»* (КЭ6). А когда ближайшее пространство – двор, дорога до магазина – изобилует препятствиями, от этого страдают далеко не только инвалиды: *«Это же и для глухих, и слепых, и колясочникам. Ведь если дорога вся в ямах, то кто и как будет передвигаться. Должно быть комфортно везде»* (СамЭ5). Саратовской информантке с нарушением опорно-двигательного аппарата удается передвигаться только летом: *«Зимой, весной, осенью тут же вообще не пройдешь – грязь, лужи, снега по самую шею. А этой зимой, вернее весной, мы с мамой [85 лет, слабовидящая] вообще из дома не выходили – грязь по колено была»* (СарWA2).

По оценкам томских информантов, маршрутов с низкопольным транспортом в городе мало, периодичность низкая, движение заканчивается до 20.00 часов. Система информирования о движении части маршрутов отсутствует, в зимнее время транспорт работает с перебоями, людям с нарушениями зрения ориентироваться сложно. Однако некоторые технологии облегчают мобильность в сложные сезоны, *«в транспорте, оборудованном системой озвучивания маршрута, [легче] ориентироваться.... Размещенные табло с интервалами движения позволяют выбрать подходящий транспорт и определить, сколько придется ждать»* (ТЭ8).

Историческое время – еще один аспект политики доступности: *«Многие постройки, объекты являются культурным памятником города и соответственно создание доступной среды там совершенно невозможно»* (ТЭ9). Проблемы с доступностью в старых зданиях упоминали и саратовские, и самарские информанты, причем в таких местах нередко располагаются многие учреждения (СамЭ7). Если архитектурные решения, направленные на повышение доступности исторических памятников, могут казаться невыполнимыми, то обновление транспортных средств является вполне реалистичной задачей. Однако *«приобретение перевозчиками современных низкопольных автобусов идет очень медленно»* (ТЭ3).

Жительница Казани приводит в своем нарративе целый комплекс элементов мобильности. Из-за неполадок или непродуманности знаков и устройств снижается потенциал подвижности слабовидящих людей: это обозначение номеров маршрутов автобусов, небезопасность подземных переходов и входов в метро, недостаточно яркий цвет светофоров, крутящиеся и стеклянные двери в магазинах, отсутствие уличных фонарей: *«На автобусах имеются плакаты с большими цифрами, которые обозначают номер маршрута, и это помогает слабовидящим. Но, к сожалению, эти цифры через какое-то время выгорают или изначально печатаются светлой краской, что затрудняет их видеть. Очень слабое освещение не позволяет комфортно перемещаться по подземным переходам, это касается и метрополитена. В светлое время суток, особенно через широкие улицы, не видно цвета светофора и часто приходится ориентироваться на других пешеходов, что не всегда безопасно, есть те, кто нарушают правила ПДД и переходят на красный свет. <...> В районе моего дома практически нет фонарей, в темное время суток даже обычные (зрячие) люди ходят с фонариками»* (КЭ3).

Со временем элементы доступности приходят в негодность, механизмы изнашиваются, технологии устаревают, объекты ломаются, иной раз устаревающая техника создает угрозу: *«Были случаи, когда некачественные петли проржавели, и один раз я поднимаюсь, и прямо сломался пандус подо мной»* (KWA1).

Проходит время, меняются политические приоритеты, исчерпывается финансирование, пересматривается дизайн, доступность для некоторых групп расширяется, причем иногда это происходит за счет других групп, в зависимости от акцентов, расставленных чиновниками: *«Здесь вначале сделали всё для незрячих. Потом, видимо, они начали*

реализовывать программу «Доступная среда» для колясок. Начали эти съезды делать, без тактильных плиток. Потом тактильные плитки возвращали» (КWA2).

Наш собеседник из Саратова точно сформулировал: «Доступная среда у нас – это предмет программ и проектов. А они имеют временные рамки. Как только программа заканчивается – ставят на паузу и решение проблем. До начала следующей программы» (СарЭ1). Темпоральность городской доступности становится частью системы управления и насыщается смыслами властных отношений и бюрократических издержек.

Изменения доступности. Как оценивают информанты изменения городской среды по сравнению с тем, как было пять-десять лет назад в плане жизненного пространства, потребления, возможностей передвижения? Во всех российских городах делается многое для улучшения доступности окружающей среды и наиболее важных объектов инфраструктуры. Многие наши собеседники видят положительную динамику: «Городская среда в Самаре значительно улучшилась. Самое главное и заметное – это заниженные бордюры на проезжую часть и вдоль проезжей части» (СамЭ1). Стали значительно удобней услуги аэропорта и ж/д вокзала. По городу стало возможно передвигаться на более дальние расстояния на общественном транспорте (СамЭ3). С точки зрения глухих и слабослышащих, проблем в передвижении нет и не было, хотя за последние годы несколько выросла необходимая им информационная доступность.

Другие информанты говорят об улучшении доступности базовых социальных сервисов: «Поликлиники стали доступнее. [Университеты] стали доступнее. Стало больше культурных мест, которые можно посетить» (ТЭ1). Положительно оценивают и ситуацию на транспорте: сейчас в Томске есть низкопольные троллейбусы (появились лет десять назад), маршрутки, автобус, «который приседает, водитель выходит и раскладывает пандус небольшой, и по нему можно заехать» (ТЭ2).

Плавное течение времени ускоряется, когда происходят какие-то большие перемены. В городах, где устраивались мегасобытия – чемпионат мира по футболу, универсиада, – были построены некоторые образцовые доступные объекты, и в целом возможности мобильности расширились, «появилось больше информации, удобства. Город преобразовался. Чемпионат по футболу помог многое оживить» (СамЭ5); «очень помогло проведение международных и мировых мероприятий в нашем городе» (КЭ7). В центре Казани благоустроены общественные пространства, в каждом районе есть парки, где все больше гуляющих людей. В центре города «стало интереснее находиться и гулять пешком, он перестал быть чем-то, что нужно только пересечь по пути по делам» (КЭ5). Последнее значимое изменение в системном смысле, по мнению казанского эксперта, произошло в связи с подготовкой города к проведению универсиады в 2013 г. и реализацией целевой программы «Доступная среда», а последующие изменения носят, скорее, точечный характер (КЭ4).

Люди перемещаются в соответствии с пространственно-временными модальностями, у каждой из которых свой масштаб, диапазон и другие характеристики [Урри, 2012: 135; 177]. Темпоральность доступной среды проявляется и в том, как меняются отношения с городским пространством с возрастом информанта. Вспоминая себя в детстве, юношестве, десять или пять лет назад, информанты говорят об изменениях, которые произошли не только с объектами окружающей среды, но и своих собственных ощущениях. В одних случаях их мобильность снизилась, и, становясь старше, информанты стали замечать дискомфорт окружающей среды: «Было больше здоровья и иногда даже не обращали внимания на бордюры или ступени, а теперь все это бьет в глаза и по ногам» (СамЭ2); «Из-за постепенного ухудшения зрения приходится чаще прибегать к элементам доступной среды и больше стала обращать внимание на отсутствие этой самой доступности. Приходится чаще использовать тактильную трость» (КЭ3). Женщина с нарушением слуха с возрастом «стала понимать, что появление перевода, субтитров и текстовой информации значительно бы облегчило жизнь и расширило спектр мероприятий, доступных к посещению» (ТЭ7). У других накапливается жизненный опыт: «Начал к этому относиться более спокойно и более

продуктивно научился решать какие-то трудности с помощью граждан нашего города. Да, если закрыто в одном месте, мы зайдем в другое» (КЭ7). Саратовский слабовидящий пожилой мужчина рассказал, что по мере ухудшения зрения приспосабливается к городу: «Привыкаю видеть мир по-другому» (СарQA3).

С возрастом меняется биографическая ситуация, на разных этапах жизненного цикла люди начинают больше ценить время, как наш слабовидящий информант из Самары: «Когда ты работаешь, где-то все-время активно участвуешь в чем-то, понимаешь цену времени. Время вообще самый дорогой ресурс» (СамЭ6). Другая наша собеседница вспоминает: когда она была ребенком, мама приводила ее в бассейн, «приходилось просить, чтобы меня туда опустили, подняли. ...А потом, когда появился подъемник, я стала регулярно... там снимается спастика, я начинаю лучше двигаться. Это очень хорошо. <...> И по городу стало проще передвигаться, и люди стали как-то по-другому относиться. Более лояльно» (ТЭ1).

Появление детей – еще один важный этап жизненного пути, меняющий восприятие доступности, влияющий на мобильность. Мама ребенка с нарушением слуха себя к маломобильным категориям граждан не относит. Тем не менее она с возрастом и опытом, проявляя интерес к проблемам инвалидности как эксперт, начала оценивать растущую доступность среды и в том числе ее удобства для всех пользователей: «Десять лет назад на многие сложности и аспекты я не обращала внимания... [Сейчас] обращаю внимание на удобство дополнительного звукового и светового дублирования знаков» (ТЭ8). Когда у одной из наших собеседниц появился ребенок со сложностями передвижения, она «научилась решать свои проблемы и помогать другим, была создана общественная организация для помощи людям со схожими проблемами» (ТЭ6).

Нашего незрячего информанта из Самары проблемы городского пространства начали беспокоить не из-за инвалидности, а потому что он стал отцом: «Раньше меня вопрос низкопольного транспорта не волновал. <...> Сегодня вопрос детской коляски значим для меня. Вопрос бордюров и съездов для меня также сейчас открыт. В молодости пиво взял, на лавочку сел, все нормально. Сегодня меня волнует, какой будет парк, какая набережная, какой будет к этому подъезд и подход» (СамЭ7).

Отношение горожан к инвалидам: вчера и сегодня. У городской среды помимо физической доступности есть социальное, человеческое измерение: «Можно, конечно, укатать все доступной средой, но если при этом люди будут менее открыты и отзывчивы, то это тоже будет большой проблемой» (ТЭ2). Городская среда – это меняющееся со временем отношение окружающих – водителей, прохожих, пассажиров: «Я была еще ребенком, с мамой везде ходили, люди не очень отзывались, для них это был шок – увидеть ребенка с инвалидностью... Хорошо, что люди сейчас стали более отзывчивы» (ТЭ1).

Люди чаще предлагают помочь сами и спокойнее относятся, когда обращаешься к ним за помощью, причем молодежь в большей степени готова к изменениям, полагает информант из Казани: «На мой взгляд, молодежь больше готова к изменениям» (КЭ3). Городская среда, по мнению экспертов, «точно изменилась в первую очередь с человеческой точки зрения: люди на улице сегодня гораздо чаще оказывают помощь, и гораздо больше интересуются тобой, ...гораздо больше обращают на тебя внимание в хорошем смысле слова» (СамЭ7).

По мнению наших собеседников, улучшилось и отношение обслуживающего персонала. Поскольку люди на инвалидных колясках появляются в общественных местах, то уже «меньше любопытных глаз... здесь персонал уже привык» (ТWA1). В прошлом случаи враждебного отношения были не редкостью: «Лет семь назад в одном кафе, когда я ходила еще с палочкой, один из охранников сказал: “Что вы напрягаете гостей своим внешним видом?” На что я уточнила: “Давайте мы обратимся к вашей администрации, кого и где я напрягаю”. Но конфликт был исчерпан, старший по охране сказал, что я могу остаться в зале и танцевать, даже если это кому-то не нравится. Сейчас таких ситуаций не возникает, появление человека с инвалидностью в общественных местах стало нормой», – говорит информант (ТЭ2). И все-таки информантам приходится периодически встречаться с такими издержками

обслуживания, когда удивляются, если пришел без сопровождения, или «когда разговаривают не с тобой, а с сопровождающим. Но в целом прогресс в этом направлении есть» (СамЭ7).

Информанты видят причину трансформации социальных установок во взрослении людей: «Отношение меняется кардинально, люди не молодеют, приходит понимание, что “все под Богом ходим”, и ...инвалидом и маломобильным гражданином может стать каждый» (СамЭ2). Другой эксперт развивает мысль о взрослении общества: ситуация меняется в лучшую сторону «с развитием города и общества... снижение роли “крутизны” и “понтов” в обществе, принятие разнообразия в других людях, ощущение глобальной открытости миру <...> которого раньше не было» (КЭ5).

Формирование в обществе инклюзивной культуры – не быстрый, но зримый процесс. Информанты вспоминают, что лет пятнадцать назад они могли слышать в свой адрес насмешки от окружающих, от прохожих, «невозможно было гулять... сейчас помогают окружающие, всегда предложат помощь» (ТЭ4). Наши собеседники сами стараются выстраивать конструктивные отношения: «Если я не слышу, начинаем искать возможность быть понятым. Контакттировать же надо» (СамЭ5).

Раньше водители общественного транспорта удивленно смотрели на людей с инвалидностью, «с большими глазами: ой, что же с вами делать? Но надо – пошел и открыл» (ТЭ2). Троллейбусы с низким полом или автобусы с пандусом, перевозящие людей на инвалидных колясках, стали обычным делом. Теперь в такой ситуации водители маршруток, которые постепенно развивают у себя инклюзивную культуру обслуживания. При этом меняющаяся окружающая среда влияет на восприятие разнообразия: «Пять лет назад мы еще ...не задумывались, что может быть по-другому. И тут мы вдруг начали обращать внимание, что пандус – удобно и для детской коляски, что низкопольный транспорт удобнее, ускоряется пассажиропоток. Это все улучшает» (СамЭ1).

Впрочем, романтизировать инклюзию не стоит: это процесс, у которого есть противники. Появление соседских групп, недовольных установкой пандуса, – явление нашего времени. Сейчас для окружающих стало нормой, что среди них живут люди с инвалидностью. Однако есть те, кто против создания доступной среды для инвалидов, «их начинает раздражать, что так много времени уделяется нуждам инвалидов» (ТЭ9). Продолжают удивляться, «зачем столько парковочных мест, у нас нет столько инвалидов», «зачем мне в доме пандус, у меня в доме инвалид не живет» (СамЭ1). Такое отношение вызывает фрустрацию у тех, кто пытается вносить вклад в строительство города, доступного для всех: «Жители близлежащих домов считают нас, инвалидов, и наш Центр семейной реабилитации своими врагами, что непонятно и обидно» (СамЭ2). Нам рассказали, как уже существующие технологии отключают по просьбе остальных граждан, которым мешают звуковые светофоры (ТWA2). В Казани известны аналогичные случаи, здесь помимо отключения звуковых светофоров убрали громкоговорители, которые озвучивали номер автобуса (КЭ3).

Время требуется для усвоения новых правил повседневного взаимодействия. А пока эти правила не стали нормой для всех, нередки конфликты с автовладельцами, нарушающими правила парковки и оскорбительно реагирующими на замечания: «Вы и так обделенный, что такой злой?» – так сказала водитель-девушка незрячему человеку (KWA2).

Среди автовладельцев не все понимают, для чего нужна особенная парковка, на этой почве возникают конфликты и неприязнь к людям с особенностями передвижения. Жительница Самары, руководитель студии инклюзивного творчества, объясняет: «Не потому что мы хотим “повыпендриваться”, а потому что специализированная парковка шире, мы на ней имеем возможность полностью открыть дверь. Если мы встаем на обычное место, нас прижимают другие машины, и мы не можем выйти из своей» (СамЭ1).

Динамика общественных инициатив в сфере доступности. Люди с инвалидностью, как и другие маломобильные группы, долгое время были исключены из признания в политических теориях, допуска к участию в принятии решений, жизни общества в целом [McCrary 2016: 209]. Причиной тому было устройство городов и всей жизни в духе

модернистского проекта. Советский проект также стремился к максимальной прозрачности и упорядоченности, подконтрольности и стабильности. В урбанистской политике и практике эти качества неизменности, порядка и управляемости нужны для контроля и ограничения активной социальной жизни [Паченков, 2012]. Людям с различными особенностями, инвалидам в проекте модерна выделялись контролируемые зоны на географической и социальной периферии.

В постсоветской политике инвалидности, несмотря на многие существенные изменения, стигма зависимости инвалидов от государственной социальной помощи по-прежнему сохраняется. Наряду с этим люди все чаще проявляют себя как публичные субъекты, создают активную публику, объединяясь в общественные организации и движения, внимательно реагируют на расхождения между словами и делами на различных уровнях организации городского пространства. Повествуя о своих активных действиях, респонденты размышляли уже не только об индивидуальных проблемах и возможностях, но и с точки зрения группы.

Казанский эксперт, известный блогер, дает типологию и периодизацию общественных выступлений за доступную среду. Ранние инициативы в виде перформансов (экстрим-сезд на коляске в шлеме по пандусам) и экскурсий на инвалидных колясках предпринимались для привлечения внимания, и их можно считать успешными. А сейчас этап *«плотной кропотливой работы над конкретикой, потому что даже руководителю, который согласится, что доступная среда нужна, нужно постоянно указывать на мелкую конкретику, портящую большую картину, и полностью согласный в глобальном вопросе руководитель может начать выкручиваться»* (КЭ5). Эксперт говорит о существующих инициативах группы И. Ясавеева «Город без преград», которая носит информационный характер (публикации аналитического и агитационного характера, база, замеры нарушений). Сравнивая «тогда и теперь», информант выделяет инвариантные возможности участия горожан в формировании доступной среды: *«...что сейчас, что пять лет назад [они] сводятся к письмам и запросам»*. Новых ярких протестных акций, перформансов для привлечения внимания к проблемам доступной среды, *«за эти пять лет не замечено»* (КЭ5).

Отношение общества к людям с инвалидностью меняется под влиянием деятельности активистов, просвещения горожан в вопросах универсального дизайна. Люди постепенно начинают понимать, что комфортный город нужен всем: *«Если говорить о менталитете граждан, то благодаря активности нашего брата действительно отношение меняется. Это потому, что мы начали обращать внимание, что доступная среда – это не для инвалидов, это для жителей города»* (СамЭ1). Активные горожане, не имеющие инвалидность, также реализуют свое право на город. Лидирующую роль здесь играют представители велосипедного сообщества, исследователи, руководители социально значимых проектов, эксперты: *«Мои отношения стали более включенными, и это напрямую связано с областью моих профессиональных интересов. Значимым эпизодом изменения восприятия стало участие в прогулке на инвалидных колясках от инициативы “Город без преград”, тогда я на тактильном уровне осознала масштаб и серьезность проблемы»* (КЭ4).

Столкновения в повседневности: динамика инклюзии. Пристальное внимание к тому, как организовано хождение, позволяет увидеть практики микроподстроек, «подлаживаний», которые обычно осуществляют прохожие во избежание столкновений, причем данная практика задействует разные органы чувств [Урри, 2012: 176–177]. Технологии навигации помогают слабовидящим и незрячим людям ориентироваться во времени и пространстве: *«Если предстоящий маршрут незнакомый или очень редко используемый, то сначала изучаю маршрут по карте [ДубльГис]»* (КЭ3).

Настройка социальных коммуникаций сложнее. Некоторые окружающие проявляют нетерпение и недовольство по поводу особых условий передвижения людей с инвалидностью, в том числе темпоральности. В одном примере человек с инвалидностью не успевает сесть в транспорт, который в процессе посадки человека начинает движение (а сколько таких случаев с пожилыми людьми!), причем это связано не с доступностью среды, *«а с тем, что мы живем в нетерпеливом обществе, нетерпеливом ритме. Наши жители в*

России очень торопливы, нам кажется, что все сделаем быстрее и гораздо лучше, чем те, кому оказывается помощь» (СамЭ1). Здесь речь идет о характеристиках времени: скорость, темп, ритм повседневной коммуникации. И это новый акцент в исследовании темпоральности инвалидности и доступной среды.

Подмеченная в одном из рассказов характеристика «нетерпеливого общества» близка описаниям современной жизни, где «системы мобильности все сильнее полагаются на экспертные формы знания» [Урри, 2012: 144], передвижение и коммуникация ускоряются, требуют новых технологий и познаний, где ценятся быстрота, активность, независимость и эффективность. В этой системе человек с инвалидностью трактуется окружающими как нечто постороннее и наделяется смыслами из ряда вон выходящего явления, которому надо либо обязательно помогать (функционирует институт нищенства), либо ускорять и подгонять (нетерпеливые водители), либо возводить в ранг героя.

Как показали исследования [Parr et al., 2003; Paterson, 2012], люди с речевыми нарушениями регулярно подвергаются исключению из повседневных социальных контактов по причине слишком жестких временных рамок, которыми структурируются коммуникации. Согласно нашим данным, аналогичные процессы затрагивают людей с нарушениями слуха, ментальными особенностями, испытывающими трудности с передвижением. Темп речевой коммуникации и скорость передвижения – такие же важные структурные элементы темпоральности, как и городской ландшафт или природный рельеф, только они работают на микроуровне, в повседневных взаимодействиях. Когда эти темпоральные особенности коммуникации отражены, возникает понимание ценности медленной скорости и других причин возникающего дискомфорта, поскольку это столкновение с различием требует приобретения новых знаний и практик [Bigby, Wiesel, 2018].

Речь идет о понимании темпов взаимодействия, которые требуются для людей с особенностями, а также готовности «замедляться». Эта настройка связана с использованием пространства и времени таким образом, чтобы взаимодействия проходили максимально уважительно и удобно для всех участников. Этнометодологическое представление о «необходимом дискомфорте» имеет прикладное значение, поскольку указывает на необходимость пространственно-временной рефлексии особенности коммуникации [Bigby, Wiesel, 2018] с теми, кто оказывает услуги по уходу, заботе о пожилых, людях с трудностями передвижения и особенностями собственно коммуникаций.

Использование темпоральной перспективы на микроуровне позволит лучше понять, как меняются контексты и отношения повседневных взаимодействий и как в них создаются практики социальной инклюзии. Основываясь на концепте встречи-столкновения encounter вслед за И. Гоффманом [Goffman, 2013], мы рассмотрели примеры таких встреч наших информантов с незнакомцами в процессе обычных прогулок по улицам, в торговых центрах или на специально организованных событиях.

Практики публичной мобильности инициируют различные варианты встреч-столкновений. В таких динамических практиках люди с инвалидностью не только присутствуют или участвуют, но и сталкиваются с другими, при этом происходит то, что Гоффман назвал бы практикой делать инклюзию (doing inclusion). Это столкновения между инвалидом и другими людьми и объектами реализуют возможность инклюзии, позволяют ей состояться. Если такие столкновения происходят в местах, где могут исполняться обыденные проекты и активности, их роль для социальной инклюзии еще выше [Soldatic et al., 2019]. Именно об этом – пример нашей информантки из Томска. С ее точки зрения, социальные объекты – это уже признанные места для появления инвалидов, потому что «более привычно. Это как пирамида Маслоу – базовая ступень – еда, то есть магазины, аптеки, больницы, чтобы был базовый уровень» (ТЭ2). Появление информантки, которая использует коляску для передвижения, в кафе, караоке или другом месте досуга, вызывает реакцию: «Какая ты классная, в смысле молодец, что ты выбралась в караоке!.. А это уже другой уровень потребностей, в каком-то культурном взаимодействии и просто отдыхе, потому что моя жизнь – это дом, работа, отдых, в общем-то все, как у обычных людей, просто с ремаркой, что я не хожу, а езжу на коляске» (ТЭ2).

В таких повседневных встречах происходят микроизменения, моментальные инсайты, которые, несмотря на скоротечность и нерегулярность, могут делать незаметного человека знакомым для других и наполнять взаимодействия новыми смыслами [там же, 2019]. Столкновение с инвалидом, выступающим в нетипичной роли, разрывает стереотипы, ломает привычную пространственно-временную модальность, согласно которой человек с инвалидностью должен быть имобилизован или незаметен. Наш томский информант рассказал, что постоянно чувствует удивление и восторг окружающих, сравнивающих с ним своих «здоровых друзей», которые не бегают, не занимаются спортом: *«Получается, что это система, в которой нужно что-то добиваться, преодолевать. А уже как-то начинаешь уставать быть героем, постоянно кому-то что-то доказывать»* (TWA2).

Заключение. Расширение доступности пространства-времени окружающей среды – это одна из центральных задач социальной политики и общественного внимания, усиление равенства и справедливости. На первый взгляд, такая проблематика прежде всего раскрывается в специальных метафорах – барьеры, ограничения, доступ, границы. Однако пространственная логика лишь отчасти позволяет объяснить феномены угнетения и эмансипации, инклюзии и исключения. Социальная модель позволяет картографировать и идентифицировать инвалидизирующие контуры пространственной среды, но недооценивает паттерны угнетения, производимые темпоральными факторами. Темпоральность становится характеристикой не только объектов, технологий и политических приоритетов, но и социального поведения, отношения к инвалидам, повседневного взаимодействия.

Люди с инвалидностью, наши современники и собеседники, раскрывали в своих нарративах связь моментов времени и социальных явлений и процессов, рефлексировали изменения, происходящие в них самих и окружающей среде, в процессах их взаимодействий. От сезона к сезону, в разное время дня доступность городского пространства меняется, возможности комфортного перемещения по улицам ограничиваются или расширяются. С возрастом меняется восприятие различных мест и маршрутов, люди приспосабливаются и становятся более мобильными или теряют уверенность и силы. Там, где городские власти обеспечивают достаточное качество дорожного покрытия, соответствующие нормативам съезды с тротуаров и хорошую освещенность в темное время суток, всем людям, в особенности тем, чья мобильность затруднена, становится спокойнее и удобнее выходить из дома в благоустроенную и доброжелательную среду, в целом их системы мобильности становятся более вариативными и гибкими. Многие перечерчивают карту городской доступности, добиваясь ремонта, меняя окружающую среду своими инициативами, ориентируясь не на индивидуальные, а на общественные интересы. Поколения политических решений отражаются на перекраивании лоскутного одеяла доступной среды – тактильная плитка, скошенные бордюры и пандусы деактуализируются, а архитектурные памятники, театры остаются цитаделью недоступности. Технологии стареют быстрее людей, не всегда успевая обновляться, и то, что недавно казалось облегчением подвижности, может стать препятствием и создать риски.

С годами ментальный образ и отношение общества к инвалидам меняется, терпеливость, принятие и признание растут с тем, как увеличиваются шансы встреч и взаимодействий в повседневности. Когда разнообразие становится привычным, шаблоны меняются, перенастраивается ритм городской жизни. Этому способствует появление людей с инвалидностью в публичных пространствах, и не только присутствие, но контакты, коммуникации и заявление о себе как полноправных современниках. Так меняется содержание социального времени – темпоральность приобретает социальное, инклюзивное измерение.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ [REFERENCES]

- Глазков К.П., Стрельникова А.В. Мобильные методы: движение как часть исследовательской стратегии // Интеракция. Интервью. Интерпретация. 2015. Т. 7. № 10. С. 79–90. [Glazkov K.P., Strelnikova A.V. (2015) Mobile Methods: Movement as a Part of Research Strategy. *Interaktsiya. Interv'yuy. Interpretatsiya* [Interaction. Interview. Interpretation]. Vol. 7. No. 10: 79–90. (In Russ.)]

- Паченков О. Публичное пространство города перед лицом вызовов современности // Новое литературное обозрение. 2012. № 5(117). [Pachenkov O. (2012) Public Urban Space in Front of the Challenges of Modernity. *Novoe literaturnoe obozrenie* [New Literary Review]. No. 5(117). (In Russ.)]
- Урри Дж. Мобильности / Пер. с англ. А.В. Лазарева. М.: Праксис, 2012. [Urry J. (2012) *Mobilities*. Moscow: Praxis. (In Russ.)]
- Ярская В.Н. (ред.) Социальный урбанизм: темпоральный контекст доступности на примере российских городов. М.: Вариант, 2020. [Yarskaya V.N. (ed.) (2020) *Social Urbanism: Temporal Context of Accessibility on the Example of Russian Cities*. Moscow: Variant]
- Ярская-Смирнова В.Н., Ярская-Смирнова Е.Р. Право на город в парадигме мобильности // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2018. № 45. С. 165–173. DOI: 10.17223/1998863X/45/17. [Yarskaya-Smirnova V.N., Yarskaia-Smirnova E.R. (2018) The Right to the City in the Paradigm of Mobility. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya* [Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science]. No. 45: 165–173. DOI: 10.17223/1998863X/45/17. (In Russ.)]
- Ярская-Смирнова В.Н. О роли темпоральности в жизни людей с ограниченными возможностями // Социологические исследования. 2019. № 3. С. 42–48. DOI: 10.31857/S013216250004277-7. [Yarskaya-Smirnova V.N. (2019) On the role of temporality in the lives of people with disabilities. *Sotsiologicheskie issledovaniya* [Sociological Studies]. No. 3: 42–48. DOI: 10.31857/S013216250004277-7. (In Russ.)]
- Bigby C., Wiesel I. (2018) Using the Concept of Encounter to Further the Social Inclusion of People with Intellectual Disabilities: What has been Learned? *Research and Practice in Intellectual and Developmental Disabilities*. Vol. 6. No. 1: 39–51. DOI: 10.1080/23297018.2018.1528174.
- Burch S., Rembis M. (2014) *Disability Histories*. Chicago: University of Illinois Press.
- Goffman E. (2013) *Encounters. Two Studies in the Sociology of Interaction*. Eastford, CT: Martino Fine Books.
- Hickman L., Serlin D. (2019) Towards a Crip Methodology for Critical Disability Studies. In: Ellis K., Garland-Thomson R., Kent M., Robertson R. (eds) *Interdisciplinary Approaches to Disability: Looking towards the Future*. Vol. 2. Abingtonk; New York: Routledge: 131–141.
- Hughes B. (2019) *A Historical Sociology of Disability: Human Validity and Invalidity from Antiquity to Early Modernity*. London: Routledge.
- Kafer E. (2013) *Feminist, Queer, Crip*. Bloomington: Indiana Univ. Press.
- Parr S., Duchan J., Pound C. (2003) Time Please! Temporal Barriers in Aphasia. In: Parr S., Duchan J., Pound C. (eds) *Aphasia inside out: Reflections on Communication Disability*. Maidenhead, UK: Open Univ. Press: 127–143.
- Paterson K. (2012) It's about Time! Understanding the Experience of Speech Impairment. In: Watson N., Vehmas S. (eds) *Routledge Handbook of Disability Studies*. London: Routledge: 165–177.
- Priestley M. (2001) *Disability and the Life Course*. Cambridge: Cambridge Univ. Press.
- Soldatic K., Magee L., Robertson Sh. (2019) Temporal Negotiations of Social Inclusion: Temporality, Mobility, and Encounter in Disabled People's Lifeworlds. Commentary on "Using the Concept of Encounter" (Bigby & Wiesel, 2018). *Research and Practice in Intellectual and Developmental Disabilities*. Vol. 6. No. 1: 52–57. DOI: 10.1080/23297018.2019.1580150.

Статья поступила: 15.06.20. Финальная версия: 24.12.20. Принята к публикации: 25.01.21.

MODES OF TEMPORALITY IN THE NARRATIVES ABOUT THE ACCESSIBILITY OF THE URBAN ENVIRONMENT

YARSKAYA-SMIRNOVA V.N.*, IARSKAIA-SMIRNOVA E.R.**

**Yuri Gagarin State Technical University of Saratov, Russia; **National Research University Higher School of Economics, Moscow, Russia*

Valentina N. YARSKAYA-SMIRNOVA, Doc. Sci. (Philos.), Prof., Yuri Gagarin State Technical University of Saratov, Saratov, Russia (jarskaja@mail.ru); Elena R. IARSKAIA-SMIRNOVA, Doc. Sci. (Sociol.), Prof., Head of International Laboratory of Social Integration Research, National Research University Higher School of Economics, Moscow, Russia (elena.iarskaia@gmail.com; eiarskaia@hse.ru).

Acknowledgements. The research was supported by the Russian Science Foundation, project No. 18-18-00321.

Abstract. Expanding the accessibility of space and the environment is one of the central tasks of social policy and public attention, strengthening equality and justice. At first glance, such a problem is primarily revealed in spatial metaphors, such as barriers, restrictions, access, borders. However, spatial logic allow us only partially to explain the phenomena of oppression and emancipation, inclusion and exclusion. The social model allows us to map and identify the disabling contours of the spatial environment, but underestimates the patterns of oppression produced by temporal factors. The article reveals the cognitive possibilities of the temporal turn in studies of the accessibility of the urban environment for people with disabilities. The analysis is based on qualitative interviews in four Russian cities with activists from among people with disabilities. The authors consider the opinions of informants about how relations with social and physical environment evolve over the years, and what changes occur in the moments of everyday interaction. We are talking about such macrostructural characteristics of temporality as age, season, obsolescence and updating of technologies, changes of political priorities. Other modes of temporality are the changes in social attitudes, the intensity of collective actions, the transformation of the perception of accessible environment. The prospect of everyday temporality is revealed at the micro level of social interactions, in which the rhythms of urban life are violated and reconfigured, subjectivity is revealed, and acts of exclusion and inclusion occur. People with disabilities, our contemporaries and interlocutors, in their narratives, revealed the connection between moments of time and social phenomena and processes, reflected the changes occurring in themselves and the environment in the processes of their interactions.

Keywords: temporality, time, disability, activists, city, mobility, everyday life, qualitative interview, walk along interview.

Received: 15.06.20. Final version: 24.12.20. Accepted: 25.01.21.

ХРОНИКИ КАРАНТИНА И ОБСЕРВАЦИИ В ДОМЕ-ИНТЕРНАТЕ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ

КИЕНКО Татьяна Сергеевна – кандидат социологических наук, доцент, кафедра социальных технологий Южного федерального университета, Ростов-на-Дону, Россия (tskienko@sfnedu.ru); САВИНА Елена Анатольевна – директор Государственного бюджетного учреждения социального обслуживания населения Ростовской области «Таганрогский дом-интернат для престарелых и инвалидов № 2», Таганрог, Россия (e_lena65@mail.ru).

Аннотация. В статье описаны и проанализированы будни карантина и обсервации в одном из южно-российских государственных учреждений социального обслуживания – Таганрогском доме-интернате для престарелых и инвалидов посредством оптики «помогающего». Авторы сделали упор на качественный, а не количественный срез. По мнению опрошенных сотрудников данного учреждения, наиболее остро пожилые люди воспринимали невозможность покидать интернат, проблемы были вызваны также сокращением доступа благополучателей к медицинской диагностике и помощи специалистов-медиков, сужением социальной коммуникации и досуга. Сложности спровоцировали возросшая нагрузка на персонал, опасения возможной вспышки заболевания в локальном пространстве дома-интерната. К числу успешных находок респонденты относят укрепление семейной атмосферы заботы, персонализацию отношений, новые форматы социального партнерства, технологии социокультурной работы и коммуникаций («концерты под балконом», виртуальные экскурсии и встречи, зарядка и досуг на свежем воздухе, интернет-коммуникации).

Ключевые слова: пожилые люди • дом-интернат для престарелых и инвалидов • дом престарелых • долгосрочный уход • пандемия COVID-19 • карантин • обсервация • вторичный ущерб изоляции

DOI: 10.31857/S013216250012513-7

Пожилые люди и право на старение в условиях COVID-19: синдемический подход.

Для пожилых людей COVID-19 представляет огромную опасность, особенно в условиях локальных социальных пространств заботы. Так, по мнению Б. Плагг и ее коллег, из-за отсутствия ресурсов и стратегии профилактики внутрибольничных инфекций 3859 жителей домов престарелых в Италии с 1.02.2020 по 6.04.2020 скончались от коронавируса несмотря на изоляцию [Plagg et al., 2020: 1]. Канадские ученые заявляют, что COVID-19 поражает именно жителей домов длительного ухода, хотя указывают и на высокие риски для пожилых, живущих у себя дома [Flint et al., 2020].

Люди старшего возраста страдают чаще нескольких хронических заболеваний, при сочетании которых с вирусом SARS-CoV-2 растут риски осложнений и синдемических эффектов (синдемия – синергетическое взаимодействие заболеваний с социальными условиями и биопсихологическими последствиями неравенства, дискриминации и структурного насилия [Singer, Clair 2003]). Нельзя забывать о проблемах вторичного вреда (secondary damage caused through isolation): снижении социально-психологического благополучия пожилых людей, эмоциональных и когнитивных нарушений из-за отказа от социального взаимодействия и умственной стимуляции. Это указывает на необходимость разумных и дифференцированных ограничений на фоне максимального расширения свободы [Armitage, Nellums, 2020; Plagg et al., 2020; Голубев, Сидоренко, 2020].

В научном дискурсе обсуждаются негативные и позитивные следствия пандемии. С одной стороны, эксперты прогнозируют рост альтруизма и практик взаимопомощи,

реформирование социального обеспечения и налогообложения [Matthewman, Huppertz, 2020: 2]; трансформацию социальной структуры и восстановление традиционных институтов «послекоронавирусного мира», рост горизонтальной солидарности, но также усиление рисков социальной напряженности, расизма, национализма, эйджизма [Волков, Курбатов, 2020: 29]. С другой стороны, Дж. Зинн заметил, что исключение людей из социальной жизни превращается в «новую норму», под видом защиты и безопасности узакониваются ограничения свободы и неравенство [Zinn, 2020].

Пожилые россияне перед лицом пандемии стали объектом особой «заботы», проявляемой, как правило, в форме дополнительных барьеров и ограничений. Люди старше 65 лет переводились в режим бесконтактной работы или увольнялись, ограничивались их передвижения, коммуникации. Такая практика становится привычной, провоцируя возрастное неравенство, эйджизм, снижение качества жизни. Режим ограничений для пожилых людей А.Г. Голубев и А.В. Сидоренко назвали проявлением возрастного «апартеида» и «геноцида» [Голубев, Сидоренко, 2020: 406]. Право на старение в условиях ограничивающей заботы приобретает особенную остроту.

Дом-интернат для престарелых как пространство рисков в условиях COVID-19.

Авторы предприняли попытку описать жизнь дома-интерната, актуальные проблемы и новые технологии в свете рисков COVID-19 весной, летом и осенью 2020 г. За основу взяты опросы сотрудников Государственного бюджетного учреждения социального обслуживания населения Ростовской области «Таганрогский дом-интернат для престарелых и инвалидов № 2».

Как правило, институциональные учреждения ухода вызывают ассоциации с пронумерованным бельем, однообразным питанием, бытом и досугом, несвободой и унижениями и рассматриваются как последнее средство, если нет возможности прибегнуть к общинным и семейным формам [Zhou, Walker, 2016]. Это последний шанс в борьбе за жизнь, «потому что это все уже, если ты и помыться не можешь, тогда дом престарелых – и все» [Галкин, 2020: 73]. Однако и на эту форму ухода есть запрос со стороны маломобильных, одиноких, малообеспеченных пожилых россиян¹. В русле социальной модели старения и политики активного гражданства в мировой повестке продвигаются принципы деинституционализации, инклюзии, отказа от локализации сообществ в стенах стационаров [Report..., 2009].

С российскими домами-интернатами можно сопоставить западные учреждения длительного/долгосрочного ухода (long-term care) [Seok, 2010; Van der Wolf et al., 2019; Lum et al., 2020], дома престарелых (nursing home) [Mazurek et al., 2015; Klaassens, Meijering, 2015; Uekusa, 2019; Klemmt et al., 2020], дома-интернаты (residential home) [Abbey et al., 1999; Wai-Yung Kwong, Yui-Huen Kwan, 2002; Ghavarskhar et al., 2018]. Для этих учреждений характерны проблемы локализации социальных контактов, зависимости от посторонней помощи, малой мобильности, объектности, отсутствия личного пространства. Все это может сглаживаться чувством альтернативного дома и интеграцией, автономией, контролем жителей в условиях лично-ориентированной заботы, мобильности, самостоятельности, возможности выхода за физические и социальные границы учреждения [Klaassens, Meijering, 2015; Киенко, Рудакова, 2020]. Впрочем, определяющую роль играют не формы устройства и проживания, а качество социальной поддержки и отношений [Petersen, Warburton, 2012], «пространство активности» [Sturge et al., 2020], семейные и дружеские связи, соседство [Ward et al., 2018].

В условиях пандемии проявилась парадоксальность ситуации. Для безопасности пожилых благополучателей домов-интернатов потребовались изоляция и ограничения личных контактов, в то время как риски вторичных эффектов актуализируют двигательную, когнитивную, социальную активность, как и расширение мобильности, включенности, свободы и права выбора. Однако трагические случаи заражений и высокой смертности пожилых в условиях стационарных форм в 2020 г. [Plagg et al., 2020: 1; Flint et al., 2020]

¹ В Российской Федерации в 2019 г. насчитывалось 1249 стационарных учреждений социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов, в которых получали услуги 280 тысяч взрослых благополучателей. URL: <https://rosstat.gov.ru/folder/13877> (дата обращения: 10.10.2020).

потребовали жестких противоэпидемических мер. В Гонконге в 2020 г. не зарегистрировано ни одного случая заражения в домах-интернатах или иных учреждениях долгосрочного ухода. Опыт эпидемии SARS-2003 (атипичная пневмония) показал, что заражение пожилых сопровождалось тяжелыми последствиями и происходило преимущественно во время посещения больниц, поэтому в домах-интернатах сразу установили жесткие ограничения и правила (гигиена, изоляция, запрет на личные визиты), сократили контакты с внешним медицинским персоналом, увеличили штат для персонифицированного ухода и гигиены [Lum et al., 2020: 376–378].

Преодолеть риски COVID-19 невозможно без организационной, финансовой, методической, социальной, психологической поддержки субъектов социальной заботы. Часто в кризисных ситуациях в домах-интернатах отмечалась неготовность опекунов, персонала к защите подопечных и эффективной деятельности, неустойчивость и непредсказуемость их поведения [Uekusa, 2019]. Важно учесть неоднозначный китайский опыт оплаты медицинских и социальных услуг: в «успешном» Гонконге принцип финансирования «деньги следуют за пожилыми», т.е. те сами выбирают поставщиков социальных услуг и оплачивают их услуги ваучерами, в условиях пандемии привел к банкротству провайдеров [Lum et al., 2020: 378]. В России также высок риск сокращения некоммерческого и частного сектора таких услуг (особенно в регионах, средних и малых городах, сельской местности), хотя преимущества права выбора для получателей и свободной конкуренции между поставщиками стационарных социальных услуг очевидны [Seok, 2010].

Материалы и методы. С 24 августа по 24 ноября 2020 г. проводились опросы и интервью с сотрудниками ГБУСОН РО «Таганрогский ДИПИ № 2»². Он был основан в 1969 г. на территории в 1,26 га расположены два жилых корпуса, соединенных переходами, столовая, часовня, беседки, спортплощадки, хозпостройки; площадь общественного пользования 7038,6 метра, жилая 1931,7 метра³. Порядок зачисления, условия проживания и оплаты утверждаются на федеральном и региональном уровнях⁴. Финансирование идет из областного бюджета (из расчета 305 128,29 руб. в год, или 25,4 тыс. руб. в месяц, на 1 жителя), социальные услуги предоставляются на условиях частичной оплаты, ежемесячный размер которой не может превышать 75% среднедушевого дохода; дополнительные платные услуги не оказываются. Дом-интернат рассчитан на 350 мест в геронтологическом (30 жителей), общем (120 жителей) и отделениях милосердия (8 отделений по 25 человек, 200 жителей). Люди проживают в двухместных палатах (84 комнаты) или по три-четыре человека (50 комнат), палаты оснащены в соответствии со стандартами (кровати, сплит-системы, телевизор, холодильник, радио и пр.). Штатное расписание включает в себя 180 сотрудников, имеющих высшее (31 чел.), среднее специальное (57 чел.), среднее общее (91 чел.) образование. В связи с риском заражения COVID-19 с 18 апреля 2020 г. дом-интернат перешел к карантинному режиму работы, в период со 2 июля по 7 сентября функционировал в формате обсервации⁵.

²В Ростовской области в 2020 г. функционируют 97 учреждений социального обслуживания: 64 центра осуществляют социальное обслуживание 85 тысяч человек в нестационарной, срочной форме, на дому (на их базе действует 71 социально-реабилитационное отделение) и 33 учреждения осуществляют стационарное социальное обслуживание 5746 граждан пожилого возраста и инвалидов, из них 19 домов-интернатов и 14 психоневрологических интернатов.

³Министерство труда и социального развития Ростовской области. ГБУСОН РО «Таганрогский ДИПИ № 2». URL: <http://mintrud.donland.ru/Default.aspx?pageid=122627> (дата обращения: 15.11.2020).

⁴Федеральный закон РФ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» № 442-ФЗ от 28.12.2013; Закон Ростовской области «О социальном обслуживании граждан в Ростовской области» от 03.09.2014 № 222-3С; Постановление Правительства Ростовской области от 27.11.2014 № 785 «Об утверждении Порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг» (с изм. на 31.08.2020) и пр.

⁵Режимы карантина и обсервации вводились локальными приказами Министерства труда и социального развития Ростовской области. Карантинные мероприятия включали ограничения контактов благополучателей с посетителями, запрет выхода за пределы учреждения (за исключением

В опросе участвовало 19 сотрудников с различным уровнем образования и функционалом (характеристика информантов в Приложении 1), выборка целевая, представлены все отделения. Авторская методика содержала 10 открытых вопросов: о трудностях, с которыми столкнулись учреждение, сотрудники, жители в связи с COVID-19; о востребованных, сохраненных, развитых формах работы и сотрудничества, а также о тех, от которых пришлось отказаться; о реакции жителей на угрозу пандемии, изоляцию, ограничения; о динамике жалоб, самочувствия, здоровья и смертности; о том, какие внутренние и внешние факторы помогли преодолеть или усугубляли трудности карантина и обсервации, и пр. Из-за карантинных ограничений респонденты давали ответы в письменном виде, их мнения уточнялись по телефону, в приложении WhatsApp, по электронной почте, в личных беседах за пределами интерната.

Результаты и обсуждение. Анализ данных выявил два блока наиболее актуальных проблем: жителей и сотрудников дома-интерната. Для благополучателей они связаны с медицинскими аспектами обсервации: стал невозможен доступ к медицинской диагностике и помощи узких специалистов. *«Главные трудности возникли в связи с ограничениями доступа в интернат врачей узких специальностей, лаборантов, специалистов УЗИ, флюорография была отложена на 4–5 месяцев»* (И. № 1). Без обследований и поддерживающего лечения увеличиваются риски для здоровья, в то же время локализация позволяет избежать заражения в больницах при сохранении социально-медицинского обслуживания силами штатных специалистов.

Вторая ключевая проблема связана с изоляцией, сокращением коммуникаций, социального и культурного пространства жизни благополучателей: *«Трудность основная – закрытое пространство и общение»* (И. № 14); *«Самое трудное для пожилых – изоляция, были негативные реакции, помогло вовлечение в общественно-культурную жизнь»* (И. № 18). Жители дома-интерната до изоляции могли контактировать с родными и близкими, выходить на прогулки, экскурсии, делать покупки и принимать участие в спортивных, культурных, волонтерских мероприятиях вне интерната; на базе интерната проводились конкурсы, конференции, взаимодействие с волонтерами, исследователями⁶. С введением карантина и обсервации *«полностью пришлось отказаться от экскурсий, социального туризма»* (И. № 2); *«прекратились контакты с волонтерами в реальном времени»* (И. № 4); *«не смогли принять участие в традиционной уборке памятников и могил героев войны совместно с волонтерами»* (И. № 13). Локализация жизни вызывала отторжение, непринятие пандемии как угрозы, нежелание соблюдать масочный режим и гигиену: *«ограничение свободы передвижения по городу вызвало негативные реакции»* (И. № 12); *«приходилось убеждать в том, что ситуация скоро изменится и они смогут увидеть близких людей»* (И. № 2).

Благополучатели не придавали значения заболеванию и его опасности: *«на угрозу пандемии реакции не было, негативная реакция была на угрозы изоляции»* (И. № 1); *«полное отрицание угрозы, существования пандемии»* (И. № 8); *«неверие в серьезность ситуации»* (И. № 9); *«было очень тяжело донести всю серьезность о заболевании COVID»* (И. № 10).

В интернате начали искать новые форматы досуга, коммуникации, партнерства: *«Помогают благотворители, фонд “Старость в радость” передал в дар гаджеты, СИЗы, организует онлайн встречи, конкурсы, фонд “Детская деревня”, артисты, творческие коллективы из Таганрога и по всей России»* (И. № 10). За время обсервации под стенами интерната

случаев обращения в медицинские учреждения в сопровождении медицинского работника на специальном транспорте), усиление профилактических мер (от гигиенических процедур, масочного режима, разграничения потоков сотрудников и замеров температуры до социальной дистанции в групповых мероприятиях и переноса питания в палаты). Обсервация предусматривала полную изоляцию в учреждении не только благополучателей, но и сотрудников в форме введения 14-дневных рабочих смен на условиях постоянного проживания. Разработан план экстренных мероприятий на случай заражения, который позволяет локализовать очаг заболевания в течение нескольких минут.

⁶ См. официальный сайт ГБУСОН РО «Таганрогский ДИПИ № 2». URL: <https://tdip2.mnd.socinfo.ru/> (дата обращения: 15.11.2020).

прошло более 30 концертов творческих коллективов, артистов театра и кино: «концерты под балконом» (И. № 4, И. №10 и др.). Большая территория и оснащённость интерната позволили перенести на улицу досуговые, интеллектуальные и спортивные мероприятия, гулять, читать, трудиться на свежем воздухе, для немобильных людей прогулки на колясках и кроватях проводятся в сопровождении сотрудников: «сохранились и расширились формы гарденотерапии, ландшафтотерапии, мастерские чистоты на территории дома, вязаные вещи переправлялись в дома малютки и приют, выставки творчества стали проводиться в онлайн формате» (И. № 13); «в теплое время года на свежем воздухе проходит утренняя зарядка, дартс, финская ходьба, подвижные и настольные игры» (И. № 15). Развитие новых технологий досуга и коммуникаций как положительный итог обсервации отмечали практически все сотрудники: «социокультурные форматы вышли на новый уровень» (И. № 6). Личные контакты переведены в телефонный и онлайн-режим, но не у всех есть персональные гаджеты, поэтому для общения с родными, при поддержке БФ «Старость в радость», в отделениях милосердия была открыта Skype-линия⁷. Организация групповых мероприятий онлайн, в палатах, на улице требует соблюдения дистанции, учета индивидуальных особенностей (маломобильности, нарушений зрения, слуха), сезонных ограничений.

Описывая реакции жителей на ограничения, сотрудники отмечают: «самочувствие почти не изменилось, но в настроениях нарастала напряженность от невозможности выйти за пределы интерната, встреч с родственниками» (И. № 3); «структура жалоб не изменилась, самочувствие оставалось прежним, но у некоторых пожилых людей проявлялась агрессия, депрессивные проявления» (И. № 5); «фон настроения снижался, сказывается отсутствие возможности общения с родственниками и выхода за пределы учреждения» (И. № 8); «настроение было упадническим в начале пандемии, после люди осознали, что наши действия им во благо, <...> у пожилых терпение и закалка советская, это помогало» (И. № 9).

По мнению персонала дома-интерната, удалось избежать вторичных эффектов: «показатели заболеваемости и смертности даже немного снизились, если рассматривать сезон» (И. № 6). Лучше ограничения переживали активные постояльцы, «которые имеют крепкие семейные и дружеские связи, сохранённые когнитивные функции и получающие удовольствие от самосовершенствования» (И. № 4); «те, у которых есть различные хобби и занятия, легче переносят изоляцию» (И. № 10).

Жители домов престарелых отмечают меньше проблем, но больше потребностей и придают большее значение дружеским связям и психологическим стрессам, чем персонал [Mazurek et al., 2015]. Изоляция послужила толчком к развитию семейных отношений и форм устройства: «около 10% подопечных вернулись в семьи, те, у кого было куда вернуться» (И. № 11).

Расширение функционала, психологическое напряжение, усиленный контроль за здоровьем и гигиеной повысили нагрузку на персонал, несколько сотрудников уволились. Приходилось совмещать несколько функций: «основной трудностью является нехватка сотрудников» (И. № 4); «человеческие ресурсы использовались и продолжают использоваться максимально не только касательно должностных инструкций» (И. № 19). Были усилены меры гигиены и социально-бытовое обслуживание: «удалось сохранить все уборки, купание, стрижки, новые протоколы и требования СанПин» (И. № 2); «уборки стали проводиться чаще» (И. № 18). При «минимизации внешних контактов общение стало конкретным, направленным на каждого человека» (И. № 14), когда «получатели социальных услуг были лишены общения с друзьями, родными, единственной подмогой стали сотрудники нашего учреждения» (И. № 10). Сотрудники опасались заразить благополучателей, «тяжело переносили изоляцию от семьи, детей, родителей» (И. № 16), но отмечали большие преимущества обсервации для обеспечения безопасности жителей. Справляться с нагрузкой

⁷ БУСОН РО «Таранрогский ДИПИ № 2»: официальный сайт. Обратная связь с получателями социальных услуг. URL: <https://tdip2.rnd.socinfo.ru/svazpsy> (дата обращения: 29.11.2020).

помогали «вовлечение в общественную жизнь», «полная загруженность» (И. № 7); «в период пандемии, во время работы вахтами, проживая на территории интерната, наладилось более неформальное общение с благополучателями и коллегами» (И. № 10); «доверительные отношения с пожилыми людьми, сплоченность коллектива» (И. № 17). Оплата труда в условиях обсервации была значительно повышена за счет федеральных и региональных доплат. В 2020 г. в описанном доме-интернате не было обнаружено заболевших COVID-19.

Выводы. Таганрогский дом-интернат для престарелых и инвалидов № 2 перед лицом COVID-19 столкнулся с серьезными проблемами, которые потребовали создания действенных протоколов, жестких профилактических мер, пересмотра организации труда и образа жизни, методов и форм социального обслуживания и взаимодействия с внешним миром, но способствовали развитию новых технологий социокультурной работы и коммуникаций, семейной атмосферы заботы, восстановлению семейных связей. Во время карантина и обсервации удалось сохранить все виды обслуживания и ухода, соблюдать протоколы, минимизировать риски заражения, поддерживать здоровье и самочувствие жителей без внешнего профессионального медицинского лечения и диагностики, сглаживать вторичные последствия и поддерживать когнитивную, социальную, физическую активность и мобильность жителей. В то же время в условиях изоляции невозможно обеспечить личные контакты, а это – дополнительный фактор риска. Даже сейчас, при реализации «благоприятного сценария», обострились проблемы пожилых постояльцев (медицинской помощи, коммуникаций с близкими, активности), возросли расходы, персонал работает в условиях повышенной нагрузки. Несмотря на организационно-методическую и материально-техническую готовность, нельзя полностью исключить риск попадания в дом-интернат коронавируса и предсказать последствия. Возможностей для мобильности в пределах территории интерната в осенне-зимний период становится меньше. К слову, в России не каждый государственный дом-интернат для престарелых имеет свой участок, оборудование, квалифицированный персонал, накопленные контакты и технологии. Перед домом-интернатом остро стоят вопросы обеспечения достойных условий жизни, таких как мобильность, включенность, свобода и право выбора. Большую роль в обеспечении успешного прохождения пандемии играют ситуативные и региональные факторы (своевременность принятия решений об адекватных режимах изоляции, финансирование, обеспечение средствами индивидуальной защиты (СИЗ), наличие территории, жилых и специализированных площадей, материально-технических условий), но ключевым ресурсом домов-интернатов для престарелых являются квалифицированные и мотивированные сотрудники.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Характеристика информантов (должность; образование; стаж работы (полных лет): общий/ в системе социального обслуживания/в должности; пол; возраст в годах)

- № 1 – специалист по социальной работе, образование высшее (педагогическое; социальное), стаж 27/16/5, жен., 51.
- № 2 – старшая медсестра отделения милосердия, образование среднее специальное (медицинское), стаж 36/24/24, жен., 56.
- № 3 – специалист по социальной работе, образование высшее (педагогическое; социальное), стаж 38/12/2; жен., 57.
- № 4 – психолог отделения милосердия, образование высшее (психологическое), стаж 26/26/26, жен., 50.
- № 5 – психолог, образование высшее (психологическое), стаж 5/3/1, жен., 39.
- № 6 – заведующая отделением милосердия, образование высшее (социальное), стаж 25/15/1, жен., 48.
- № 7 – психолог, образование высшее (психологическое), стаж 27/26/26, жен., 50.
- № 8 – заведующая отделением милосердия, образование высшее (медицинское), стаж 42/25/25, жен., 64.
- Информант № 9 – старшая медицинская сестра, образование среднее специальное (медицинское), стаж 32/5/4, жен., 50.
- № 10 – санитарка, образование среднее, стаж 6/1/1, жен., 35.

- № 11 – директор, образование высшее (управленческое, социономическое), стаж 36/36/19, жен., 55.
№ 12 – заместитель директора по медицинской части (главврач), образование высшее (медицинское), стаж 39/14/14, жен., 64.
№ 13 – трудинструктор, образование высшее (педагогическое), стаж 42/12/12, жен., 62.
№ 14 – культорганизатор, образование среднее специальное (педагогическое), стаж 30/13/13, жен., 64.
№ 15 – инструктор по лечебной физкультуре, образование среднее специальное (медицинское), стаж 43/8/8, жен., 63.
№ 16 – старшая медицинская сестра, образование среднее специальное (медицинское), стаж 36/26/26, жен., 56.
№ 17 – специалист по СДУ (системе долговременного ухода), образование высшее (педагогическое), стаж 25/12/1, жен., 43.
№ 18 – санитарка, образование среднее, стаж 10/2/2, жен., 30.
№ 19 – медсестра общего отделения, образование среднее специальное (медицинское), стаж 12/12/12, жен., 35.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ [REFERENCES]

- Волков Ю.Г., Курбатов В.И. Глобальная социология пандемии: отечественные и зарубежные сценарии и тренды посткоронавирусного мира // Гуманитарий Юга России. 2020. Т. 9. № 2. С. 17–32. DOI: 10.18522/2227-8656.2020.2.1. [Volkov Yu.G., Kurbatov V.I. (2020) Global Pandemic Sociology: Domestic and Foreign Scenarios and Trends of the Post-Coronavirus World. *Gumanitarniy Yuga Rossii* [Humanitarians of the South of Russia]. Vol. 9. No. 2: 17–32. DOI: 10.18522/2227-8656.2020.2.1. (In Russ.)]
- Галкин К. Режимы заботы и самозаботы при отдельном проживании пожилых людей в периферийных поселениях // Социологические исследования. 2020. № 9. С. 70–78. DOI: 10.31857/S013216250009290-2. [Galkin K. (2020) Modes of Self-Care and Care of the Elderly People Living Separately in Peripheral Settlements. *Sotsiologicheskie issledovaniya* [Sociological Studies]. No. 9: 70–78. DOI: 10.31857/S013216250009290-2. (In Russ.)]
- Голубев А.Г., Сидоренко А.В. Теория и практика старения в условиях пандемии COVID-19 // Успехи геронтологии. 2020. Т. 33. № 2. С. 397–408. DOI: 10.34922/AE.2020.33.2.026. [Golubev A.G., Sidorenko A.V. (2020) Theory and Practice of Aging upon COVID-19 Pandemic. *Uspekhi Gerontologii* [Advances in Gerontology]. Vol. 33. No. 2: 397–408. DOI: 10.34922/AE.2020.33.2.026. (In Russ.)]
- Киенко Т.С., Рудакова Р.М. Субъективное благополучие пожилого жителя российского дома-интерната // Журнал исследований социальной политики. 2020. Т. 18. № 2. С. 255–268. DOI: 10.17323/727-0634-2020-18-2-255-268. [Kienko T., Rudakova R. (2020) The Subjective Well-Being of Elderly Residents in Russian Nursing Homes. *Zhurnal issledovaniy social'noj politiki* [The Journal of Social Policy Studies]. Vol. 18. No. 2: 255–268. DOI: 10.17323/727-0634-2020-18-2-255-268. (In Russ.)]
- Abbey A., Schneider J., Mozley C. (1999) Visitors' Views on Residential Homes. *The British Journal of Social Work*. Vol. 29. No. 4: 567–579. DOI: 10.1093/bjsw/29.4.567.
- Armitage R., Nellums L.B. (2020) COVID-19 and the Consequences of Isolating the Elderly. *The Lancet Public Health*. Vol. 5. No. 5: e256. DOI: 10.1016/S2468-2667(20)30061-X.
- Bredewold F., Verplanke L., Kampen T., Tonkens E., Duyvendak J.W. (2020) The Care Receivers Perspective: How Care-Dependent People Struggle with Accepting Help from Family Members, Friends and Neighbours. *Health and Social Care in the Community*. Vol. 28. No. 3: 762–770. DOI: 10.1111/hsc.12906.
- Ghavarshkar F., Matlabi H., Gharibi F. (2018) A Systematic Review to Compare Residential Care Facilities for Older People in Developed Countries: Practical Implementations for Iran. *Cogent Social Sciences*. Vol. 4. No. 1. Article no. 1478493. DOI: 10.1080/23311886.2018.1478493.
- Flint A.J., Bingham K.S., Iaboni A. (2020) Effect of COVID-19 on the Mental Health Care of Older People in Canada. *International Psychogeriatrics*. Vol. 32. No. 10: 1113–1116. DOI: 10.1017/S1041610220000708.
- Klaassens M., Meijering L. (2015) Experiences of Home and Institution in a Secured Nursing Home Ward in the Netherlands: A Participatory Intervention Study. *Journal of Aging Studies*. Vol. 34: 92–102. DOI: 10.1016/j.jaging.2015.05.002.
- Klemmt M., Henking T., Heizmann E., Best L., van Oorschot B., Neuderth S. (2020) Wishes and Needs of Nursing Home Residents and their Relatives Regarding End-of-life Decision-making and Care Planning – A Qualitative Study. *Journal of Clinical Nursing*. Vol. 29. No. 13–14: 2663–2674. DOI: 10.1111/jocn.15291.
- Lum T., Shi Ch., Wong G., Wong K. (2020) COVID-19 and Long-Term Care Policy for Older People in Hong Kong. *Journal of Aging and Social Policy*. Vol. 32. No. 4–5: 373–379. DOI: 10.1080/08959420.2020.1773192.
- Matthewman S., Huppatz K. (2020) A Sociology of COVID-19. *Journal of Sociology*. Vol. 1. No. 9: 1–22. DOI: 10.1177/1440783320939416.

- Mazurek J., Szcześniak D., Talarska D., Wieczorowska-Tobis K., Kropińska S., Kachaniuk H., Rymaszewska J. (2015) Needs Assessment of Elderly People Living in Polish Nursing Homes. *Geriatric Mental Health Care*. Vol. 2. No. 3–4: 9–15. DOI: 10.1016/j.gmhc.2014.12.001.
- Petersen M., Warburton J. (2012) Residential Complexes in Queensland, Australia: A Space of Segregation and Ageism? *Ageing and Society*. Vol. 32. No. 1: 60–84. DOI: 10.1017/S0144686X10001534.
- Plagg B., Engl A., Piccoliori G., Eisendle K. (2020) Prolonged Social Isolation of the Elderly During COVID-19: Between Benefit and Damage. *Archives of Gerontology and Geriatrics*. Vol. 89. Article no. 104086. DOI: 10.1016/j.archger.2020.104086.
- Report of the Ad Hoc Expert Group on the Transition from Institutional to Community-based Care. (2009) European Commission. URL: https://deinstitutionalisationdotcom.files.wordpress.com/2017/11/report-fo-the-ad-hoc_2009.pdf (accessed 02.09.2020).
- Seok J.E. (2010) Public Long-Term Care Insurance for the Elderly in Korea: Design, Characteristics, and Tasks. *Social Work in Public Health*. Vol. 25. No. 2: 185–209. DOI: 10.1080/19371910903547033.
- Singer M., Clair S. (2003) Syndemics and Public Health: Reconceptualizing Disease in Bio-Social Context. *Medical Anthropology Quarterly*. Vol. 17. No. 4: 423–441. DOI: 10.1525/maq.2003.17.4.423.
- Sixsmith J., Sixsmith A., Fänge A.M., Nauman D., Kucsera C., Tomson S., Haak M., Dahlin-Ivanoff S., Woolrych R. (2014) Healthy Ageing and Home: The Perspectives of Very Old People in Five European Countries. *Social Science and Medicine*. Vol. 106: 1–9. DOI: 10.1016/j.socscimed.2014.01.006.
- Sturge J., Klaassens M., Lager D., Weitkamp G., Vegter D., Meijering L. (2020) Using the Concept of Activity Space to Understand the Social Health of Older Adults Living with Memory Problems and Dementia at Home. *Social Science and Medicine*. Article no. 113208. DOI: 10.1016/j.socscimed.2020.113208.
- Uekusa Sh. (2019) Exploring Disasters through the Eyes of Residential Nursing Home Caregivers. *Social Work in Public Health*. Vol. 34. No. 6: 1–13. DOI: 10.1080/19371918.2019.1635942.
- Van der Wolf E., van Hooren S.A.H., Waterink W., Lechner L. (2019) Well-being in Elderly Long-term Care Residents with Chronic Mental Disorder: A Systematic Review. *Ageing and Mental Health*. Vol. 23. No. 3: 287–296. DOI: 10.1080/13607863.2017.1408773.
- Ward R., Clark A., Campbell S., Graham B., Kullberg A., Manji K., Rummery K., Keady J. (2018) The Lived Neighborhood: Understanding How People with Dementia Engage with Their Local Environment. *International Psychogeriatrics*. Vol. 30. No. 6: 867–880. DOI: 10.1017/S1041610217000631.
- Wai-Yung Kwong E., Yui-Huen Kwan A. (2002) A Review of Private Residential Care in Hong Kong. *Journal of Aging and Social Policy*. Vol. 13. No. 4: 73–89. DOI: 10.1300/J031v13n04_05.
- Zinn J.O. (2020) "A Monstrous Threat": How a State of Exception Turns into a "New Normal". *Journal of Risk Research*. Vol. 23. No. 7–8: 1083–1091. DOI: 10.1080/13669877.2020.1758194.
- Zhou J., Walker A. (2016) The Need for Community Care Among Older People in China. *Ageing and Society*. Vol. 36. No. 6: 1312–1332. DOI: 10.1017/S0144686X15000343.

Статья поступила: 28.10.20. Принята к публикации: 09.12.20.

CHRONICLES OF QUARANTINE AND SURVEILLANCE IN A RUSSIAN RESIDENTIAL HOME FOR THE ELDERLY AND DISABLED

KIENKO T.S.*, SAVINA E.A.**

**Southern Federal University, Russia; **Taganrog Nursing Home for Aged and Disabled People No. 2, Russia*

Tatyana S. KIENKO, Cand. Sci. (Sociol.), Assoc. Prof., Department of Social Technologies, Southern Federal University, Rostov-on-Don, Russia (tskienko@sfedu.ru); Elena A. SAVINA, Director of the Taganrog Nursing Home for Aged and Disabled People No. 2, Taganrog, Russia (e_lena65@mail.ru).

Abstract. This article describes the experience of introducing quarantine and observation in the space of one of the South Russian state social service institutions – the Taganrog residential home for the elderly and disabled. The authors focused on a qualitative rather than quantitative aspect. Analysis of materials of the expert survey of specialists showed that the most significant issues in terms of COVID-19 risks in connection with the conduct of quarantine and surveillance was the inability of beyond boarding, reducing access of beneficiaries to medical diagnosis and care specialists, the narrowing of social communication and leisure activities, increased burden on staff, fears of a possible outbreak in the local space. Among the successful findings, experts include strengthening the family atmosphere of care, personification of relationships, new formats of social partnership, technologies of socio-cultural work and communication (“concerts under the balcony”, virtual excursions and meetings, exercise and outdoor leisure, Internet communications).

Keywords: elderly people, residential home for the elderly and disabled, nursing home, long-term care, COVID-19 syndemic, quarantine, surveillance, secondary damage to the insulation.

Received: 28.10.20. Accepted: 09.12.20.

© 2021 г.

С.Я. СУЩИЙ

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА – СОЦИОДИНАМИКА ПИСАТЕЛЬСКОГО СООБЩЕСТВА

СУЩИЙ Сергей Яковлевич – доктор философских наук, главный научный сотрудник ФИЦ Южный научный центр РАН, Ростов-на-Дону, Россия (SS7707@mail.ru).

Аннотация. Объектом изучения является русское писательское сообщество советского периода. Анализируются его количественная и пространственная динамика; сдвиги в социальной, гендерной, этнонациональной структуре; соотношение ведущих жанров специализации. Исследование позволило установить, что динамика значимых характеристик круга профессиональных литераторов определялась регулятивной деятельностью советской власти, формирующей политически лояльное писательское сообщество. Но параллельно на развитие данной творческой группы влияла эволюция самой литературы как элемента отечественной и мировой культуры и как социального института, связанного с системной динамикой общества XX в. (в том числе такими процессами, как становление всеобщего образования, рост различных форм творческой самореализации населения). На всем протяжении советского периода русское писательское сообщество СССР формировалось выходцами из слоя интеллигенции и служащих, на который по отдельным десятилетиям приходилось 60–70% авторов-дебютантов. В советский период писательское сообщество существенно выросло, увеличило число деятельных центров, расширило географию. Русские оставались его доминирующей национальной группой. Ведущими творческими специализациями русских советских писателей являлись проза и поэзия. Но общее соотношение специализаций в писательском сообществе непрерывно менялось во времени, а сама амплитуда этой динамики существенно снизилась в сравнении с имперским периодом.

Ключевые слова: русская литература • советский период • писательское сообщество • социальная динамика • творческие специализации

DOI: 10.31857/S013216250009902-5

Постановка исследовательской задачи. Социология литературы, с середины XX в. представлявшая самостоятельное направление социологического знания [Ескарпит, 1958], охватывает значительное число разработок, посвященных различным аспектам литературного процесса [Моль, 1973; Бурдые, 1993]. Разнообразен интерес к литературе и в отечественной социологии. Уже в 1920–1930-е гг. в Советской России выходит ряд работ, исследующих литературу как социальное явление, динамика которого плотно увязана со всем комплексом социально-экономических процессов общества [Саккулин, 1925; Фриче, 1928]. Значительно активизируются разработки в данной области в последней трети XX – начале XXI в., когда в исследовательский фокус включаются различные аспекты функционирования и воспроизводства самого писательского сообщества, в том числе способы

формирования литературного пантеона и трансформации иерархии литературных авторитетов [Берг 2000; Дубин, 2010а], особенности взаимодействия литературной элиты и авторов массовой литературы [Дубин, 2010б], профессиональные практики и структуры повседневности писателей советского периода [Антипина, 2005; Максименков, 2003].

Однако советское писательское сообщество во всех отношениях представляет весьма масштабный объект исследования, содержащий множество самостоятельных проблемных граней. Некоторые из них по-прежнему недостаточно изучены. В частности, не проводился детальный социодинамический анализ данного сообщества. Между тем центральные характеристики этого творческого круга существенно менялись вместе с социально-политической, экономической и социокультурной эволюцией СССР.

Комплексное изучение количественных, пространственных, социальных, этнонациональных особенностей русских писателей советского периода, а также их жанровых предпочтений позволяет зафиксировать многие значимые черты функционирования отечественной литературы XX в. Таким образом, в статье анализируется профессиональный круг русской словесности – круг авторов, писавших только или в значительной степени на русском языке¹. Это позволяет рассматривать данный текст как содержательное продолжение исследования русского писательского сообщества XIX – начала XX в. [Суций, 2020].

В качестве информационной базы для изучения русских писателей 1920–1980-х гг. представляется возможным использовать фундаментальные биографические словари, прежде всего два издания: «Русские писатели 20 века» (2000) и «Лексикон русской литературы XX века» В. Казака [1996]. Персональный состав данных изданий в значительной степени совпадает. Тем не менее в словарь В. Казака включено более 200 авторов, не вошедших в издание «Русские писатели», которое, в свою очередь, поместило несколько десятков статей о писателях, отсутствующих у В. Казака. Сопряженное использование материалов обоих изданий позволило не только увеличить общую выборку (она составила более 760 чел.), но и дало возможность дополнить информацию по многим авторам. Последняя включала сведения территориального, социального, этнокультурного и социо-профессионального характера: фиксировались место (центр, регион) рождения автора и получения им образования, национальная принадлежность, социальное происхождение, период литературной деятельности, творческая (жанровая) специализация, центр/центры профессиональной деятельности.

В данном количественном формате, который можно условно определить как круг известных/заметных русских писателей, речь идет о творческой группе, более широкой, чем элитный слой, но более узкой, чем профессиональное писательское сообщество. Элитная группа русских авторов советского периода (74 автора) определена по энциклопедическому справочнику «Мир русской культуры» [1996], а профессиональное сообщество последних десятилетий советского периода – по «Справочнику Союза писателей СССР»² [Справочник Союза..., 1981]. Из 7,3–9,8 тыс. писателей СССР, входивших в данное творческое объединение в 1970–1980-е гг., почти половина (47–48%) (рассчитано по: [Казак, 1996: 401]) писала на русском языке и соответственно представляла именно русскую литературу.

В настоящей статье сконцентрируемся только на основных моментах количественной, социальной, гендерной, этнонациональной, жанровой динамики профессионального круга русской литературы советского периода.

Количественная динамика и ведущие центры писательского сообщества. Начало XX в. для русского писательского сообщества было периодом динамичной трансформации – оно быстро увеличивалось в размерах, расширяло свою географию, становясь все более полиэтничным и демократичным по своему социальному составу [Суций, 2020: 142].

¹ Особенностью русской литературы анализируемого периода стало и появление у нее мощной зарубежной ветви, авторский круг которой также нуждается в социодинамическом анализе.

² Сведения, собранные в данном справочнике, достаточно ограничены. Но и они позволяют зафиксировать региональную принадлежность писателей, а также их творческие специализации.

В период социальных катаклизмов, начатых Первой мировой войной, данные процессы получили значительное ускорение, но были скорректированы кардинальными сдвигами в жизни страны, связанными с приходом к власти большевиков. Социально-политические и культурные приоритеты советской власти отразились на всех сторонах литературного процесса. Литература становилась важнейшим средством идеологического воспитания масс, содействуя построению социализма в Советской России. Но для выполнения этой функции требовались новые писательские кадры, пролетарского и крестьянского происхождения. Целенаправленные действия власти по ликвидации классово «чуждых» слоев населения (в том числе дворянства, купечества, буржуазии) и привлечению в литературу рабоче-крестьянской молодежи в короткие сроки (10–15 лет) способствовали резкому изменению социального состава круга авторов.

Облегчали задачу кардинальной ротации писательского сообщества не только потери, понесенные в годы войны и социального хаоса, – заметная часть литераторов дореволюционной России, не приняв советской власти, покинула пределы страны; другие, не сумев вписаться в реалии новой литературной жизни, ушли из творчества. Однако писательское сообщество Советской России восстановило свои количественные размеры в считанные годы. По переписи 1926 г., в СССР числилось 7,5 тыс. литераторов, журналистов и редакторов (без учета технического персонала типографско-издательского комплекса). В последующие годы рост этой творческой прослойки, в значительной степени представленной журналистскими кадрами, стремительно ускоряется. К 1939 г. она включала уже 45,4 тыс. человек. Показателен возрастной состав ее представителей: 46,8% – моложе 30 лет; еще 40,3% находились в возрасте 30–39 лет; только 3,6% – старше 50 лет [Всесоюзная перепись..., 1992: 128].

Таким образом, «пишущее» сообщество СССР конца 1930-х гг. являлось иллюстрацией значительных конструктивистских усилий советской власти, сумевшей в короткие сроки практически полностью обновить его состав (в нем оставалось не более 10–15% деятелей, чье профессиональное становление состоялось до 1917 г.). Разбивка этой информации по отдельным структурным группам данного творческого множества отсутствует, но без сомнения все они (в том числе и круг профессиональных литераторов) прошли через серьезное кадровое обновление. Процесс пополнения слоя писателей-профессионалов со второй половины 1920-х гг. попадает под все более жесткий государственный контроль, одним из элементов которого становится курс на сокращение числа литературных объединений разной творческой ориентации (РАПП, Пролеткульт, Кузница, ЛЕФ, Серапионовы братья, Обериуты и др.), во множестве возникших в первое послереволюционное десятилетие. К началу 1930-х гг. все они, одно за другим, прекращают свое существование. В 1932 г. расформировано последнее – Всесоюзное объединение Ассоциаций пролетарских писателей (ВОАПП), с целью создания единой писательской организации Союза советских писателей (ССП), начавшей отсчет со времени Первого съезда писателей СССР (август – сентябрь 1934 г.) [Казак, 1996: 401].

Жестко регулируя доступ «пишущих» к печатному станку и прием в члены ССП, власть получила возможность влиять на количественную динамику и социальный состав писательского сообщества. При этом для самой власти (отчасти и для широкого общественного сознания) принадлежность к ССП становится одним из основных маркеров, отличавших писателя-профессионала от начинающего автора или пишущего дилетанта. Конечно, следует принимать во внимание условность формального маркера или ряда таковых, фиксирующих принадлежность того или иного автора к профессиональному писательскому сообществу. Среди членов ССП всегда были литераторы, которых по качеству письма скорее следовало отнести к графоманам-любителям (что неудивительно, учитывая возможность компенсировать недостаток таланта идейной четкостью своих произведений). А с другой стороны, в литературной среде присутствовали авторы, не имевшие изданных книг (или даже публикаций в периодике) и какого-либо формализованного статуса, но писавшие на самом высоком профессиональном уровне.

Чем материально привлекательней становилось членство в писательском союзе, тем более усложнялась процедура вступления в него, нередко и для состоявшихся авторов. Тем не менее всегда находились литераторы, по различным (в том числе идеологическим) соображениям не желавшие вступать в ССП. Одной из форм их легализации в качестве признаваемых государством профессионалов становятся профкомы издательств «Советский писатель» и «Художественная литература», а также профком Литфонда. Однако общая численность авторов, состоявших в таких профессиональных комитетах, в сравнении с писательским союзом была совсем небольшой. В 1930–1940-е гг. речь могла идти о 100–200 писателях, в последние десятилетия советского периода – примерно о 1,5 тыс. человек. При этом данная группа профессионалов была сосредоточена всего в нескольких крупнейших центрах СССР, прежде всего в двух столицах [Цесельчук, 2010]. Поэтому, анализируя динамику профессионального круга русской литературы советского периода, имеет смысл ориентироваться прежде всего на количественные показатели ССП, не упуская из виду того, что не все его члены в реальности по своему литературному мастерству к данному сообществу принадлежали, а часть профессиональных авторов не состояла в рядах писательского союза (таким образом, эти подмножества определенным образом компенсировали друг друга).

В 1934 г. в ССП состояло более полутора тысяч человек, еще около 1 тыс. были кандидатами на вступление [Антипина, 2005]. В самом первом приближении профессиональное писательское сообщество страны в данное время могло включать порядка 2,5–3,5 тыс. человек. Вместе с тем период 1920–1930-х гг. связан со стремительным подъемом десятков национальных литератур народов СССР, на которые приходилось около половины всех советских писателей [Всесоюзная перепись..., 1992: 149–227]. Следовательно, профессиональный круг непосредственно русской литературы в первой половине 1930-х гг. мог составлять порядка 1,2–1,7 тыс. чел., на 30–40% превышая показатель начала XX в.

В дальнейшем данное сообщество демонстрировало почти непрерывный количественный рост, не остановленный даже репрессиями второй половины 1930-х гг., когда только из круга известных писателей было ликвидировано более 40 чел. (7–8% от общего их числа), а несколько десятков других (10–15%) прошли через тюрьмы и лагеря³. Тем не менее к 1941 г. численность членов и кандидатов ССП выросла до 3,3 тыс. чел. [Антипина, 2005]. Еще большие потери писательское сообщество понесло в годы Отечественной войны (из числа членов Союза погибло 417 человек), однако общественный энтузиазм и культурная активность послевоенного времени позволили быстро компенсировать эти потери. К 1954 г. число членов ССП выросло до 3,7 тыс., а в начале 1970-х гг. составляло уже 7,3 тыс. Способствовали количественному росту не только высокий социальный статус и материальные привилегии члена писательского союза, но и процесс социокультурной модернизации СССР, все более широкое распространение среди населения практик творческой самореализации. К концу советского периода размеры ССП приблизились к 10 тыс. человек, порядка 4,6–4,7 тыс. его членов писали на русском языке [Казак, 1996: 401]. Соответственно, в пределах 4–6 тыс. авторов мог к этому времени составлять и профессиональный круг русской литературы.

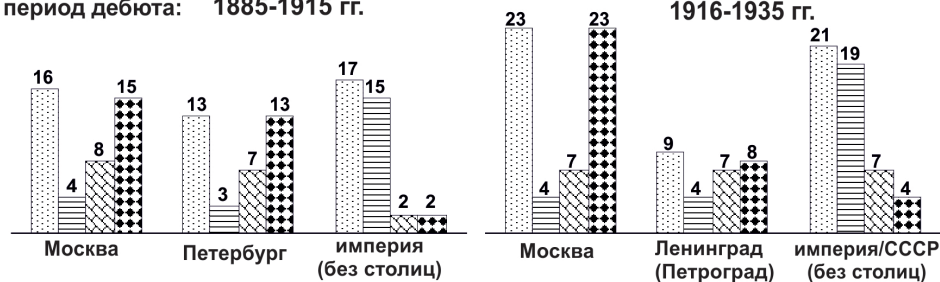
Ведущие центры литературной работы. Крупнейшими центрами литературной жизни страны на всем протяжении советского периода оставались две всесоюзные столицы. Но если в последние десятилетия царской России Петербург и Москва были в равной степени притягательны для писательской элиты и круга заметных авторов, то с начала 1920-х гг. превосходство Москвы становится все очевидней.

Политическая сверхцентрализация, характерная для Советской России 1920–1930-х гг., имела свою проекцию и в культуре – стяжение элитного слоя основных сфер культуры в столицу государства. Литературная элита не была исключением. Из 27 ее представителей, дебютировавших в 1916–1935 гг., 23 автора (85,2%) жили и работали в Москве и только

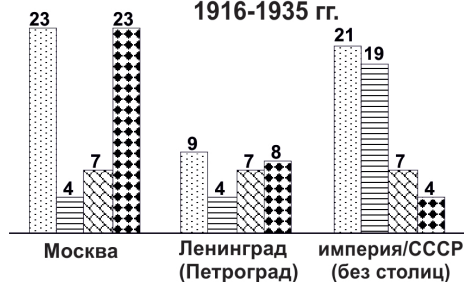
³ О масштабах репрессий говорит и то, что из 570 делегатов Первого съезда советских писателей к концу 1930-х гг. репрессировано около 180 человек (31,5%) [Антипина, 2005].

8 чел. (29,6%) – в Ленинграде (рис. 1). Значительной была концентрация в Москве и известных писателей (174 из 284 чел. – 61,3%). Да и в целом среди членов ССП (профессиональный круг) москвичи в середине 1930-х гг. составляли почти треть (504 из 1535 чел.), а перед войной – более четверти (840 из 3–3,3 тыс. чел.) [Антипина, 2005].

период дебюта: 1885-1915 гг.



1916-1935 гг.



период дебюта: 1936-1950 гг.



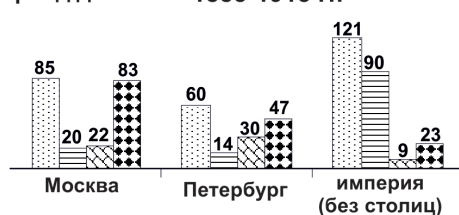
1951-1980 гг.



А. Литературная элита (чел.)

■ всего, в т.ч.:
 ▨ родились
 ▤ учились
 ▦ работали

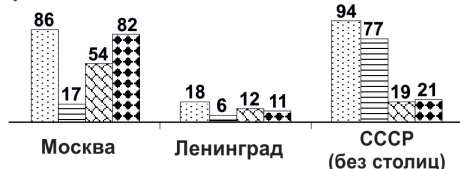
период дебюта: 1885-1915 гг.



1916-1935 гг.



период дебюта: 1936-1950 гг.



1951-1980 гг.



Б. Круг известных авторов (чел.)

Рис. 1. Элитные и известные русские писатели советского периода, связанные со столицами и провинцией (чел.)

Источники: рис. 1–7, табл. 1–3, выполнены на основе авторских расчетов по материалам: [Казак, 1996; Мир русской культуры, 1997; Русские писатели XX века, 2000; Справочник Союза писателей СССР, 1981].

Разрыв в уровне привлекательности столиц для представителей элиты и группы известных писателей сохранился и у двух следующих авторских поколений русской советской литературы (дебютанты второй половины 1930–1940-х и 1950–1960-х гг.). Порядка 60–70% элитных авторов приходилось на Москву, 10–20% – на Ленинград. В группе известных писателей соответственно 80–85% и 11–17%. Таким образом, на протяжении всего советского периода обе данные творческие прослойки в значительной степени оставались связанными с Москвой. Серьезный литературный успех провинциального автора, писавшего на русском, почти всегда сопровождался его переездом в Москву (значительно реже в Ленинград), с которой оказывалась связана вся дальнейшая жизнь. Случаи, когда известный писатель добровольно оставался на малой родине, в 1930-е гг. были очевидным исключением⁴. В 1960–1980-е гг., не превращаясь в общую практику, они становятся более частыми (В. Распутин в Иркутске; В. Астафьев и В. Белов в Вологде; А. Калинин и В. Семин в Ростове; В. Лихоносов в Краснодаре). И к концу советского периода география жизнедеятельности круга известных русских писателей, расширившись, включает уже до 20–30 центров страны.

Куда более существенно «раздвинулась» в послевоенные десятилетия география профессионального писательского сообщества (членов ССП), заключавшая к началу 1980-х гг. более 300 центров СССР, в том числе порядка 160 в РСФСР. Впрочем, даже крупнейшие отделения ССП российских областей и краев имели только 20–40 членов⁵, уступая Москве в 40–90 раз (рис. 2). Если брать в расчет русскоязычных писателей, то в столице по-прежнему проживало около 46% членов российской части ССП (1780 из 3880 чел.). Еще 9–10% приходилось на ленинградских авторов (рассчитано по: [Справочник Союза..., 1981]). С учетом столичных авторов, состоявших в профкомах художественных издательств и Литфонде, на Москву и Ленинград к концу советского периода все еще приходилось порядка 55–65% всего профессионального круга русской литературы страны. А в регионах подавляющее большинство членов ССП, в свою очередь, было сосредоточено в административных центрах, даже если в их территориальных пределах имелись другие крупные города.

Социальная и гендерная структура. Социальная структура русского писательского сообщества конца имперского периода находилась в процессе быстрой трансформации. Количественно доминировавшее в литературной жизни на протяжении 150 лет дворянство стремительно теряло свои позиции. Среди авторов, дебютировавших в 1910-е гг., на дворян приходилось только четверть. Кардинальные сдвиги в социальной структуре общества, связанные с реализацией советского проекта, эти процессы еще более ускорили. В первые 10–15 лет советского периода почти полностью сменился не только наличный состав писательского сообщества. Трансформировались сами принципы его комплектации, ликвидирован ряд социальных слоев и групп российского общества, активно пополнявших авторский круг русской литературы имперского периода (дворянство, купечество, духовенство, буржуазия и др.). Впрочем, следует иметь в виду, что авторы-дебютанты 1920–1930-х гг. родились на рубеже XIX–XX вв. и коррелировали еще с имперским социальным составом российского общества. Триада «развитого» социализма (рабочий класс – крестьянство – трудовая интеллигенция) стала отчетливо просматриваться в структуре советского писательского сообщества уже в послевоенный период. Тем более что в это время даже представители русского литературного зарубежья в своей массе уже являлись выходцами из Советской России.

И все же социальный заказ со стороны новой власти на активизацию творчества «народных масс» обнаруживает свою кадровую проекцию с 1920-х гг. Анализ социального состава авторов-дебютантов послереволюционных десятилетий фиксирует некоторый рост числа выходцев из рабочей среды. Но учитывая роль, отводимую пролетариату

⁴ Например, М. Шолохов, который, заметим, в середине 1920-х гг. тоже некоторое время жил и работал в Москве.

⁵ В республиках РСФСР, где в наличии имелось сразу по два писательских сообщества – авторов пишущих на титульном (титульных) и на русском языках, отделения ССП были заметно больше. Но и крупнейшие из них не превышали 100–140 человек.

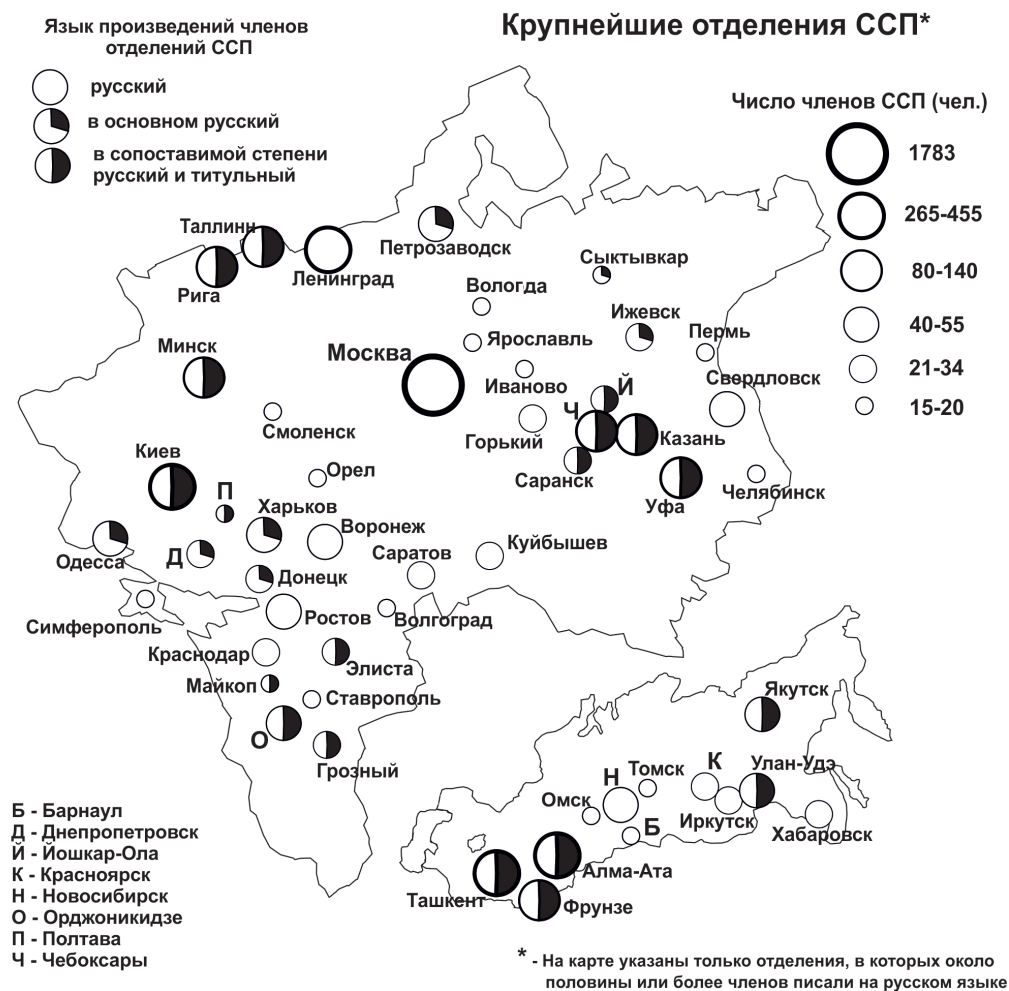


Рис. 2. Крупнейшие «русскоязычные» отделения ССП в СССР (1980 г.)

советской властью, его представительство среди начинающих писателей (3–8%) оставалось весьма ограниченным.

Увеличился в эти десятилетия и удельный показатель крестьянства, присутствие которого в русском писательском сообществе начало заметно расти уже в конце имперского периода. В 1920–1930-е гг. на выходцев из крестьянства приходилось 10–20% авторов-дебютантов. В 1940-е – первой половине 1950-х гг. данный показатель поднялся до 20–30% (табл. 1). Этот рост был связан не только с поощрением советской властью начинающих авторов крестьянского происхождения, но и с масштабной урбанизацией первых советских десятилетий. В города перебирались миллионы сельских семей. И в советском писательском сообществе 1950–1970-х гг. группа сельских уроженцев оставалась весьма значительной, притом что юность многих из них прошла уже в городской среде.

Однако бóльшая часть писательского сообщества на всем протяжении советского периода формировалась представителями интеллигенции, выходцами из всех основных ее социoproфессиональных групп. Значительное число авторов вышло из семей педагогов и врачей; сотрудников партийных и административных структур; работников научно-

Таблица 1

**Социально-сословный состав известных русских писателей советского периода
(по периодам дебюта)**

Социальный слой/группа	1886– 1900	1901– 1910	1911– 1920	1921– 1930	1931– 1940	1941– 1950	1951– 1960	1961– 1970	1971– 1985	Всего
Число (чел.)										
Интеллигенция	15	19	63	63	66	50	56	52	27	411
Рабочие	1	3	2	7	7	4	8	2	2	36
Крестьяне	7	8	10	17	21	28	16	6	3	116
Дворяне	13	10	9	10	14	2	1			59
Промышленники, коммерсанты	1	1	4	4	3					13
Духовенство	1	4	2	4	1					12
Купцы	3	4	6	4	2					19
Ремесленники	4	3	1	7	3					18
Остальные	3	6	11	12	9	10	12	10	9	82
Доля (%)										
Интеллигенция	31,3	32,8	58,3	49,2	52,4	53,2	60,2	74,3	65,9	53,7
Рабочие	2,1	5,2	1,9	5,5	5,6	4,3	8,6	2,9	4,9	4,7
Крестьяне	14,6	13,8	9,3	13,3	16,7	29,8	17,2	8,6	7,3	15,1
Дворяне	27,1	17,2	8,3	7,8	11,1	2,1	1,1			7,7
Промышленники, коммерсанты	2,1	1,7	3,7	3,1	2,4					1,7
Духовенство	2,1	6,9	1,9	3,1	0,8					1,6
Купцы	6,3	6,9	5,6	3,1	1,6					2,5
Ремесленники	8,3	5,2	0,9	5,5	2,4					2,3
Остальные	6,3	10,3	10,2	9,4	7,1	10,6	12,9	14,3	22,0	10,7

технической (инженеры, научные работники), военной (офицеры) и творческой (музыканты, архитекторы и т.п.) интеллигенции, в том числе и непосредственно из самой литературной среды. В сумме на группу интеллигенции и служащих приходилось порядка 50–70% всех авторов, дебютировавших в русской литературе 1930–1970-х гг. (рис. 3).

Почти полностью обновив в короткие сроки наличный состав писательского сообщества, советская власть оказалась не в состоянии кардинально поменять его социальную структуру. Доля выходцев из рабоче-крестьянской среды выросла с 10–15% в конце имперского периода до 20% в 1920–1930-е гг., достигла максимума в 1940-е гг. (30–40%), а в последние советские десятилетия, вновь опустившись, держалась на уровне 10–20%. Впрочем, это обстоятельство не мешало власти надежно поддерживать лояльность писательского сообщества, обеспечивая ее через механизм репрессивного конструктивизма. Если в 1930-е гг. он носил максимально жесткие формы, в том числе и прямую ликвидацию, то в 1970–1980-е гг. доминирующей практикой в отношении литературной оппозиции стала высылка из страны.

Несмотря на продекларированную советской властью ликвидацию всех форм неравенства, количественный перевес мужчин в группе известных русских авторов по сравнению с концом имперского периода не сократился. На протяжении многих советских десятилетий на долю женщин приходилось 5–17% авторов-дебютантов в группе известных русских писателей. Только в 1970-е гг. данный показатель вырос до 30% (рис. 4). Но в целом, за весь советский период женщины составили только 12,2% данного творческого круга (92 из 756 чел.), что лишь минимально превысило показатель последнего имперского столетия (12,0%).



Рис. 3. Принадлежность известных русских писателей к основным группам интеллигенции (% от общего числа авторов-дебютантов данного периода)

Еще меньше женщин оказалось в элитном слое русской советской литературы – 6,8% (5 из 74 авторов), как и среди всего профессионального писательского сообщества. Среди членов ССП в 1934 г. женщины составляли всего 3,6% [Антипина, 2005]. К 1954 г. их доля поднялась до 10%, а в 1980 г. – составила 14,1% (1170 из 8,3 тыс. чел.). Впрочем, являясь одним из признаков уровня системной модернизации писательского сообщества (как и культурной среды в целом), в двух столицах данный показатель был заметно выше (21,8% среди московских членов ССП, 24,3% у ленинградских). В региональных отделениях РСФСР он колебался в диапазоне 0–22% (в 25 отделениях женщин не было, в десяти на них приходилось 1–5% членов, в 12 – 5–10%, в двух – 10–15%, в двух – 15–20% и в одном – 22%) (рассчитано по: [Союз писателей..., 1981]). При чем женщины могли отсутствовать не только в небольших, но и некоторых крупных писательских организациях (в том числе Пермском и Краснодарском краях, Оренбургской области).

Творческие специализации. Динамика жанровых предпочтений русских писателей XIX – начала XX в. в значительной степени задавалась эволюцией европейской литературы и культуры в целом, сменой ее ведущих стилевых направлений и в то же время коррелировала с общественно-политическим и социокультурным развитием самой России [Суций, 2020: 136–139].

В советский период взаимосвязь творческих специализаций русского писательского сообщества и динамики мирового литературного процесса стала менее ощутимой. Отчасти это было связано с общим усложнением последнего, менее линейной, чем в XVIII–XIX вв., корреляцией новых тенденций с определенными литературными жанрами. Свою роль играло и желание советской власти противостоять буржуазному миру в сфере культуры, попытка создать собственную «социалистическую» литературу во всем многообразии существующих жанров. Жестко контролируя идеологическую составляющую текущего литературного процесса, власть не пыталось каким-либо образом регулировать его внутреннее разнообразие или менять в писательском сообществе соотношение ведущих специализаций. Все они оставались востребованными в своих идеологически «правильных» версиях.

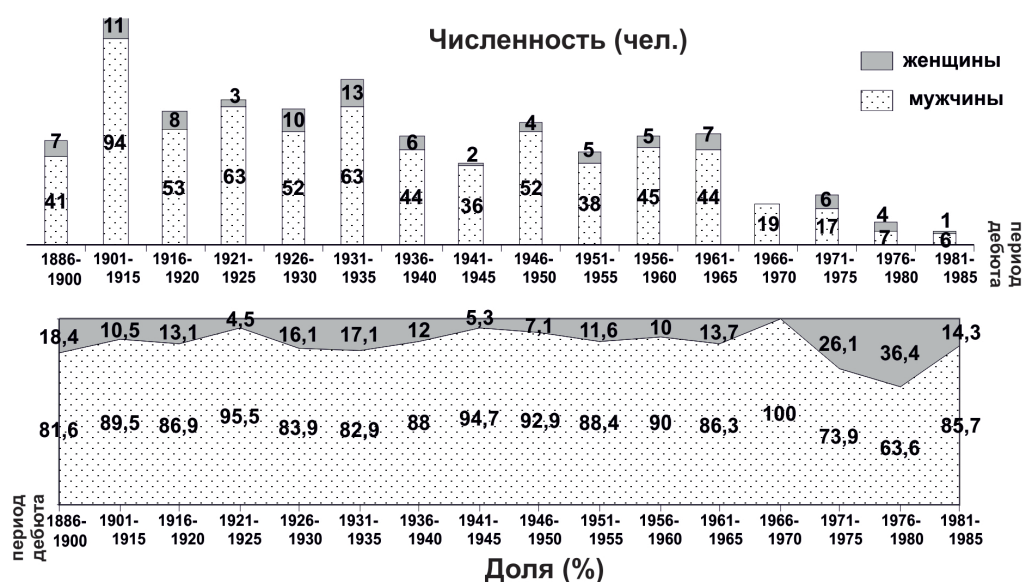


Рис. 4. Гендерная структура известных русских писателей советского периода (по периодам дебюта)

Итак, распределение авторов по специализациям могло в значительной степени определяться их собственными творческими предпочтениями. Центральными у русских советских писателей оставались две – проза и поэзия. И если конец имперской эпохи в русской литературе связан с опережающим подъемом поэзии, то уже в 1920-е гг. проза возвращает себе доминирующие позиции – почти 2/3 начинающих авторов прозаики. Впрочем, половина дебютантов этого времени писала и стихи (табл. 2).

Совмещение двух специализаций оставалось наиболее частым вариантом в группе известных писателей на всем протяжении советского периода. Однако именно проза оставалась ведущей в этом жанровом тандеме – с ней было связано творчество 50–90% авторов-дебютантов разного времени. Показатель поэзии составлял 35–55%. Только в годы Отечественной войны лирика у начинающих авторов оказалась не менее востребованной, чем проза, что связано с дебютом группы молодых поэтов-фронтовиков. Единственный интервал, когда поэзия обошла прозу, пришелся на вторую половину 1960-х гг. – очевидно, сыграл свою роль состоявшийся чуть ранее эффект появления яркой группы поэтов-шестидесятников, заставивший творческую молодежь развернуться в сторону лирики. В целом же, для известных писателей советского периода именно проза была основным жанром (в ней реализовалось 68,6% авторов, в поэзии – 46,5%)⁶, что существенно отличало их от аналогичного русского писательского круга XIX – начала XX в., где попеременно доминировали оба жанра (за рассматриваемый период 43,6% авторов прозаики; 39,7% – поэты) (рис. 5).

В широком диапазоне (13–22%) пульсировала в писательском сообществе популярность драматургии. Данный жанр оставался востребован весь советский период – к драме обращался каждый пятый известный писатель этого времени, что существенно превзошло показатель (12,9%) последнего имперского столетия. Неровной в советские десятилетия была популярность и других ведущих жанров, в том числе публицистики

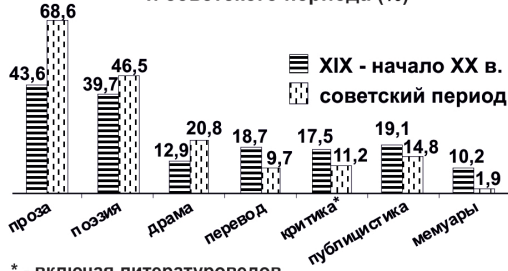
⁶ Отметим, однако, существенные различия данного показателя по гендерному признаку – среди авторов-женщин популярность прозы была ниже, а поэзии выше, что делало их показатели сближенными – соответственно 66,3 и 59,8% (аналогичные показатели у мужчин составляли 69,9 и 45,5%). Кроме того, среди женщин-литераторов было заметно больше переводчиков, но меньше драматургов и сценаристов.

Таблица 2

**Жанровая специализация известных русских писателей советского периода
по периодам литературного дебюта**

Жанровая специализация	1886–1900	1901–1910	1911–1920	1921–1930	1931–1940	1941–1950	1951–1960	1961–1970	1971–1985	Весь период
Число (чел.)										
Проза	41	50	60	88	88	63	66	44	25	525
Поэзия	22	24	60	57	56	45	37	37	18	356
Драма	20	12	24	27	24	16	20	9	7	159
Перевод	7	6	22	13	9	8	6	1	2	74
Публицистика	12	11	10	18	23	13	14	9	3	113
Критика	9	13	15	6	4	4	6	2	1	60
Литературоведение	2	3	3	2	5	4	4	1	1	25
Сценарии			2	5	9	8	12	4	2	42
Другое	3	2	10	6	10		2	1	6	39
Доля (%)										
Проза	85,4	86,2	55,6	68,8	69,8	67,0	71,0	63,8	61,0	68,6
Поэзия	45,8	41,4	55,6	44,5	44,4	47,9	39,8	53,6	43,9	46,5
Драма	41,7	20,7	22,2	21,1	19,0	17,0	21,5	13,0	17,1	20,8
Перевод	14,6	10,3	20,4	10,2	7,1	8,5	6,5	1,4	4,9	9,7
Публицистика	25,0	19,0	9,3	14,1	18,3	13,8	15,1	13,0	7,3	14,8
Критика	18,8	22,4	13,9	4,7	3,2	4,3	6,5	2,9	2,4	7,8
Литературоведение	4,2	5,2	2,8	1,6	4,0	4,3	4,3	1,4	2,4	3,3
Сценарии		0,0	1,9	3,9	7,1	8,5	12,9	5,8	4,9	5,5
Другое	6,3	3,4	9,3	4,7	7,9	0,0	2,2	1,4	14,6	5,1

Структура жанровой специализации известных русских авторов XIX – начала XX в. и советского периода (%)



Структура жанровой специализации известных авторов советского периода в гендерном разрезе (%)



* - включая литературоведов

Рис. 5. Жанровая специализация круга известных русских писателей

(9–18% писателей-дебютантов), роль которой серьезно возрастала в периоды общественных потрясений. В целом, в данной специализации отметились 14,8% известных русских писателей советского времени, что заметно ниже показателя XIX – начала XX в. (19,1%). Ощутимо сократилась в советский период и доля авторов, обращавшихся к критике, литературоведению и переводам⁷. Из новых жанровых приобретений следует

⁷Причины, по которым среди советских писателей существенно выше была доля прозаиков, поэтов и драматургов, но меньше степень распространения остальных жанровых специализаций, требуют отдельного изучения.

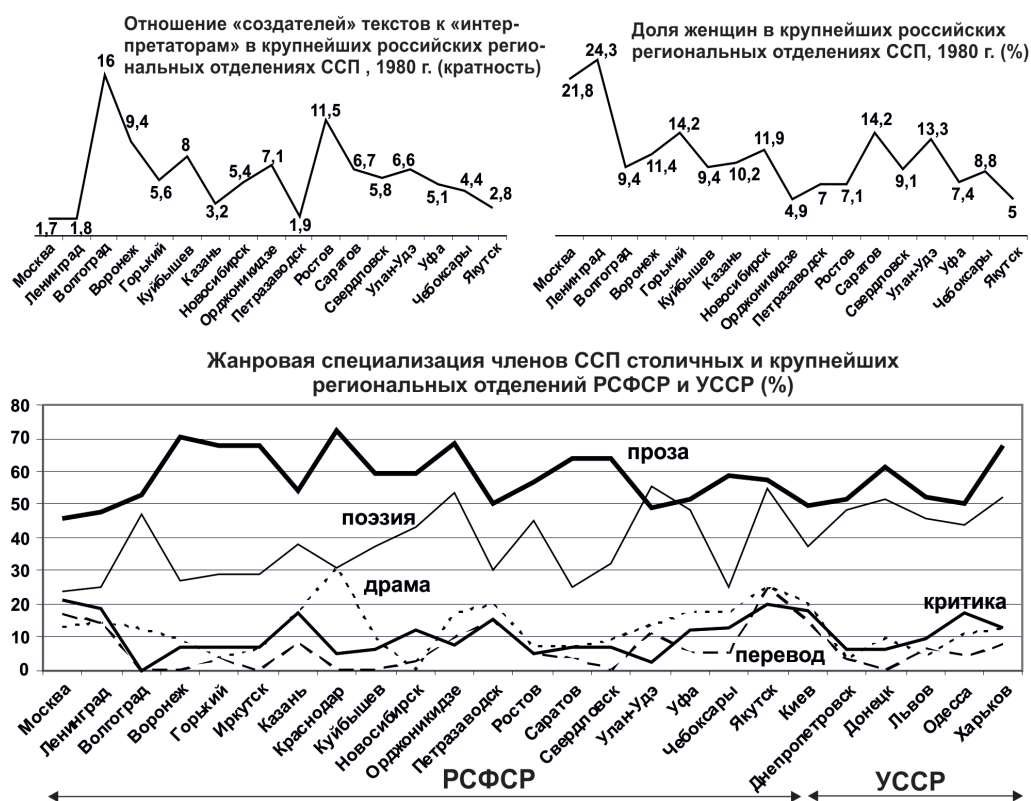


Рис. 6. Гендерная структура и жанровая специализация членов ряда отделений ССП (1980 г.)

выделить сценарное творчество, популярность которого достигала максимума (13%) у авторов, дебютировавших в 1950-е гг.

Схожую картину обнаруживает анализ жанровой специализации всего профессионального сообщества русской литературы, фиксируемого по «Справочнику Союза писателей СССР». Его основными специализациями, как и в группе известных авторов, были проза и поэзия: в 1960–1970-е гг. им отдавало предпочтение более 70% авторов. Прозаики количественно доминировали в Москве и Ленинграде, а также в большинстве регионов России (45–65%). При этом для писательского круга двух столиц характерна повышенная жанровая дифференциация авторов. Значительная часть русских советских критиков, литературоведов, переводчиков концентрировалась в двух всесоюзных центрах. Региональные авторы в подавляющем большинстве ориентировались на прозу и поэзию (в некоторых регионах и драматургию), предпочитая «творить» литературу, а не интерпретировать ее. Если в Москве и Ленинграде среди членов ССП «создателей» текстов в сумме было больше, чем «интерпретаторов», в 1,7–1,8 раза, то в региональных отделениях Союза этот перевес зачастую был многократным (рис. 6).

Национальная принадлежность авторов. Конец имперского периода был связан с быстрым ростом полиэтничности писательского сообщества русской литературы, в которое включались представители разных народов империи (более 40% дебютантов этого времени относились к нацменьшинствам). Приход к власти большевиков, устранивших все проявления «великорусского шовинизма» в сфере культуры, казалось, должен был еще более увеличить данный процент, однако этого не произошло. Одна из основных, если не центральная причина – активная поддержка советской властью национальных культур, нашедшая отражение и непосредственно в сфере литературного процесса.

Создаются алфавиты, быстро набирает обороты национальное книгоиздательство, формируется издательский комплекс и периодика, концентрирующие кадры коренной интеллигенции. В таких условиях немалая часть молодых советских авторов начинала писать и профессионально реализовываться на своих национальных языках.

Известным исключением из комплекса крупных советских народов стали евреи, не имевшие своей автономии⁸. Существенную роль сыграл и ряд других факторов, в том числе «центростремительность» еврейского населения, ориентированного на проживание в городах, прежде всего крупных. В середине 1920-х гг. городским являлось уже 82,5% евреев СССР (при общем показателе урбанизированности 17,8%). Наряду с урбанистичностью евреев отличала почти полная грамотность. Среди лиц в возрасте 9–49 лет в 1926 г. грамотным было 90% еврейского населения СССР (у русских данный показатель составлял 64,3%) [Всесоюзная перепись..., 1992: 83]. Имело значение и то, что это была грамотность на русском языке – признак быстрого социокультурного обрусения, темпы которого еще более ускоряются в последующие годы. К концу 1930-х гг. русский язык являлся родным уже для 72,6% евреев РСФСР (максимальный показатель аккультурации среди всех ее народов). При этом в полной мере сохранилась ориентация еврейского населения на профессиональные сферы деятельности, связанные с умственным трудом и высокой квалификацией. При доле в населении СССР в 1,77% в группе лиц с высшим образованием (прослойка интеллигенции) евреи составляли 15,8% (172,9 тыс. из 1,09 млн чел.) [Всесоюзная перепись..., 1992: 86–87].

Столь весомое представительство в группе образованного населения не могло не отразиться и в сфере литературного творчества. Доля евреев среди авторов-дебютантов в 1930-е гг. поднимается до 30%. Таким образом, круг заметных авторов русской литературы в межвоенный период в определяющей степени формируется представителями двух народов – русского и еврейского. Тем не менее вполне различимы в этом творческом слое в 1920–1930-х гг. (как и в имперский период) украинцы, немцы, поляки, на которых по отдельным десятилетиям могло приходиться до 3–5% начинающих русских писателей (табл. 3).

Данная национальная структура в целом сохранилась и в послевоенный период. Масштабные потери советских евреев в годы войны существенно сократили их численность и еще более ускорили ассимиляционные процессы. А с 1960-х гг. свою роль в депопуляции начала играть эмиграция в Израиль и другие страны Запада. Однако в группе известных русских писателей, дебютировавших в 1950–1960-е гг., они по-прежнему составляли 20–30%. Этот парадокс объяснялся тем, что значительная часть авторов-евреев этого времени относилась к оппозиционной ветви литературного процесса и в дальнейшем составила весомую часть третьей волны творческой эмиграции из СССР, пришедшей на 1960–1970-е гг. (из 53 выехавших в этот период авторов около половины являлись евреями или были бизтнофорами с еврейской составляющей) (рассчитано по: [Казак, 1996: 403]). Таким образом, представительство евреев в русской советской литературе 1960–1980-х гг. действительно существенно сократилось в сравнении с довоенным периодом. Зато в русском литературном зарубежье в тот же период количественно они абсолютно доминировали, что отличало его от первых послереволюционных десятилетий.

В целом, в послевоенный период в группе известных русских писателей появились представители более 20 национальностей. По-прежнему хорошо различимы украинцы и поляки, к которым присоединились армяне. Остальные народы (в том числе корейцы, немцы, грузины, белорусы, татары и др.) представлены в данной группе отдельными авторами. При этом следует учитывать процессы ассимиляции, получившие в послевоенном СССР еще большее распространение. Значительное число русских писателей еврейского, украинского, польского и т.д. происхождения родились в смешанных семьях (бизтнофоры).

⁸ Еврейская автономная область, организованная в 1934 г. на отдаленной восточной периферии СССР, являлась исключительно бюрократическим территориально-административным конструктом, не способным стать реальным средоточием жизни советских евреев, проживавших от нее за тысячи километров.

Таблица 3

Национальный состав известных русских писателей советского периода

Национальность авторов	1886–1900	1901–1910	1911–1920	1921–1930	1931–1940	1941–1950	1951–1960	1961–1970	1971–1985	Весь период
Число (чел.)										
Русские	36	46	63	77	82	56,5	57	40	25,5	483
Евреи	5,5	4,5	17	32,5	28,5	27,5	24	18,5	5	163
Украинцы	3	3	9	3,5	5	4	4,5	0,5	6,5	39
С европейскими корнями	0,5		3,5	0,5				0,5	0,5	5,5
Поляки	1	1	7,5	3	1	1	0,5	2,5	0,5	18
Литовцы	2	1		1	0,5		0,5			5
Немцы		0,5	4,5	5,5	6		0,5	1,5		18,5
Армяне			1	2,5		2	0,5	1,5		7,5
Остальные		2	2,5	2,5	3	3	5,5	4	3	25,5
Всего	48	58	108	128	126	94	93	69	41	765
Доля (%)										
Русские	75,0	79,3	58,3	60,2	65,1	60,1	61,3	58,0	62,2	63,1
Евреи	11,5	7,8	15,7	25,4	22,6	29,3	25,8	26,8	12,2	21,3
Украинцы	6,3	5,2	8,3	2,7	4,0	4,3	4,8	0,7	15,9	5,1
С европейскими корнями	1,0		3,2	0,4				0,7	1,2	0,7
Поляки	2,1	1,7	6,9	2,3	0,8	1,1	0,5	3,6	1,2	2,4
Литовцы	4,2	1,7	0,0	0,8	0,4		0,5			0,7
Немцы		0,9	4,2	4,3	4,8		0,5	2,2		2,4
Армяне			0,9	2,0		2,1	0,5	2,2		1,0
Остальные		3,4	2,3	2,0	2,4	3,2	5,9	5,8	7,3	3,3

Но даже «чистые» представители данных народов в своем большинстве уже являлись выходцами из обрусевшей национальной среды.

Русское литературное зарубежье и андеграунд. Первые послереволюционные годы связаны с разделением русской литературы на две ветви. На рубеже 1920-х гг. за пределы Советской России эмигрировало более двух миллионов человек, в том числе заметная часть писательского круга дореволюционной России. Из группы известных авторов, вошедших в русскую литературу в 1890–1910-е гг., доля эмигрантов составила почти четверть (48 из 204 чел.)⁹. Оказалась за рубежом и часть литературной элиты (И. Бунин, А. Куприн, В. Ходасевич и др.). Впервые в истории русской литературы десятки зарубежных центров превратились в заметные средоточия ее творческой жизни. Выделялся Париж, крупнейший культурный центр русского зарубежья середины 1920-х – 1930-х гг. По числу работавших в нем известных русских авторов (67 чел.) он в это время уступал только Москве и Ленинграду (260 и 102 чел. соответственно) и значительно опережал все остальные центры СССР.

Показательно, что в 1920–1930-е гг. литературное зарубежье представляли не только состоявшиеся, но и молодые авторы, профессионально дебютировавшие уже за пределами России (Г. Газданов, В. Яновский и др.), – 40 из 254 (15,7%) известных писателей, вступивших в русскую литературу в два межвоенных десятилетия, представляли ее зарубежную ветвь. И в то же время русское зарубежье этого периода не дало ни одного автора (за исключением

⁹ И это, не считая писателей, которые уехали из СССР, до конца не определившись со своим выбором, и в дальнейшем предпочли вернуться на родину (И. Эренбург, А. Толстой, В. Шкловский и др.).

В. Набокова), сумевшего в дальнейшем пополнить элитный круг русской литературы. Причин было несколько. Лишенная основной читательской аудитории, оставшейся в Советской России, зарубежная ветвь русской литературы в своем творчестве вынужденно ориентировалась на эмиграцию, демонстрировавшую повышенную социокультурную и этнокультурную открытость во взаимодействии с европейскими обществами, существенно ускорившими процесс ее аккультурации, а затем и прямой ассимиляции. Иначе говоря, суженным оказывался процесс не только демографического, но и социокультурного воспроизводства русского зарубежья, сокращавшего свои размеры при каждом межпоколенном переходе.

Не способствовала культурной активности русской диаспоры и общественно-политическая ситуация в мире. По мере распространения авторитарных режимов один за другим в Европе и на Дальнем Востоке прекращают существование многие центры русской культуры, а писатели вынуждены перебираться на американский континент, прежде всего в США. К началу 1940-х гг. творческий потенциал русского литературного зарубежья значительно сокращается.

Литературная эмиграция, составленная авторами, покинувшими СССР в период Великой Отечественной войны, оказалась малочисленной, а в творческом отношении была несопоставимо слабей послереволюционной волны. Тем не менее и она сумела пополнить и поддержать писательское сообщество русского зарубежья. Из 95 известных авторов, дебютировавших в русской литературе в 1950-е гг., 16 чел. (16,8%) представляли ее зарубежную ветвь (рис. 7).

С оттепелью конца 1950–1960-х гг. связана активизация неофициальной ветви советской литературы – авторов, не вписывавшихся в задаваемые властью тематико-идеологические рамки литературного процесса. Но и сами эти рамки в данное время определенным образом расширились, оставляя вопрос о статусе таких «пограничных» писателей открытым. Многие из них печатались в центральной и региональной периодике, издавали свои книги. Только с концом оттепели часть этих авторов оказалась окончательно выключенной из контролируемого государством литературного процесса. Так, со второй половины 1960-х гг. в СССР формируется творчески активный литературный андеграунд.

Художественно и идейно противопоставляясь советскому официозу, диссидентская литература, тем не менее, пространственно совмещалась с его эпицентрами. Москва и Ленинград были больше чем «столицами» русского литературного андеграунда – ими его

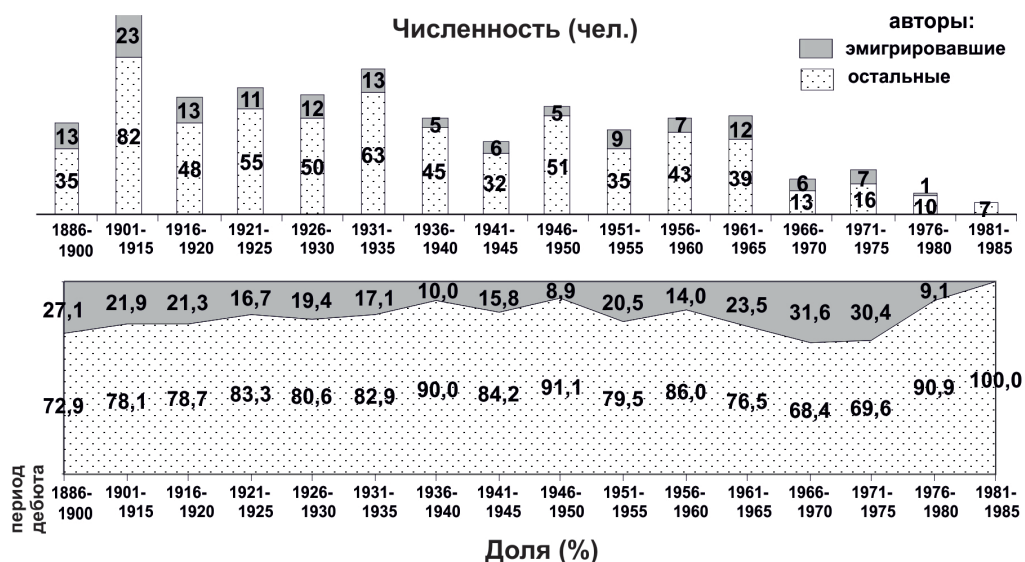


Рис. 7. Советские писатели и авторы-эмигранты (круг известных литераторов по периодам дебюта)

география в значительной степени и ограничивалась. Из 53 известных писателей-диссидентов, составивших третью волну литературной миграции из СССР, в Москве или Ленинграде родилось 24 человека, 43 получили в них образование, 49 жили и работали до своего отъезда на Запад (рассчитано по: [Казак, 1996]). Из других центров русской диссидентской литературы этого времени можно назвать столицы прибалтийских республик, крупнейшие центры Украины (Киев, Харьков, Одесса), Ростов-на-Дону. Но только в Москве и Ленинграде литературный андеграунд представлял сложившиеся творческие сообщества. Притом что отдельные авторы или небольшие их группы, выпадавшие из советского литературного мейнстрима в 1970–1980-е гг. появились во многих центрах России и ряда союзных республик.

Именно с перемещением на Запад значительной части оппозиционных авторов связан новый ощутимый подъем литературного зарубежья, начавшийся в 1970-е гг., когда за пределами СССР почти одновременно оказались десятки русских писателей, как уже известных (И. Солженицын, В. Аксенов, В. Войнович), так и почти не печатавшихся (И. Бродский, С. Довлатов, Э. Лимонов, А. Цветков и др.). Репрессивная практика высылки из страны продолжалась до начала 1980-х гг. – из 92 известных авторов, дебютировавших в 1960–1975 гг., 25 чел. (27,4%) в дальнейшем оказалось в эмиграции. Таким образом, к концу советского периода, как и в самом его начале, литературное зарубежье, сосредоточив заметную часть крупных писателей, снова ощутимо повысило свою роль в русском литературном процессе.

Выводы. Переход к советскому периоду в развитии русского писательского сообщества был связан с резким обновлением его состава, трансформацией социальной структуры, установлением монополии Москвы, сосредоточившей на несколько десятилетий не только элиту, но и значительную часть представителей круга известных авторов. Это не отменяло постепенного расширения географии литературного процесса, увеличения числа его деятельных центров, формирования крупных региональных средоточий профессиональных писателей (в том числе за пределами РСФСР).

Задача формирования политически лояльного писательского сообщества была выполнена советской властью в сжатые сроки, но превратить рабочий класс и крестьянство в основных социальных «продуцентов» новых писательских кадров ей не удалось. Порядка 50–70% авторов-дебютантов на всем протяжении советского периода составляли выходцы из интеллигенции, причем всех основных ее социoproфессиональных групп.

Этнические русские продолжали доминировать в писательском сообществе, составляя среди дебютантов 50–75% по отдельным десятилетиям. Второй группой с большим отрывом от остальных национальностей являлись евреи, на которых приходилось 20–30% входивших в литературу авторов. Причем если в 1920–1930-е гг. евреи, прежде всего, представляли советскую ветвь литературного процесса, то в 1970–1980-е гг. ощутимо доминировали в литературном зарубежье. Это, в свою очередь, являлось следствием их весомого присутствия в советском литературном андеграунде конца советского периода.

На протяжении всего советского периода русская литература развивалась двумя в значительной степени автономными рукавами. При этом русское литературное зарубежье демонстрировало большую амплитуду творческой активности, два основных пика которой пришлось на начало и конец советского периода, что было связано с эмиграцией в это время за пределы СССР значительных групп русских писателей.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Антипина В.А. Повседневная жизнь советских писателей. 1930–1950-е годы. М.: Молодая гвардия, 2005.
- Дубин Б.В. К проблеме литературного канона в современной России // Классика после и рядом. М.: Новое литературное обозрение, 2010а. С. 66–75.
- Дубин Б.В. Литературная культура сегодня: социальные формы, знаковые фигуры, символические образцы // Классика после и рядом. М.: Новое литературное обозрение, 2010б. С. 47–65.

- Берг М. Литературократия. М.: Новое литературное обозрение, 2000.
- Бурдые П. Рынок символической продукции // Вопросы социологии. 1993. № 1/2. С. 49–62.
- Всесоюзная перепись 1939 года. Основные итоги. М.: Наука, 1992.
- Казак В. Лексикон русской литературы XX века. М.: Культура, 1996.
- Максименков Л. Очерки номенклатурной истории советской литературы (1932–1946). Сталин, Бухарин, Жданов, Щербаков и другие // Вопросы литературы. 2003. № 4. С. 212–258; № 5. С. 241–297.
- Мир русской культуры. Энциклопедический словарь. М.: Вече, 1997.
- Моль А. Социодинамика культуры. М.: Прогресс, 1973.
- Русские писатели XX века. Биографический словарь. М.: Большая российская энциклопедия, 2000.
- Сакулин П.Н. Социологический метод в литературоведении. М.: Мир, 1925.
- Справочник Союза писателей СССР. М.: Советский писатель, 1981.
- Суций С.Я. Русская литература XIX – начала XX в.: социодинамический анализ писательского сообщества // Социологические исследования. 2020. № 2. С. 128–143. DOI: 10.31857/5013216250008500-3.
- Фриче В.М. Социология искусства. М.-Л.: ОГИЗ, 1929.
- Цесельчук Д. Краткий курс истории Союза литераторов России. // Литературные известия. 2010. № 13(43). URL: <https://www.litiz.ru/nomer.php?id=1834> (дата обращения: 15.08.2020).
- Escarpit R. Sociologie de la literature. Paris: Press Universities de France, 1958.

Статья поступила: 26.05.20. Финальная версия: 18.08.20. Принята к публикации: 25.12.20.

RUSSIAN LITERATURE OF THE SOVIET PERIOD – SOCIO-DYNAMICS OF THE WRITERS' COMMUNITY

SUSHCHIY S.Ya.

FIC Southern Scientific Center of the Russian Academy of Sciences, Russia

Sergey Ya. SUSHCHIY, Dr. Sci. (Philos.), Chief Researcher, FIC Southern Scientific Center, Russian Academy of Sciences, Rostov-on-Don, Russia (SS7707@mail.ru).

Acknowledgements. The work was performed as part of the fulfillment of the State assignment of the Southern Scientific Center of the Russian Academy of Sciences, subject No. AAAA-A19-119011190184-2.

Abstract. The article investigates quantitative and spatial dynamics, social structure, creative specialization, national composition and gender ratio of Russian writer community of the Soviet period. The study made it possible to establish that the dynamics of the significant parameters of this creative group was determined by the constructivist activities of the Soviet government. But the development of the writing community was also influenced by the evolution of literature itself, as an element of Russian and world culture, and as a social institution associated with the systemic dynamics of twentieth-century society. Throughout the Soviet period, the Russian writers' community of the USSR was formed mainly by people from the intelligentsia (60–70% of debut authors in each of the decades). During the Soviet period, the writing community grew significantly and increased the number of its centers. The Russians remained its dominant national group. The second group were Jews, who accounted for 20–30% of the authors. But in the 1920–1940s writers of Jewish origin, first of all, represented Russian Soviet literature, and in the 1970–1980s. dominated the Russian literary abroad. The leading creative specializations of Russian Soviet writers were prose and poetry. The general ratio of specializations in the writing community has continuously changed over time, but the amplitude of this dynamics itself has significantly decreased in comparison with the imperial period.

Keywords: Russian literature, the Soviet period, the writing community, social dynamics, creative specializations.

REFERENCES

- All-Union Census of 1939. (1992) Main Results. Moscow: Nauka. (In Russ.)
- Antipina V.A. (2005) *Daily Life of Soviet Writers. 1930–1950-s*. Moscow: Molodaya gvardiya. (In Russ.)
- Berg M. (2000) *Literarykratiya*. Moscow: Novoe literaturnoe obozrenie. (In Russ.)
- Bourdieu P. (1993) The Market of Symbolic Products. *Voprosy sotsiologii* [Issues of Sociology]. No. 1/2: 49–62. (In Russ.)
- Directory of the Union of Writers of the USSR. (1981) Moscow: Sovetskii pisatel'. (In Russ.)
- Dubin B.V. (2010b) Literary Culture Today: Social Forms, Iconic Figures, Symbolic Samples. In: *Classics After and Nearby*. Moscow: Novoe literaturnoe obozrenie: 47–65. (In Russ.)

- Dubin B.V. (2010a) On the Problem of the Literary Canon in Modern Russia. In: *Classics After and Nearby*. Moscow: Novoe literaturnoe obozrenie: 66–75. (In Russ.)
- Escarpit R. (1958) *Sociology of Literature*. Paris: Press Universities de France. (In Fr.)
- Fritsche V.M. (1929) *Sociology of Art*. Moscow-Leningrad: Ogiz. (In Russ.)
- Kazak V. (1996) *Lexicon of Russian Literature of the 20th Century*. Moscow: Kultura. (In Russ.)
- Maksimenkov L. (2003) Essays on the Nomenclature History of Soviet Literature (1932–1946). Stalin, Bukharin, Zhdanov, Shcherbakov and others. *Voprosy literary [Issues of Literature]*. No. 4: 212–258; No. 5: 241–297. (In Russ.)
- Mole A. (1973) *Sociodynamics of Culture*. Moscow: Progress. (In Russ.)
- Russian Writers of the 20th Century: Biographical Dictionary*. (2000) Moscow: Bol'shaya rossiyskaya entsiklopediya. (In Russ.)
- Sakulin P.N. (1925) *Sociological Method in Literary Studies*. Moscow: Mir. (In Russ.)
- Sushchiy S.Ya. (2000) Russian Literature – Sociodynamic Analysis of the Writers' Community (19th – early 20th Century). *Sotsiologicheskiye issledovaniya [Sociological Studies]*. No. 2: 128–143. DOI: 10.31857/5013216250008500-3. (In Russ.)
- The World of Russian Culture: Encyclopedia Guide*. (1997) Moscow: Veche. (In Russ.)
- Tseselchuk D. (2010) A Short Course in the History of the Union of Writers of Russia. *Literaturnyye izvestiya [Literary Review]*. No. 13(43). URL: <https://www.litiz.ru/nomer.php?id=1834> (accessed 15.08.2020). (In Russ.)

Received: 26.05.20. Final version: 18.08.20. Accepted: 25.12.20.

© 2021 г.

В.Л. ШУЛЬЦ, Т.М. ЛЮБИМОВА

РОССИЙСКИЙ СОЦИУМ И ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ШУЛЬЦ Владимир Леопольдович – член-корреспондент РАН, заведующий кафедрой Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова (cona01@yandex.ru); ЛЮБИМОВА Татьяна Михайловна – доктор философских наук, кандидат филологических наук (t.ljubimova@yandex.ru). Оба – Москва, Россия.

Аннотация. В статье анализируются социальные причины снижения качества современного русского языка (в частности поляризация и радикализация общества), приводятся различные формы языковой агрессии (нецензурная брань, инвективная лексика) как языковые реалии, информирующие о жизни общества. Как одна из особенностей языкового существования современной России рассматривается радикализация детской речи в естественной языковой среде. Затрагивается проблема лингвистической безопасности личности, общества и государства. Показывается, что лингвистическую угрозу несет в себе логосфера, окружающая современного русскоязычного человека, охватывающая немалую часть социального пространства, состоящего из ложных конструктов, симулякров, перевернутых фреймов, политических мифов. Констатируется феномен современного западно-русского дискорданса как несостоятельность диалога цивилизаций, в основе которого – неэквивалентность политических структур и социальных механизмов двух типов общества, и анализируется одна из составляющих этого феномена – феноменология современного российского протеста в его отличии от западного.

Ключевые слова: поляризация общества • радикализация общества • межкультурная коммуникация • социальный протест • инвективная лексика • нецензурная брань • лингвистическая картина мира • девальвация языка • языковая агрессия • лингвистическая безопасность • интралингвистический дискорданс

DOI: 10.31857/S013216250011915-9

Известный российский филолог Г. Гусейнов не так давно преподнес российскому обществу новую шоковую терапию, посетовав, что в Москве «невозможно днем с огнем найти ничего на других языках, кроме того убогого клоачного русского, на котором сейчас говорит и пишет эта страна»¹. «Врачевать» скандальную ситуацию взялись многие, в том числе авторитетный русист М.А. Кронгауз, который предположил, что пост Г.Г. Гусейнова «был провокационный и тем самым рассчитанный на осуждение»², т.е. был запущен скрытый панегирик русскому языку под маской явной инвективы.

В своем выступлении на заседании Совета при президенте по русскому языку В.В. Путин назвал хулителей русского языка «пещерными русофобами», а «уникально богатый,

¹Профессор из ВШЭ назвал свой пост об убогом русском языке вершиной карьеры // Lenta.ru. 2019. 5 ноября. URL: <https://lenta.ru/news/2019/11/05/guseinov> (дата обращения: 07.11.19).

²Максим Кронгауз: Я ничего не писал по поводу поста Гасана Гусейнова... Однако ситуация изменилась // Эхо Москвы. 2019. 4 ноября. URL: https://echo.msk.ru/blog/echo_msk/2531259-echo/ (дата обращения: 11.11.19). М.А. Кронгауз является автором монографии «Русский язык на грани нервного срыва» (М.: Языки славянской культуры, 2007). – Прим. авт.

многообразный, многогранный русский язык», который «служит основой духовно-исторической общности десятков самобытных культур и народов», причислил к мировому культурному наследию³. По его мнению, в некоторых странах объявление войны русскому языку «становится вполне официальной государственной политикой». Таким образом, президент России по сути сообщил о том, что русский язык вступил в войну с международной коалицией языков и что Россия отныне ведет лингвистические войны.

Как известно, лингвистическая война – это одна из форм новой, неконвенциональной («гибридной») войны. В современном мире политическая, экономическая, идеологическая борьба может латентно протекать под маской лингвистических войн. Французский исследователь Ш. Дюран в книге «Французский язык: козырь или препятствие» раскрывает эту транслингвистику современного мира на примере противоборства между английским и французским за мировое господство [Durand, 1997]. Как показывает он, англоязычные страны нередко используют против своих соперников агрессивные технологии, которые заключаются в дискредитации французского языка, в вытеснении его английским на территории африканских и азиатских стран, в попытках вбить клин между местными языками и французским путем «выпячивания» его чужеродной природы. Тем же народам, которые еще рассматривают французский язык как полюс притяжения, американцы не колеблясь предрекают закат и даже гибель национальной культуры. В свою очередь, Ш. Дюран наносит англоманам ответный удар, развенчивая пять традиционных «мифов» об английском языке (английский – это не латынь современности и не эсперанто и т.д.).

Действительно, согласно многим прогнозам в середине XXI в. может наступить планетарный экологический и социальный коллапс. В наступающий момент в невыигрышном положении оказывается ряд западных стран, возможность самообеспечения которых за счет собственных ресурсов крайне ограничена. Ресурсодефицитом во многом обусловлена борьба этих стран «за великие экономические рынки будущего» – борьба ведется в том числе лингвистическими методами. Однако для России с ее географической самодостаточностью великие экономические рынки пролегают скорее по внутреннему, а не по внешнему контуру ее границ, они не завоевываются экспансионистской лингвистической политикой, а удерживаются скоординированными усилиями, направленными против дезинтеграции российского пространства; лингвоактивизм носит скорее центроостремительный, не центробежный характер. Естественно предположить в этой связи, что языковая политика России как форма участия государства в формировании национального проекта должна быть сосредоточена в основном на внутренних аспектах функционирования русского языка. Возможно поэтому поставленная президентом РФ задача «сформировать активную и целостную языковую политику, которая обеспечит сохранение и развитие русского языка»⁴, включила преимущественно внутренние ориентиры русофонии: 1) «повышение качества подготовки профильных педагогов образовательных организаций всех уровней»; 2) «культура русского языка в российской медиаотрасли, включая цифровое пространство»; 3) правовое обеспечение развития русского языка, включая анализ соответствующих норм действующего законодательства (ФЗ «О государственном языке РФ», ФЗ «О языках народов РФ») и внесение в них коррективов; 4) создание межведомственной комиссии по русскому языку; 5) подготовка единого корпуса словарей, справочников, грамматик, содержащих нормы современного литературного русского языка. Позднее президент России утвердил поручения по итогам заседания Совета по русскому языку, в частности, поручив правительству издать правовой акт, предусматривающий утверждение норм современного русского литературного языка⁵.

³Заседание Совета по русскому языку // Президент России [официальный сайт]. 2019. 5 ноября. URL: <http://kremlin.ru/events/president/news/61986> (дата обращения: 05.11.19).

⁴Там же.

⁵Перечень поручений по итогам заседания Совета по русскому языку // Президент России [официальный сайт]. 2020. 1 марта. URL: <http://www.kremlin.ru/acts/assignments/orders/62918> (дата обращения: 14.09.20).

Однако при всей диверсификации мер, направленных на совершенствование русского языка, создается впечатление, что этот сценарий «глобальной конкурентоспособности и притягательности русского языка» – не более чем эффективный топ-менеджмент, то есть попытка решить внутренние, сущностные, матричные проблемы языкового бытия и развития внешним и формальным путем. И причина подобной мутации «заключается в том, что у нас форму всегда принимают за сущность, а модный костюм – за европеизм» [Белинский, 1981: 373]. Современный русский язык болен; «можно сказать, что современный русский язык поражен по всем пунктам» [Рождественский, 1995: 118], его оздоровление требует не столько средств наружного применения, сколько внутреннего лечения, ибо язык всегда несет в себе дух народа, «тайну народной психеи» [там же: 370]; любой язык, даже когда «описывает совершенно сторонний мир, глядит на него глазами своей национальной стихии, глазами всего народа»⁶. Языковая картина мира отражает состояние жизни народа, а народ все еще находится под влиянием «шоковой терапии», которая, утверждает в полемической форме С.Г. Кара-Мурза, привела к постепенному разрушению культурного ядра советского народа: «Был произведен демонтаж исторической памяти, причем на очень большую глубину, разрушен универсум символов, скрепляющих национальное сознание, испорчен язык и внесен хаос в шкалу ценностей и ориентиров для различения добра и зла» [Кара-Мурза, 2007: 10]. То есть путем демонтажа центральной матрицы мировоззрения произошло рассыпание народа, и русский язык как основа интеграционных процессов внутри российского общества и на всем постсоветском пространстве не смог процесс распада остановить.

Адекватное понимание этой диалектической взаимосвязи языка и народа/народности, взаимодействующих по принципу сообщающихся сосудов, содержится в некогда культовой статье И.В. Сталина «Марксизм и вопросы языкознания», полемически направленной против учения о языке Н.Я. Марра, хотя понятно, что языковая концепция И.В. Сталина не может сегодня «полностью удовлетворить товарищей»⁷: «Стоит только сойти языку с этой общенародной позиции, стоит только стать языку на позицию предпочтения и поддержки какой-либо социальной группы в ущерб другим социальным группам общества, чтобы он потерял свое качество, чтобы он перестал быть средством общения людей в обществе, чтобы он превратился в жаргон какой-либо социальной группы, деградировал и обрек себя на исчезновение».

Качество русского языка катастрофически снизилось в годы перестройки и реформ именно из-за поляризации общества до антагонистических величин. Для современного рыночного социума можно вывести формулу прибавочной стоимости, которая включает, дополнительно к марксистской, как минимум четыре составляющие эксплуатации труда [Шульц, Любимова, 2019а]. С эксплуатацией труда связано невиданное расслоение российского общества. Как показали исследования ведущих экономистов, по уровню неравенства распределения богатства (коэффициент Джинни) Россия опережает любую другую крупную страну [Гуриев, Цывинский, 2012]. Иными словами, за исторически сверхкороткий срок Россия превратилась из мирового лидера по равенству распределения доходов между своими согражданами в мирового лидера по неравенству, по разрыву между богатыми и бедными.

Поляризация общества неизбежно влечет за собой его *радикализацию*. Но ведь о жизни общества информирует язык: язык отражает мир, не являясь, однако, зеркальным отражением объективных реалий мира в духе монад Г.В. Лейбница. Отражение языком мира – это не плоское изображение, а трехмерная модель, измерениями которой являются: 1) объективные параметры реальности в конкретно-чувственной синхронной форме, 2) субъективная рефлексия как ментальная операция обработки поступающей информации,

⁶С. 51. Гоголь Н.В. Несколько слов о Пушкине // Гоголь Н.В. Полн. собр. соч. в 14-ти т. Т. 8. М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1952.

⁷Сталин И.В. Марксизм и вопросы языкознания // Правда. 1950. 20 июня.

3) конвенциональные стереотипы и архетипы как опыт предшествующих поколений, растворенный в языке априорно [Шульц, Любимова, 2019б: 23]. Отражая объективный мир через призму субъективного мира каждого речедеятеля, который и становится компонентом языкового универсума, язык *радикализируется* вместе с обществом.

Радикализация языка, будь то нецензурная брань, инвективная лексика и другие формы языковой агрессии, проявляется и на уровне личности (искажение информационной картины мира современного человека, которая создается вербальными средствами; нарушение защитных механизмов сознания при восприятии бранной, обценной лексики), и в масштабах общества и государства (девальвация статуса языка как основы государственности, инструмента интеграции социального пространства, механизмы культурной преемственности народа). Четверть века назад филологи-русисты отмечали ряд негативных моментов, сопряженных с функционированием русского языка: стилистическая и фонетическая ущербность речи культивируется в средствах массовой информации; снижение словесно-эстетического качества литературы за счет формирования обширного рынка развлекательной литературы; широкое распространение уголовной лексики и сленга; засилье англицизмов; смещение семантики целых лексических пластов в связи с переосмыслением традиционных ценностей; отставание в самом ядре новейших языковых технологий, таких как компьютерная речь; сокращение персоналистического фундамента русского языка, то есть русскоговорящих, – в России, на постсоветском пространстве и в мире [Рождественский, 1995: 118]. За истекшие годы были предприняты, казалось бы, немалые усилия по возрождению чистоты и правильности русского языка, по защите его прав и прав русскоговорящих. В частности, приняты «Закон о государственном языке Российской Федерации» (2005) и «Закон о внесении изменений в статью 4 Закона РФ “О средствах массовой информации” и статью 13.21 Кодекса РФ об административных правонарушениях» (2013), более известный как Закон о нецензурной брани в СМИ. Однако первому из этих законов суждено было стать явлением декларативным: очевидно, он не создал юридический механизм оздоровления бытовой русской речи, в которой именно за последние годы обценная (матерная) лексика стала привычным способом связи слов между собой, а «дыр бул щыл»⁸ наукообразных англицизмов препятствует адекватному пониманию смысла даже в среде образованных людей. Лимитационный характер второго закона (действие его ограничено относительно благополучным массово-информационным пространством, фильтруемым от самотека) не способствует сохранению душевного равновесия и защите нравственного самочувствия русскоговорящих в естественной языковой среде [Любимова, Данилова, 2014: 332].

Уникальность языкового существования современной России заключается в том, что в естественной языковой среде *радикализируется* не только взрослая, но и детская речь [Шульц, Любимова, 2019б: 12–13]. Выдающийся швейцарский исследователь психологии ребенка, создатель теории когнитивного развития Ж. Пиаже утверждал, что от социальной среды зависит сама структура мышления ребенка (индивида) [Пиаже, 1932: 55–56]. Советские исследователи (Л.С. Выготский), правда, считали, что Ж. Пиаже преувеличил роль социализации в развитии сознания и языка, «видит в социализации единственный источник развития логического мышления» и недооценивает, во-первых, роль симпрактической деятельности в процессе онтогенеза (для него «ребенок непроницаем для опыта») и, во-вторых, значение синкретизма, «который руководит детской мыслью, когда она движется в сфере, оторванной от опыта» [Выготский, 2002: 311], помогая понять сложные явления мира по аналогии с простейшими формами пережитого и становясь прообразом будущих причинных связей. Если переформулировать мысль Л.С. Выготского, сократив слова, получится, что основополагающим фактором развития ребенка, его сознания и речи является активное воздействие действительности. Но психоанализ, на который во многом опиралось учение Ж. Пиаже, этого воздействия не отрицает, а в максимальной

⁸Начало стихотворения поэта-футуриста А.Е. Крученых.

мере его учитывает, в том числе в форме скрытого травмирующего фактора, вытесненного сознанием ребенка на подсознательный уровень. По сути, две модели развития сознания и формирования речи, предложенные психологией (с одной стороны, «от аутизма, от миражного воображения, от логики сновидения к социализированной речи и логическому мышлению, переваливая в своем критическом пункте через эгоцентрическую речь», и с другой – «от социальной речи ребенка через перевал его эгоцентрической речи к его внутренней речи и мышлению» [Выготский, 2002: 297]), которые противопоставляются как полярные подходы эвристики, едины в признании активности и значимости воздействия социума на становление личности и ее речи. «Действительное движение процесса развития детского мышления совершается не от индивидуального к социализированному, а от социального к индивидуальному – таков основной итог как теоретического, так и экспериментального исследования интересующей нас проблемы» [там же: 298]. Этот категорический вывод не умаляет значимости социального для обеих динамических моделей. Единственное существенное различие заключается в том, что для советской психологии социальный фактор в динамике развития личности имеет подчеркнуто деятельностный характер и практическую реализацию.

Учитывая процесс социализации детской мысли, можно утверждать, что языковая агрессия, и прежде всего детская нецензурная брань, отражает экстремальную радикализацию российского рыночного общества – общества постсолидарности и постсправедливости. В этом апокалипсисе именно детские уста, легко и свободно владеющие матерным языком, выносят этому обществу совсем не сказочный вердикт: «А король-то голый». Если провести вульгарный социологический эксперимент и отправиться в общественные места отдыха той части российского населения, которая в результате реформ «оказалась не на лучшей стороне биополитики» [Бросса, 2003: 84], придется констатировать, что повседневные речевые практики горожан и жителей сельской местности осуществляются в значительной мере на матерном языке, а среди детей и подростков от 8 до 17 лет такого рода речевой жанр занимает значительную часть общего языкового континуума. При этом парадоксален факт, что матерные инвективы (по сути проклятье матери в наиболее циничной и скабрёзной форме) произносят дети того возраста, когда в детской психике еще не намечается неизбежное, возрастное дистанцирование от родителей, когда не перерезана интеллектуальная и эмоциональная «пуповина» с матерью. Поэтому подобная коммуникативная практика для ребенка саморазрушительна. Через язык, через «языковой хаос» идет саморазрушение личности, общества, культуры.

Таким образом, поставленная президентом России проблема лингвистической безопасности личности, общества и государства не сводится к речевой деятельности «пещерных русофобов», маргиналов и агрессивных националистов. Лингвистическую угрозу таит в себе вся логосфера, окружающая современного русскоязычного человека, отражающая несовершенство социума, в политическом резервуаре которого он живет; охватывающая все социальное пространство, в немалой степени состоящее из ложных конструктов, симулякров, перевернутых фреймов, политических мифов.

Позволим себе небольшую ремарку дискуссионного характера относительно концепции русофонии, представленной президентом России. В.В. Путин говорил о «пещерных русофобах», объявляющих войну русскому языку. В последнее время в научной литературе и публицистике ожил термин «русофобия», широко бытовавший в патриотических изданиях эпохи перестройки (до перестройки его аналогом был, скорее, «антисоветизм») [Любимова, 2019: 10–16]. «В последние годы русофобия как идеологическая позиция снова стала ведущей тенденцией СМИ западного мира, который постулирует презумпцию виновности русских и тем самым совершает преступление против права... Русофобия – это основанное на исторических фальсификациях и политических инсинуациях принципиально отрицательное отношение к русским как этносу, к русской культуре, к русской цивилизации, к русскости как таковой», – пишет А.Н. Ильин в содержательно насыщенной статье «Русофобия как содержательно пустая идеологическая позиция Запада» [Ильин, 2018: 13].

Если эту содержательность представить сжато, получится, что мы, россияне, трижды нелюбимы: 1) как носители русской культуры, 2) как этнос, 3) как политико-экономическая модель общественного устройства. Три составляющие идеологической позиции автора требуют некоторых уточнений.

Во-первых, культурное взаимодействие русского и других европейских народов давно стало явлением хрестоматийным и эталонным. Золотые песчинки культурных обменов, из которых строилось золотое наследие совместной культуры, нельзя ни утаить, ибо в них генетически заложены архетипы народного сознания, ни разрушить, так как это будет одновременно самоубийственной практикой, саморазрушением, тем самым саморазрушением ребенка, говорящего с матерью на матерном языке.

Во-вторых, исключена сегодня и этническая русофобия. Если в конце XIX в. уважаемый в те времена исследователь (Г. Лебон, автор книги «Психология народов и масс») мог себе позволить искать соответствия между анатомическим строением черепа того или иного этноса и свойственными ему чертами характера, то после Второй мировой войны такой подход грозил вызвать только скандал. «После Освенцима нельзя писать стихов» (Т. Адорно). После разгрома фашизма в западном мире наступает эпоха толерантности, прежде всего расовой и национальной.

В-третьих, что касается политической и экономической модели, которую выбрала современная Россия, тут действительно просматриваются серьезные расхождения с Западом. В основе этих экономических противоречий лежит геополитический метаконфликт Запада с Россией. Национальный и клановый прагматизм, необходимость собственного выживания, сохранение высокого уровня жизни своих народов, при некотором снижении которого граждане незамедлительно выходят на улицы и вспоминают, что говорил Робеспьер в Конвенте в 1792 г. [Tous dans la rue..., 2011: 9], – задает западным интеллектуалам и политикам определенный тон в отношении России. Доминирует в этой западной риторике неприятие курса российского руководства, направленного на укрепление российского единства и защиту национальных интересов.

Можно ли назвать эту комплексную систему воздействия русофобией? Думается, нет. Дважды нет. Во-первых, как мы видели, в ней принципиально не может быть «русскости как таковой» по законам постнюрнбергского мироустройства. Во-вторых, в ней нет фобии, потому что фобия как иррациональный страх и устойчивое переживание относится к эмоциональной сфере сознания; отношение же к России строится на холодном расчете, оно рационально, прагматично: это, скорее, плод картезианского сознания западного человека в эпоху постмодерна.

Если вернуться к «лингвософии» Г. Гусейнова, породившей в 2019 г. яростную полемику, то она богата еще одним высказыванием: «Язык, из которого вынута удивление: черт побери, а мир-то населен более умными и человечными людьми, чем я и мои соотечественники, как же так?»⁹. Конечно, Г. Гусейнов дипломатично добавляет, что имеет в виду не язык в целом, а «клоачников», которые пользуются этим языком, – средства массовой информации, политиков, юристов, сотрудников правоохранительных органов, «которые измываются, глумятся над языком».

Если бы в свое время «крошка сын к отцу пришел», т.е. Г. Гусейнов узнал бы от своего отца, советского филолога Ч. Гусейнова, изучавшего, в частности, двуязычное художественное творчество в советской литературе, основные идеи ленинско-сталинского языкознания, он сформулировал бы свою мысль четче: не отдельных «клоачников», а надстройку общества, порожденную базисом, – «политические, правовые, религиозные, художественные, философские взгляды общества и соответствующие им политические, правовые и другие учреждения»¹⁰. Но вместо «марксистской четкости» Г. Гусейнов представил склонение прилагательного «клоачный».

⁹ Гусейнов Г. Клоачный бес в остром дыме // Эхо Москвы. 2019. 3 ноября. URL: <https://echo.msk.ru/blog/statya/2531039-echo/> (дата обращения: 09.11.19).

¹⁰ Сталин И.В. Марксизм и вопросы языкознания // Правда. 1950. 20 июня.

Если перейти с языка «клоачного» на метаязык постмодерна, то очевидно, что Г. Гусейнов говорит не о так называемом *интерлингвистическом диссонансе*, который означает непроницаемость друг для друга разных языков в условиях несовпадения языковой картины мира народов (что осознается, например, в процессе перевода одной текстуальной системы в другую), а об *интралингвистическом дискордансе* как невозможности межкультурной коммуникации, несостоятельности диалога цивилизаций, ограниченности пределов их взаимодействия.

В этом отношении следует признать, что сегодня Россия и большинство стран западного мира действительно говорят на разных языках, язык социального взаимодействия пока не выработан. Современный западно-российский дискорданс имеет своей метапричиной неэквивалентность политических структур и социальных механизмов двух типов общества. Как известно, в западноевропейских странах исторически сложилось государство-нация, основанное на гражданском обществе. В России гражданского общества так и не возникло; современное российское общество можно было бы определить как посттрадиционное. Конфликт двух типов культур, выросших на разной языковой матрице, может быть осмыслен на каузальном уровне социально-политической интерпретации как ценностная разнонаправленность идеологий традиционного (посттрадиционного) и гражданского общества.

Смысловые реалии современного российско-западного коллапса рассмотрены нами ранее: 1) семантика политического механизма легитимности власти, 2) семантика экономических процессов, 3) азбука социальных протестов, 4) правозащитный нонсенс, 5) символика конспирологии [Шульц, Любимова, 2017]. Сегодня все они обрастают новыми коннотациями. Рассмотрим это на примере «азбуки социальных протестов». Приведем две сопоставительные позиции.

Первая – вынесенный Лионским судом оправдательный приговор двум французским активистам, срывавшим со стен мэрии портрет президента Франции Э. Макрона. В своем решении судья признал, что сам предмет (портрет) имеет лишь символическую (а не материальную) ценность, поэтому штраф за порчу имущества неуместен. По мнению судьи, двадцать активистов, ворвавшихся в здание мэрии, лишь «очень умеренно» нарушили общественный порядок, и подобное отношение к главе государства может считаться допустимым (*“une interpellation légitime du président de la République”*)¹¹.

Сопоставительная позиция – приговор одному из фигурантов так называемого московского дела, Павлу Устинову, за участие в несанкционированной акции протеста. Всплеск общественного негодования, вызванный этим приговором, связан с тем, что обвиняемый, по его собственному утверждению и по свидетельству многих участников, не участвовал в акции, а лишь стоял в стороне. Таким образом, ему могла инкриминироваться только несанкционированность мероприятия, за которым он наблюдал. Однако сама санкционированность этой несанкционированности может быть поставлена под сомнение. В открытом письме председателю Конституционного суда РФ В.Д. Зорькину от юристов-государственников по поводу массовых беспорядков в Москве летом 2019 г. напоминаются правовые позиции Конституционного суда РФ, выработанные при рассмотрении разных дел, в частности постановление Конституционного суда от 10 февраля 2017 г. № 2-П «По делу о проверке конституционности положений статьи 212.1 Уголовного кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданина И.И. Дадина»¹². Основные правовые позиции, которые напомнил Конституционный суд РФ (реагирование публичной власти на подготовку и проведение акций должно быть нейтральным; публичные власти должны проявлять толерантность по отношению к мирным собраниям; для ограничения политических выступлений должны быть веские причины; исполнение мер безопасности не может быть самоцелью и не должно создавать скрытые препятствия для реализации

¹¹ LeMonde. 2019. 16 сентября.

¹² Новая газета. 2019. 17 сентября.

свободы мирных собраний), ставят под сомнение законность вынесения обвинительных приговоров только на основании несанкционированного характера мероприятия, в котором было принято участие. Других оснований для привлечения к уголовной ответственности Павла Устинова, видимо, не было.

Таким образом, говоря литературным (не «клоачным») языком, для лионских активистов предусмотрены «Дороги свободы» (Ж.-П. Сартр), а московскому фигуранту инкриминируется преступление (и наказание), и это уже не диссонансы межкультурной коммуникации, а международный коллапс.

Феноменология современного российского социального протеста (в отличие от среднезападного) заключается в следующем: российское правосудие склонно выносить обвинительные приговоры даже за участие в акциях с требованиями законности (если эти акции не санкционированы и по другим поводам); западное правосудие имеет установку на оправдание даже нигилистических протестных действий (в случае отсутствия явного физического ущерба другим лицам), рассматривая их как манифестацию духа республиканизма или демократизма.

Поэтому эпитетом «клоачный» Г. Гусейнов, по-видимому, «награждает» не столько русский язык, сколько современное российское социально-политическое устройство в целом, его внутренний разлад, сшибку политических дискордансов и социальных диссонансов. «Клоачный» русский язык – это язык, разрушающий сам себя, один из конструктов современного российского общества, подверженного «эрозии тех ценностных оснований (веры в исторический прогресс)», на которых строились социальный порядок и социальное знание [Гудков, 2012] и о которых с тревогой пишут социологи. Ж.Т. Тощенко назвал современное российское общество «травмированным обществом»: «Россия представляет собой травмированное общество, которому присущи взаимоисключающие ориентации и установки. В развитии этого общества противоречиво сочетаются попытки половинчатой и непоследовательной реставрации некоторых социальных традиций и норм жизни со стремлением следовать принципам рыночного фундаментализма и либерализма в русле “европейской цивилизации”, но модифицируя их на особый лад, с учетом его специфической евразийской ориентации» [Тощенко, 2017: 73]. По мысли исследователя, у общества травмы отсутствует ясная стратегия и понимание перспектив развития, а также активные творческие созидательные силы – «акторы коллективного действия»; для него характерны ничем не оправданный рост социального неравенства и конвертация ресурсов власти в капитал. Травмированное российское общество говорит на травмированном русском языке. Следует ожидать, что процесс возрождения русского языка начнется одновременно с возрождением российского общества, с новым позитивным вектором его социодинамики.

Добавим, Г. Гусейнов посетовал также, что из русского языка «вынуто удивление» происходящим. Действительно, язык умеет удивляться, и не только удивляться. Лингвопрагматика располагает инструментарием, позволяющим использовать материальное могущество слов. Для иллюстрации этого могущества Р. Дебрэ приводит слова с эффектом «скипетра» («отпускаю вам грехи» и т.д.), слова с эффектом «плацебо»: «Существует нечто, что один позитивист назвал эффектом плацебо, действующим при чудесном исцелении от приложения к образу или от наложения рук, при *talking cure* у психоаналитиков, или когда шаман своими заклинаниями облегчает роды у роженицы» [Дебрэ, 2010: 184]. Эффект-скипетр, эффект-плацебо, эффект-знание и др. – это манифестации принципа эффективности языка, его иллюкутивной силы, которая восходит к древней магии заклинаний и устремляется в будущее с помощью слов – кванторов будущности. Наделенный этой иллюкутивной силой язык, подобно своему носителю – *homo lingual* – обретает способность информировать, созидать, предвосхищать, анализировать, объединять, смеяться, молчать., а также – в духе диалектики – разрушать, разъединять, таить, лгать, манипулировать, кричать [Шульц, Любимова, 2019б: 11]. Язык умеет также удивляться. Если использовать схему генеративной (порождающей) грамматики Н. Хомского, то на уровне

поверхностной структуры языка это удивление передается многочисленными языковыми средствами (от вопросительных и восклицательных частиц до знаков препинания), а на уровне глубинной структуры – это вербально выраженная когнитивная эмоция, возникающая при появлении неожиданной ситуации или отклонения от нормы.

В категориях этой науки, которая изучает язык, но отнюдь не является лингвистикой (а «металингвистикой» М.М. Бахтина; «транслингвистикой» Ю. Кристевой), можно высказать гипотезу, что русский язык возродит в себе способность удивляться, – но удивляться гармонии национального бытия, а не его дискордансам и диссонансам, что позволит в дальнейшем сказать, как это сделал президент России на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию РФ: «Русский язык – это фундаментальная ценность нашей страны, государствообразующий фактор, безусловно, и язык межнационального общения»¹³.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Белинский В.Г. Собр. соч. в 9-ти т. Т. 6. М.: Худ. лит-ра, 1981.
- Бросса А. Невыговариваемое // Мир в войне: победители/побежденные. 11 сентября глазами французских интеллектуалов. М.: Прагматика культуры, 2003.
- Выготский Л.С. Психология. М.: Апрель ПРЕСС; ЭКСМО-ПРЕСС, 2002.
- Гудков Л. Доверие в России: смысл, функции, структура // Новое литературное обозрение. 2012. № 5(117). С. 249.
- Гуриев С., Цивинский О. Ratio economica: Первая среди равных // Ведомости. 2012. 06 ноября. № 3224.
- Дебре Р. Введение в медиологию. М.: Праксис, 2010.
- Ильин А.Н. Русофобия как содержательно пустая идеологическая позиция Запада // Информационные войны. 2018. № 4. С. 13–19.
- Кара-Мурза С.Г. Объединение народа как условие восстановления державы // Информационные войны. 2007. № 3. С. 9–13.
- Любимова Т.М., Данилова А.А. Лингвистическая безопасность личности, общества и государства в модуле лингвоконфликтологии // Национальная безопасность. 2014. № 2. С. 328–337.
- Любимова Т.М. Противостояние России и Запада: русофобия или информационное моделирование в условиях геополитического коллапса? // Информационные войны. 2019. № 1. С. 10–16.
- Пиаже Ж. Речь и мышление ребенка. М.; Л.: Учпедгиз, 1932.
- Рождественский Ю.В. О современном положении русского языка // Вестник Московского университета. Серия 9. Филология. 1995. № 3. С. 117–129.
- Тощенко Ж.Т. Травма общества: между эволюцией и революцией // ПОЛИС. Политические исследования. 2017. № 1. С. 72–75.
- Шульц В.Л., Любимова Т.М. Интерлингвистический диссонанс и интралингвистический дискорданс в ракурсе социологии // Социологические исследования. 2017. № 11. С. 129–139. DOI: 10.7868/S0132162517110149.
- Шульц В.Л., Любимова Т.М. Классовая борьба во Франции: социальный протест в неомарксистской интерпретации // Социологические исследования. 2019а. № 10. С. 27–38. DOI: 10.31857/S013216250007108-1.
- Шульц В.Л., Любимова Т.М. Язык как конструкт реальности и сверхреальности. М.: Наука, 2019б.
- Durand Ch. La langue française: atout ou obstacle. Réalisme économique, communication et francophonie au XX siècle. Toulouse: Presses universitaires de France, 1997.
- Tous dans la rue. Le mouvement social de l'automne 2010. Paris: Seuil, 2011.

Статья поступила: 16.01.20. Финальная версия: 21.09.20. Принята к публикации: 11.01.21.

¹³ Путин назвал русский язык одним из государствообразующих факторов // ТАСС. 2020. 13 февраля. URL: <https://tass.ru/obschestvo/7755799> (дата обращения: 14.09.2020).

RUSSIAN SOCIETY AND LINGUISTIC CONSIDERATIONS

SCHULZ V.L.*, LIUBIMOVA T.M.

*Lomonosov Moscow State University, Russia

Vladimir L. SCHULZ, Correspondent Member of Russian Academy of Sciences, Head of Department, Lomonosov Moscow State University (cona01@yandex.ru); Tatiana M. LIUBIMOVA, Dr. Sci. (Philos.), Cand. Sci. (Philol.) (t.lyubimova@yandex.ru). Both – Moscow, Russia.

Abstract. The article analyzes social reasons (particularly, polarization and radicalization in the society) for the degradation of modern Russian language; it also sets forth different forms of verbal aggression (obscenities, invective) as the language phenomena that bear the information about the life of the society. Radicalization of the children's speech in the native language environment is considered as one feature of the linguistic situation in contemporary Russia; the article also considers linguistic safety of a person, society and state, points out that linguistic threat comes from logo sphere that surrounds Russian-speakers today and covers a great part of social space that incorporates false constructs, simulacra, reverse frames, political myths. Phenomenon of the discordance between Russia and the West is shown as a dialogue between civilizations that failed, being based on unequal political structures and social mechanisms of the two types. Also, the article analyzes one of the components of this phenomenon, i.e., phenomenology of contemporary Russian protest as compared to the Western one.

Keywords: Society polarization, society radicalization, intercultural communication, social protest, invective, obscenity, linguistic worldview, language devaluation, verbal aggression, linguistic safety, intralinguistic discordance.

REFERENCES

- Belinsky V.G. (1981) *Collected Works* in 9 vols. Vol. 6. Moscow: Khud. lit-ra. (In Russ.)
- Brossa A. (2003) Unpronounced. In: *World at War: Winners/Losers. September 11 as it Seen by French Thinkers*. Moscow: Pragmatika kultury. (In Russ.)
- Debray R. (2010) *Introduction to Mediology*. Moscow: Praxis. (In Russ.)
- Durand Ch. (1997) *The French Language: Asset or Obstacle. Economic Realism, Communication and Francophony in the 20th Century*. Toulouse: Presses universitaires de France. (In Fr.)
- Guriyev S., Tsyvinsky O. (2012) Ratio Economics: First among Equals. *Vedomosti* [Gazette]. November 6. No. 3224. (In Russ.)
- Ilyin A.N. (2018) Russophobia as Empty of Content Ideological Position of the West. *Informatsionnye voyny* [Information Wars]. No. 4: 13–19. (In Russ.)
- Kara-Murza S.G. (2007) People's Consolidation as a Precondition of the State Restoration. *Informatsionnye voyny* [Information Wars]. No. 3: 9–13. (In Russ.)
- Lyubimova T.M. (2019) Confrontation of Russia and the West: Russophobia or Information Modeling in the Conditions of Geopolitical Collapse. *Informatsionnye voyny* [Information Wars]. No. 1: 10–16. (In Russ.)
- Lyubimova T.M., Danilova A.A. (2014) Linguistic Security of a Person, Society and State within the Modus of Linguistic Conflict Studies. *Natsionalnaya bezopasnost* [National Security]. No. 2: 328–337. (In Russ.)
- Piaget J. (1932) *The Language and Thought of the Child*. Moscow; Leningrad.: Uchpedgiz. (In Russ.)
- Rozhdestvenskiy Yu.V. (1995) On the Current State of the Russian Language. *Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya 9. Filologiya* [Moscow University Philology Bulletin]. No. 3: 117–129. (In Russ.)
- Shultz V.L., Lyubimova T.M. (2017) Interlinguistic Dissonance and Intralinguistic Discordance in Terms of Sociology. *Sotsiologicheskie issledovaniya* [Sociological Studies]. No. 11: 129–139. DOI: 10.7868/S0132162517110149. (In Russ.)
- Shultz V.L., Lyubimova T.M. (2019a) Class Warfare in France: Neo-Marxist Interpretation of Social Protests. *Sotsiologicheskie issledovaniya* [Sociological Studies]. No. 10: 27–38. DOI: 10.31857/S013216250007108-1. (In Russ.)
- Shultz V.L., Lyubimova T.M. (2019b) *Language as Reality and Hyperreality Construct*. Moscow: Nauka. (In Russ.)
- Get Everybody out on the Street. *The Social Movement of Autumn 2010*. (2011) Paris: Seuil. (In Fr.)
- Vygodskiy L.S. (2002) *Psychology*. Moscow: Aprel PRESS; EKSMO PRESS. (In Russ.)

Received: 16.01.20. Final version: 21.09.20. Accepted: 11.01.21.

© 2021 г.

Л.Б. ЗУБАНОВА, Н.Л. ЗЫХОВСКАЯ, М.Л. ШУБ

АКТУАЛЬНЫЕ ТРЕНДЫ ПАМЯТИ: ПРОБЛЕМНОЕ ПОЛЕ ЖУРНАЛА *MEMORY STUDIES*

ЗУБАНОВА Людмила Борисовна – доктор культурологии, профессор кафедры культурологии и социологии Челябинского государственного института культуры (milazubanova@gmail.com); ЗЫХОВСКАЯ Наталья Львовна – доктор филологических наук, профессор кафедры литературы и русского языка Южно-Уральского государственного университета (национального исследовательского университета) (ladoga122@gmail.com); ШУБ Мария Львовна – доктор культурологии, доцент, заведующая кафедрой культурологии и социологии Челябинского государственного института культуры (shubka_83@mail.ru). Все – Челябинск, Россия.

Аннотация. В статье анализируется проблемное поле исследований памяти, представленных на страницах международного академического периодического издания “Memory Studies” за первые 12 лет его существования (2008–2019). На основе сплошной выборки опубликованных в журнале материалов (393 статьи) авторы выделяют содержащиеся в них базовые концепты и ключевые теговые-нарративы. Первые позволяют установить тематическую направленность современных исследований памяти, а вторые – определить преимущественный характер интерпретации мемориального дискурса. В заключение авторы делают вывод, что, несмотря на институционализацию в качестве самостоятельного исследовательского направления, *memory studies* продолжают сохранять присущую им тематическую непредсказуемость и разнообразие. По этой причине дать исчерпывающий ответ относительно закономерностей функционирования и дальнейшего развития данной области исследований на сегодняшний день невозможно.

Ключевые слова: изучение памяти • журнал “Memory Studies” • тренды памяти • базовые концепты • теговые-нарративы

DOI: 10.31857/S013216250010091-3

Введение. Последние десятилетия современная гуманитаристика, по выражению А. Ассман, «трещит по швам от натиска мемориальных исследований» [Ассман, 2018], активно развивающихся и по хронологической вертикали (за счет вовлечения новых исторических периодов), и по пространственной горизонтали (за счет расширения территориальных границ исследований). Об интенсивности увеличения их количества позволяет судить ироничный комментарий американского социолога Дж.К. Олика: «Еще юным доцентом я имел возможность приобрести все издания, посвященные данной теме, но став высокооплачиваемым профессором, разорился на покупке даже малой доли из них» [Olick, 2009: 249]. Описанная ситуация, с одной стороны, свидетельствует об устойчивости

Исследование осуществлено в рамках программы грантов Президента Российской Федерации для государственной поддержки молодых российских ученых – докторов наук (конкурс МД-2020), проект «Культура памяти индустриальных городов российской провинции: мемориальные стратегии региональной идентичности».

и усилении научного интереса к проблемам памяти (с 1990-х гг. и по настоящее время это направление переживает «третью волну» интереса [Сафронова, 2018]), вовлечении в орбиту мемориальных исследований новых авторов, расширении тематических рамок, развитии и углублении мемориального дискурса, а с другой – указывает на углубляющуюся диверсификацию *memory studies*, что в свою очередь способствует нарастанию критических настроений, в которых проявляется «недовольство мемориальной культурой» [Ассман, 2016]. Под давлением указанных обстоятельств происходит неизбежный мемориальный разворот в сторону меняющейся реальности с ее новыми ценностями, эмоциями, идеями, потребностями, и одним из важнейших индикаторов такого разворота может служить тематико-содержательная ориентированность мемориальных исследований.

Крупнейшей площадкой для публичной презентации научных достижений в сфере мемориальных исследований является журнал *Memory Studies*, основанный в 2008 г. с целью «обеспечить признание, задать форму и направление работы в этой зарождающейся области, а также содействовать созданию чрезвычайного важного форума для обмена мнениями и обсуждения теоретических, эмпирических и методологических вопросов, имеющих центральное значение для выработки общего на сегодняшний день понимания памяти» [Hoskins et al., 2008: 5]. Международный характер и позиция редакции, не ограничивающаяся рамками доминирующих (центрирующих) парадигмальных оснований, а напротив, ориентированная на тематическое и методологическое разнообразие, делают *Memory Studies* репрезентативным объектом для изучения ради выявления актуальных трендов в современном мемориальном дискурсе. Именно этим продиктован наш интерес к данному изданию.

Методика исследования. Эмпирическую базу анализа составили все материалы *Memory Studies* с момента его основания и по 2019 г. включительно – 393 статьи.

Исследование осуществлялось в два этапа. На первом этапе определялась **тематическая направленность** публикаций через фиксацию **базовых концептов** – вербализованных конструкций, выявляющих ядро позиции авторов при всем разнообразии ее изложения и заключающих в себе «единство смысловой, образной и ценностной стороны транслируемого сообщения» [Карасик, 2002: 33–34]. На основе совокупности базовых концептов, самостоятельно выработанных исследователями, была построена тематическая матрица, включающая следующие блоки:

- **тетоту-идентичность** – переплетение проблематики памяти и конструируемой на ее основе идентичности (национальной, гендерной, сексуальной и т.д.) носителей данных воспоминаний;
- **официальная риторика памяти** – стратегии презентации/избегания/фиксации/охранения, используемые в государственной политике памяти; публичные практики институционализации знаковых политических событий в истории страны;
- **автобиографическая память** – персонифицированный дискурс семейной памяти или описаний событий через уникальный «личный архив» конкретных субъектов;
- **медиатизация памяти** – осмысление цифровых технологий, обоснование роли социальных сетей и СМИ как средств фиксации воспоминаний; жанровое многообразие воплощений памяти в медиа-контенте;
- **топография памяти** – исследования мест памяти (мест поминовений) и артефактов как основы хранения «жизни события», их последующая мемориализация;
- **травма прошлого** – акцентирование внимания на дискурсе войны/военного конфликта, насилия, диктатуры и геноцида народов/сообществ;
- **арт-вариации памяти** – художественные практики и воплощения образов прошлого в искусстве;
- **научный тетоту-дискурс** – осмысление перспектив развития исследований памяти как отдельного направления и поля академических исследований, расширение междисциплинарных границ в изучении памяти.

В рамках второго этапа происходила фиксация **ключевых тегов-нарративов**, понимаемых как схемы, задающие оценочные рамки изучения прошлого, с целью определения **характера интерпретации** мемориального дискурса в современных исследованиях памяти. Всего было выделено три ключевых тегов-нарратива: 1) *репрессивная память* – акцент на негативных аспектах, деструктивном опыте прошлого; 2) *возвращенная память* – акцент на конструктивно-созидательных аспектах, рассмотрение ресурсов памяти как основания устойчивости настоящего и будущего; 3) *запечатленная память* – нейтральный (безоценочный) аспект фиксации событий прошлого.

Сведение смысловой, образной и ценностной составляющих каждой статьи к единым категориям анализа – базовым концептам и мемориальным нарративам – обеспечило необходимую для решения поставленной задачи схематизацию эмпирического материала и способствовало наглядности полученных результатов, пусть и за счет некоторого упрощения его содержательного разнообразия.

Тематическая направленность современных исследований памяти. Анализ распределения частоты представленности базовых концептов по годам позволил выявить динамику интереса исследователей к различным тематическим областям мемориального дискурса (табл. 1).

Таблица 1

Частота представленности базовых концептов в публикациях *Memory Studies*

Базовый концепт	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Всего
Научный тегов-дискурс	9	3	5	8	6	7	3	6	8	6	5	4	70
Травма прошлого	5	9	5	9	8	1	5	7	5	4	5	7	70
Тегов-идентичность	3	–	3	4	5	4	6	5	6	3	5	8	52
Медиатизация памяти	4	3	4	4	2	4	6	2	6	6	5	8	54
Арт-вариации памяти	2	2	4	1	2	6	1	3	4	6	5	8	44
Официальная риторика памяти	1	–	3	3	4	3	3	4	6	2	2	7	38
Автобиографическая память	2	2	5	2	1	4	5	2	2	4	3	5	37
Топография памяти	–	3	1	1	3	3	–	4	3	3	4	3	28

Лидирующая позиция *научного тегов-дискурса* как своеобразной формы исследовательской рефлексии вполне закономерна и соответствует заявленной миссии издания – быть дискуссионной площадкой для теоретических, методологических и эмпирических поисков (см.: [Hoskins et al., 2008: 5]). В публикациях подобного рода обсуждаются проблемы институционализации *memory studies*, новые подходы и методологические принципы анализа культурной памяти, а также представляются отчеты о конференциях, посвященных общему мемориальному дискурсу.

Другая столь же устойчиво воспроизводимая в исследованиях памяти тема – *травмирующее прошлое* в ситуации переживания забвения (концепт «травма прошлого»). Господствующим нарративом в данном случае оказывается Холокост – трагедия, озвученная «выжившими» как особым типом акторов. Однако нельзя не отметить все сильнее проявляющуюся тенденцию к увеличению пространственно-территориального и исторически-событийного разнообразия в рамках данного тематического направления: коллективная память Боснии и Герцеговины о событиях в Сребренице, геноцид в Руанде, политическое насилие в Сантьяго, насильственные конфликты в Марокко, Ливане и Египте, тюрьмы Северной Ирландии и др.

Близкой, но все же отличной от предыдущей можно считать тематику *тегов-идентичности*. Опыт переживания драматичных событий (травма) нередко становится основой для формирования идентичности, однако внимание ученых привлекают и более общие

аспекты жизни общин и сообществ, как, например, в статье «“Ты не выглядишь пуэрториканцем”: коллективная память и сообщество в Орландо» [Silver, 2016].

За последние несколько лет особую популярность приобрела тема *медиатизации памяти*, порожденная усиливающимися год от года процессами «оцифровки» языка темпоральности в современной медиа-реальности и синхронизацией памяти с жизнью социальных медиа. Закономерным ответом на виртуализацию и цифровизацию социокультурного пространства стал все возрастающий интерес исследователей к жанрам фиксации памяти в социальных сетях, онлайн-энциклопедиях, новостных тегох-сюжетах на платформе YouTube и на специализированных сайтах памяти, а также к медиа-скандалам и режимам их забывания в онлайн-дискуссиях.

Арт-вариации памяти как особый художественный способ сохранения воспоминаний в формате музыкальных и литературных произведений, документальных и художественных фильмов в большей степени привлекают сегодня внимание ученых, нежели ставший традиционным анализ практик коммеморации и обозначения «мест памяти» (концепт «топография памяти»). Официальная риторика памяти и автобиографическая память, представляющие типы тегох-дискурсов, которые Ш. Линд называет соответственно «героический нарратив» и нарратив «простого человека» [Linde, 2009: 97], занимают примерно равные позиции. При этом спецификой материалов, посвященных автобиографической истории (семейным архивам, историям жизни, родословной предков), можно считать преимущественную ориентацию их авторов на качественные методы – глубинные интервью и анализ эго-документов (семейные альбомы, мемуары, письма, персональные аккаунты в социальных сетях), что позволяет связать частные инициативы архивирования с памятью поколений и этапами истории страны.

Характер интерпретации мемориального дискурса. Анализ распределения частоты представленности ключевых тегох-нарративов в материалах издания показывает, что в современном мемориальном дискурсе доминируют скорее нейтральные (безоценочные), нежели негативные аспекты изучения памяти (табл. 2).

Таблица 2

Частота представленности ключевых тегох-нарративов в публикациях *Memory Studies*

Ключевой тегох-нарратив	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Всего
Запечатленная память	8	5	12	9	11	15	11	6	17	16	14	20	144
Репрессивная память	9	9	6	11	8	4	9	23	15	12	13	18	137
Возвращенная память	9	8	12	12	12	13	9	4	8	6	7	12	112

Проблематика способов и форм фиксации воспоминаний, хотя и с незначительным отрывом, вызывает у исследователей больший интерес, чем воскрешение «насильственных воспоминаний». Тем не менее последнее по-прежнему продолжает волновать ученых, что, вероятно, объясняется установкой на преодоление политики забвения, потребностью озвучить голоса жертв и может интерпретироваться как вызов существующим табу. На это указывают заголовочные комплексы (заголовки, подзаголовки, рубрикация внутри статьи), акцентирующие внимание на деструкциях забвения и оказывающиеся весьма симптоматичными: «Still Fighting in the Trenches» («Все еще сражаются в окопах»), «The Politics of Mourning» («Политика траура»), «Ghosts of the Holocaust in Franco's Mass Graves» («Призраки Холокоста в братских могилах Франко»), «Ottoman Ghosts and Legacies» («Османские призраки и наследие»), «Descending in to Hell» («Погружение в ад»), «Enduring in Justice» («Несокрушимая несправедливость»), «Prosthetic Trauma» («Протезная травма»), «Living in the Past: The Impact of Victimization Memory on Threat Perceptions» («Жизнь в прошлом: влияние памяти жертвы на восприятие угрозы») и др.

В то же время наблюдается постепенное усиление позиций конструктивно-созидательных аспектов постижения пространства памяти, свидетельствующее о попытках выйти за пределы исключительно травматического опыта: «Remembering Hope» («Вспоминая надежду»), «Build Memories» («Стройте воспоминания»), «Memories of Joy» («Воспоминания о радости»), «Remembering the Good» («Вспоминая хорошее»), «The Joyful Power of Activist Memory» («Радостная сила памяти активистов»). Также в последние годы актуализируется обращение исследователей к концепту «цифровой памяти» как «новому живому архиву цифрового века». Образы прошлого в цифровых технологиях будущего репрезентируют обновленный этап существования мемориальной культуры в контексте развития цифрового общества.

Заключение. Представленные результаты позволяют судить об общих трендах, существующих в современном научном мемориальном дискурсе, однако их не следует рассматривать как исчерпывающий вывод относительно закономерностей функционирования и дальнейшего развития memory studies. Подобная завершенность и однозначность позиции в принципе невозможна, поскольку исследования памяти, несмотря на оформление и закрепление в статусе состоявшегося направления, продолжают оставаться полем непрекращающегося научного поиска и чутко реагируют на актуальные запросы и вызовы времени. Кроме того, отнюдь не все исследователи культурной памяти разделяют идейные установки и политику редакции *Memory Studies* и публикуются на его страницах.

Другая причина, мешающая нарисовать однозначную картину современного состояния memory studies и обозначить более или менее четкие тенденции их дальнейшего развития, – высокая тематическая непредсказуемость и разнообразие данной области исследований. Так, например, перечисляя темы мемориальных исследований последних десятилетий: подавленная память, монументы, фильмы, музеи, Микки Маус, память американского Юга, Холокост, Французская революция, мгновенная память о вчерашних новостях и т.д., – А. Конфино изумляется хаотичности проблем и ракурсов, продиктованных модой и конъюнктурой. Все это, по его мнению, говорит о фрагментарности исследовательского поля, отсутствии центрирующих подходов, понятий, методологий и каких бы то ни было связей между различными исследовательскими инициативами [Confino, 1997: 1387]. В свою очередь отмеченная тематическая непредсказуемость приводит к банальности и описательности выводов, что в конечном итоге может оказаться губительным для всех memory studies в целом.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ [REFERENCES]

- Ассман А. Длинная тень прошлого. Мемориальная культура и историческая политика / Пер. Б. Хлебникова. М.: Новое литературное обозрение, 2018. [Assman A. (2018) *Long Shadow of the Past. Memory Culture and Historical Politics*. Moscow: Novoe literaturnoe obozrenie. (In Russ.)]
- Ассман А. Новое недовольство мемориальной культурой. М.: Новое литературное обозрение, 2016. [Assman A. (2016) *The New Discontent with Memory Culture*. Moscow: Novoe literaturnoe obozrenie. (In Russ.)]
- Карасик В.И. Языковой круг: личность, концепты, дискурс. Волгоград: Перемена, 2002. [Karasik V.I. (2002) *The Language Circle: Personality, Concepts, Discourse*. Volgograd: Peremena. (In Russ.)]
- Сафронова Ю.А. Третья волна memory studies: двадцать три года против шерсти // Политическая наука. 2018. № 3. С. 12–27. [Safronova Ju.A. (2018) The Third Wave of Memory Studies: Going against the Grain for Twenty-three Years. *Politicheskaya nauka* [Political Science]. No. 3: 12–27. (In Russ.)] DOI: 10.31249/poln/2018.03.01.
- Confino A. (1997) Collective Memory and Cultural History: Problems of Method. *The American Historical Review*. Vol. 102. No. 5: 1386–1403. DOI: 10.2307/2171069.
- Hoskins A., Barnier A., Kansteiner W., Sutton J. (2008) Editorial. *Memory Studies*. Vol. 1. No. 1: 5–7. DOI: 10.1177/1750698007083883.
- Linde Ch. (2009) *Working the Past: Narrative and Institutional Memory*. New York: Oxford Univ. Press.
- Olick J.K. (2009) Between Chaos and Diversity: Is Social Memory Studies a Field? *International Journal of Politics, Culture and Society*. 2009. Vol. 22. No. 2: 249–252.

Silver P. (2016) "You don't Look Puerto Rican": Collective Memory and Community in Orlando. *Memory Studies*. Vol. 9. No. 4: 405–421. DOI: 10.1177/1750698015601179.

Статья поступила: 26.03.20. Финальная версия: 08.06.20. Принята к публикации: 19.01.21.

ACTUAL TRENDS OF MEMORY: THE PROBLEM FIELD OF "MEMORY STUDIES"

ZUBANOVA L.B.*, ZYKHOVSKA N.L.***, SHUB M.L.*

*Chelyabinsk State Institute of Culture, Russia; ***South Ural State University (National Research University), Russia

Lyudmila B. ZUBANOVA, Doc. Sci. (Cultur.), Prof., Department of Cultural Studies and Sociology, Chelyabinsk State Institute of Culture (milazubanova@gmail.com); Natalia L. ZYKHOVSKA, Doc. Sci. (Philol.), Prof., Department of Literature and the Russian Language, South Ural State University (National Research University) (ladoga122@gmail.com); Maria L. SHUB, Doc. Sci. (Cultur.), Assoc. Prof., Head of the Department of Cultural Studies and Sociology, Chelyabinsk State Institute of Culture (shubka_83@mail.ru). All – Chelyabinsk, Russia.

Acknowledgements. The study was carried out in the framework of the grant program of the President of the Russian Federation for state support of young Russian scientists – doctors of sciences (MD-2020 Competition), the project "Memory culture of the industrial cities of the Russian province: memorial strategies of regional identity".

Abstract. The paper's subject is a controversial field of memory research presented in the international academic periodical "Memory Studies" for the 12 years since it was first published (2008–2019). The basic concepts and key memory-narratives are defined basing on the continuous sample of papers published in the journal (393 articles). The basic concepts make it possible to establish a thematic focus of current memory studies, and the memory-narratives are used to determine the predominant character of the interpretation of memorial discourse. In conclusion, the research establishes that despite being institutionalized as an independent research area, memory studies continue to retain their inherent thematic unpredictability and diversity. For this reason, it is currently impossible to come to an exhaustive list of the patterns of functioning and forecasts in the development of this area of research.

Keywords: memory studies, journal "Memory Studies", trends in memory, basic concepts, memory narratives.

Received: 26.03.20. Final version: 08.06.20. Accepted: 19.01.21.

Д.Д. БАДАРАЕВ, Г.А. ДЫРХЕЕВА, Н.С. АНТОНОВА

ЯЗЫКОВАЯ СИТУАЦИЯ СРЕДИ ШКОЛЬНИКОВ-БУРЯТ РОССИИ, МОНГОЛИИ И КИТАЯ

БАДАРАЕВ Дамдин Доржиевич – кандидат социологических наук, доцент, старший научный сотрудник Института монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН; Бурятский государственный университет (damdin80@mail.ru); ДЫРХЕЕВА Галина Александровна – доктор филологических наук, профессор, главный научный сотрудник Института монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН (an5dag1@mail.ru); АНТОНОВА Надежда Сергеевна – кандидат социологических наук, доцент, Бурятский государственный университет (nsantonova@yandex.ru). Все – Улан-Удэ, Россия.

Аннотация. В трансграничных условиях глоболизирующегося мира бурятский язык оказался в сложной ситуации: территориальная разбросанность и диалектная расчлененность способствуют стремительному уменьшению числа его активных носителей и сужению сферы применения. Данные социологического исследования (2015–2017), проведенного среди школьников-бурят России, Монголии и Китая, показывают: даже те, кто считает своим родным языком бурятский и знает его с детства, за пределом узкого семейного круга пользуются в основном мажоритарным языком представителей этнического большинства. Сегодня семья остается практически единственным агентом, обеспечивающим сохранение бурятского языка и передачу его следующему поколению. Школа же выполняет скорее вспомогательную функцию: сдерживает процесс языковой ассимиляции детей и подростков – активных носителей бурятского языка.

Ключевые слова: бурятский язык • языковая ассимиляция • мониторинг языковой ситуации • школьники-буряты • Россия • Монголия • Китай

DOI: 10.31857/S013216250014005-8

Постановка проблемы. В эпоху глобализации в полиэтничных обществах остро встает проблема сосуществования языков и сужения функций одних за счет расширения функций других. Наиболее заметно она проявляется в малых этноязыковых группах, в том числе не имеющих своего административно-территориального образования в пределах отдельных регионов или государств в целом. Их языки подвергаются влиянию языка межнационального общения, носителями которого выступает доминантное этническое большинство территории или страны проживания. Одним из типичных примеров такой ситуации могут служить буряты и бурятский язык.

Зоны компактного расселения бурят имеются в России, Монголии и Китае. В нашей стране, по данным Всероссийской переписи 2010 г., проживает 461 389 бурят, из них в Республике Бурятия – 286 839 чел., в Иркутской области, включая Усть-Ордынский бурятский округ, – 77 667 чел., в Забайкальском крае, включая Агинский бурятский округ, – 73 941 чел. Случаи компактного проживания бурят также наблюдаются в ряде крупных российских городов за пределами вышеуказанных субъектов федерации – около 23 тыс. чел. В Монголии буряты общей численностью 45 087 чел. проживают в граничащих с Россией северных аймаках (регионах) – Дорнодском, Хэнтийском, Селенгинском и Булганском. В Китае бурят насчитывается около 10 000 чел., и локализованы они в двух Шэнхэньских сомонах (сельских поселениях) городского округа Хулунбуир автономного района Внутренняя Монголия. Также бурятские диаспоры представлены в крупных городах Южной

Кореи, США, стран Европы и др. Всего по миру насчитывается около 550 тыс. этнических бурят¹.

Современное состояние бурятского языка вызывает обоснованные опасения. Еще в 2009 г. ЮНЕСКО включила его в список вымирающих языков как язык, находящийся под угрозой или серьезной угрозой (в зависимости от диалекта) исчезновения². Продолжающийся с 1990-х гг. мониторинг степени сохранности бурятского языка в регионах проживания бурят в России, Монголии и Китае, проводимый Институтом монголоведения, буддологии и тибетологии Сибирского отделения РАН (ИМБТ СО РАН) [Дырхеева и др., 1999; 2009; Бажеева, 2009], показал, что за последнее десятилетие проблема реабилитации и спасения бурятского языка не утратила своей актуальности. Еще острее стоит проблема владения им среди подрастающего поколения бурят, определяющего будущее языка и в то же время более других возрастных групп подверженного процессам языковой ассимиляции. В целях выявления степени сохранности и уровня владения этническим языком среди детей-бурят было проведено исследование школьников в местах компактного расселения бурят в анклавах Центральной и Северной Азии. Особое внимание при этом уделялось языковой среде, в которой растут и обучаются юные буряты – семья, сверстники, школа – и от которой зависит их уровень знания этнического языка.

Эмпирическая база исследования представлена данными опросов 2015–2017 гг., организованных ИМБТ СО РАН среди школьников бурятской национальности, проживающих в России, Монголии и Китае. Всего методом анкетирования был опрошен 1731 чел.: Республика Бурятия (РБ) – 1225 чел., Усть-Ордынский бурятский округ – 100 чел., Агинский бурятский округ – 120 чел., Дорнодский (сомоны Дашбалбар и Баяндун) и Хэнтэйский (сомон Дадал) аймаки Монголии – 242 чел., Шэнэхэнский западный сомон Хулунбуира в Китае – 44 чел. В исследовании приняли участие учащиеся 1–9 классов в Шэнэхэне (там 9-летняя школа) и 1–11 классов во всех остальных регионах. Распределение респондентов по классам соответствовало статистическим пропорциям школьников бурятской национальности, проживающих на соответствующей территории. Их отбор производился методом 4-ступенчатой квотно-гнездовой выборки с квотированием по месту проживания, полу, возрасту/классу, уровню знания языка. Анкеты составлялись на языке обучения школьников³, а в качестве анкетеров привлекались специалисты со знанием русского, бурятского и монгольского языков. В дальнейшем, на этапе анализа данных, учитывалась специфика языковой политики, действующей на исследуемых территориях, а также их социально-экономическое, демографическое и этнокультурное своеобразие. По причине очевидной разницы в количестве опрошенных на разных территориях сравнение полученных данных производилось в относительных показателях, в том числе и данных по китайскому Шэнэхэну, где количество анкет существенно меньше ста.

В российских регионах помимо анкетного опроса осуществлялся замер уровня знания бурятского языка учащимися⁴. Данная методика реализовывалась в три этапа. Сначала изучались сведения, предоставленные администрациями всех школ, о численности детей бурятской национальности, распределенных по уровню владения языком. Затем параллельно с вышеупомянутым анкетированием проводилось выборочное собеседование

¹ Сколько монголов в мире? Цифры и факты // Infopol.ru [электронный ресурс]. 2016. 21 июня. URL: <https://www.infopol.ru/news/asia/116194-skolko-mongolov-v-mire-tsifry-i-fakty/> (дата обращения: 30.09.2017).

² Мозли К. Атлас языков мира под угрозой исчезновения. Париж: Изд-во ЮНЕСКО, 2010. URL: <http://www.unesco.org/culture/languages-atlas/en/atlasmap.html> (дата обращения: 15.05.2020).

³ При подготовке анкет была проведена тщательная работа по соблюдению адекватности перевода соответствующих вопросов. Так, например, термин «родной язык» был переведен на монгольский общепринятым в монголоведении словосочетанием *түрэл хэлэн*, где *түрэл* означает родство, родня, родственник, родной.

⁴ Поскольку в школах Монголии и Китая бурятский язык не преподается, то реализовать там эту методику не представлялось возможным.

с учащимися, в котором принимали участие эксперты-педагоги бурятского языка и социологи ИМБТ СО РАН и Бурятского государственного университета (23 чел.). Далее, на этапе анализа данных, осуществлялось сравнение сведений, представленных школами, и оценок экспертов по итогам собеседований. Как оказалось, процентный разброс между первыми и вторыми не превысил 1%.

Вклад семьи и школы в освоение и сохранение бурятского языка. Сопоставление данных текущего опроса по РБ с результатами исследований прошлых лет [Дырхеева, 2002: 70–92] выявило противоречивые тенденции. Так, с начала 2000-х гг. доля школьников, признающих родным бурятский язык, выросла с 66,4 до 76,6% (русский в 2015–2017 гг. посчитали родным всего 10,5%). Однако доля владеющих этническим (родным) языком с детства снизилась за тот же период на 20 п.п. – с 63,9 до 42,9%, причем это снижение происходило на фоне роста числа тех, кто в школе и в общении с друзьями использует только русский, – с 72,6 до 81%. Доли школьников-бурят, в сфере домашнего общения использующих преимущественно русский или бурятский язык, на момент проведения опроса оказались примерно равными с незначительным перевесом первых – 50,3 и 48,2% соответственно.

Ситуация в российских округах за пределами РБ складывается несколько иная, но основные тенденции при этом сохраняются. Менее всего бурятский язык востребован среди школьников-бурят Усть-Ордынского бурятского округа. Там с детства его знают всего 29,7%, и большинство опрошенных и дома, и в школе, и с друзьями в основном общаются на русском – 48,5, 87,1 и 85,1% соответственно. В семье преимущественно по-бурятски говорят 32,7%, а еще 15,8% используют при общении с родными сразу оба языка – русский и бурятский. Напротив, в Агинском бурятском округе позиции бурятского, в первую очередь в сфере семейного общения, довольно прочны: 73,8% знают его с детства и 63,9% разговаривают дома в основном на нем. В школах и дружеских сообществах округа, как и в двух других исследуемых регионах России, доминирующим является русский, однако и в пределах этих коммуникационных сфер доля бурятского оказывается выше, чем в РБ и Усть-Ордынском округе, – 11,5 и 20,5% соответственно. И чаще, чем в других регионах, школьники Агинского округа используют в школе и с друзьями сразу оба языка – по 13,1%, причем билингвальность в школьном общении практикуют не только учащиеся, но в ряде случаев и учителя-предметники в рамках своих уроков. В то же время у опрошенных в обоих округах возникли заметные проблемы с определением языка, который они могли бы назвать родным: более половины оставили этот вопрос без ответа. Из тех же, кто ответил, большинство признали родным бурятский: 32,7% – в Усть-Ордынском и 46,7% – в Агинском. Русский в качестве родного назвали лишь 5 и 3,3% юных бурят соответственно.

В аймаках Монголии наблюдается ситуация, в целом схожая с российской. Более половины детей монгольских бурят до поступления в школу общались в семье (52,1%) и продолжают общаться сейчас (51,7%) в основном по-бурятски, 44,2% говорят с родными преимущественно по-монгольски. Общение в школе и с друзьями для большинства из них протекает, как правило, на монгольском – 88 и 78,9%. Бурятский в этих случаях используют только 9,9 и 16,5%, а в основном к билингвальному общению с товарищами прибегают лишь 3,3%. И подобно российским школьникам-бурятам из округов за пределами РБ, большинство юных бурят Монголии не смогли назвать язык, который они считают родным, – 67,4% не-ответов. Те же, кто смог определиться, указывали в основном бурятский (26,5%) и значительно реже монгольский (6,2%).

В китайском Шэнэньхэ показателями по бурятскому языку существенно выше, чем на всех остальных исследованных территориях: 88,6% до школы говорили дома в основном на бурятском и 81,8% продолжали это делать на момент опроса. В школе подавляющее большинство детей китайских бурят отдадут предпочтение монгольскому (81%) – языку, на котором осуществляется преподавание, а при общении с друзьями – бурятскому (65,3%). Значительно реже с друзьями разговаривают в основном по-монгольски (20%) и еще реже

по-китайски (12%). Не возникло у школьников из Китая и проблем с определением родного языка. Для 3/4 таковым является бурятский, для 16% – монгольский.

Преподавание бурятского языка по общеобразовательным программам осуществляется только в регионах России. В 2018/19 учебном году ему обучали в 341 из 471 школы Бурятии с общим охватом 50,1% детей-бурят. В Усть-Ордынском округе бурятский изучается в 60 из 113 школ, которые в общей сложности посещают 22,9% всех школьников-бурят. В 52 школах Агинского округа в 2017/18 учебном году 69% юных бурят изучали бурятский как родной, а остальные – по программе интенсивного обучения. В Монголии и Китае бурятские дети, проживающие в регионах с преимущественным бурятским населением, обучаются на монгольском языке, при этом в первой для письма используется кириллический алфавит, а во втором – старомонгольская графика (вертикальное письмо).

Субъективные оценки знания этнического языка школьниками-бурятами по четырем основным параметрам: понимание, речь, чтение и письмо – показали, что в целом лучше всего им «владеют» школьники-буряты Китая, с детства общающиеся преимущественно на нем в семье и с друзьями. По доле очень хорошо и хорошо понимающих (84,1%) и говорящих на нем (75%) они опередили другие регионы на 6–15 п.п. и более, а по доле очень хорошо и хорошо читающих (56,8%) и пишущих (54,5%) почти не отстают от своих российских сверстников из Агинского округа (63,1 и 51,6% соответственно) и РБ (52,7 и 48,5% соответственно), изучающих бурятский в школах.

Объективный уровень владения бурятским языком, выявленный по итогам собеседования с экспертами и анализа сведений, полученных от администраций школ, позволяет сделать вывод о том, что лучше всего дела обстоят в Агинском округе, а хуже всего – в Усть-Ордынском. РБ по данному показателю занимает промежуточное положение. При этом распределение владеющих бурятским языком в региональном контексте в целом совпадает с распределениями знающих его с детства и общающихся в семье преимущественно на нем (табл.).

Таблица

**Уровень владения бурятским языком среди российских школьников-бурят,
2016–2017 гг.**

Регион	Всего школьников-бурят (чел.)	Знают бурятский с детства (в %)	Общаются в семье в основном на бурятском (в %)	Владеют бурятским (в %)	Плохо владеют бурятским (в %)	Не владеют бурятским (в %)
Агинский бурятский округ	7 728	73,8	63,9	60,8	28,5	10,6
Республика Бурятия	42 235	63,9	48,2	38,9	34,8	27,1
Усть-Ордынский бурятский округ	4 128	29,7	32,7	22,9	44,6	32,4

В масштабах регионов, как показывает исследование, происходит сужение сферы применения бурятского языка до пределов узкого семейно-бытового круга. Исключение составляет только китайский Шэнэхэн, где он используется также и в ситуации дружеского общения. Вероятно, относительно прочные позиции бурятского в сомонах Шэнэхэна объясняются тем, что практически все взрослое бурятское население там владеет своим этническим языком, в результате чего создается и поддерживается единое пространство его применения. Определенную лепту, скорее положительную, в сохранение этнического языка бурятами Китая вносит и использование родственного монгольского языка в школах, препятствующее языковой китаизации местного бурятского населения.

В среде бурят Монголии, как и России, ассимиляционные тенденции проявляются гораздо резче и выражаются в постепенном замещении бурятского мажоритарным языком этнического большинства практически во всех сферах коммуникации, кроме семейной, – монгольским и русским соответственно. Основные причины, по которым школьники-буряты не стремятся знать свой этнический язык, – трудность в изучении, отсутствие интереса к нему и, самое главное, *ограниченность использования в будущем*.

Заключение. Проведенное исследование подтвердило актуальность и нарастающую серьезность проблемы языковой ассимиляции бурят в местах их компактного расселения. В большей или меньшей степени ей подвержены юные буряты практически всех территорий, где проводился опрос. На данный момент самым значимым фактором сохранения и воспроизводства бурятского языка остается семья. Школа же выполняет скорее вспомогательную функцию, помогая поддерживать и закрепить знание этнического языка тем, кто владеет им с детства и имеет практику постоянного его использования, пусть и в узком кругу семейно-бытового общения. Напротив, в отсутствие подобной практики изучение бурятского в образовательном учреждении не обеспечивает должный уровень владения им. В других важных для подрастающего поколения сферах коммуникации – в школе и с друзьями – бурятский активно вытесняется мажоритарным языком этнического большинства: русским в России, монгольским в Монголии и отчасти в Китае.

На ряде территорий наблюдается утрата этноязыковой идентичности проживающими там детьми-бурятами. Только в РБ, где бурятский официально закреплен в статусе государственного языка республики, и китайском Шэнэхэне, практически все взрослое население которого является активным носителем бурятского, у опрошенных не возникло проблем с определением родного языка – подавляющее большинство признало в качестве такового бурятский. В остальных исследованных регионах – российских округах и монгольских аймаках – более половины школьников оставили вопрос относительно родного языка без ответа, что весьма симптоматично.

В Монголии и Китае, где бурятский считается диалектной формой монгольского языка, какая-либо официальная его поддержка на государственном или региональном уровне отсутствует: он не изучается в школах, на нем не ведется делопроизводство. В России, в отличие от соседних стран, предпринимаются целенаправленные шаги по расширению сферы применения бурятского. В РБ и бурятских округах с разной периодичностью выходят газеты на бурятском, вещает телевидение и радио, делаются постановки в национальных театрах, дублируются на бурятском таблички названий учреждений, улиц и т.п. Той же цели расширения сферы представленности бурятского служит его использование в качестве рабочего языка международных фестивалей, спортивных состязаний, конференций, форумов; активно пропагандируются возможности бурятского как универсального средства коммуникации бурят, проживающих в разных странах. Впрочем, судить об эффективности предпринимаемых попыток сохранить бурятский язык говорить пока рано. Лишь будущее покажет, насколько они окажутся успешными.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Бажеева Т.П. Дети в языковом пространстве Республики Бурятия. Улан-Удэ: Изд-во БНЦ СО РАН, 2009.
- Дырхеева Г.А. Бурятский язык в условиях двуязычия: проблемы функционирования и перспективы развития. Улан-Удэ: Изд-во БНЦ СО РАН, 2002.
- Дырхеева Г.А., Будаев Б.Ж., Бажеева Т.П. Бурятский язык: современное состояние (социолингвистический аспект). Улан-Удэ: Изд-во БНЦ СО РАН, 1999.
- Дырхеева Г.А., Даржаева Н.Б., Бальжинимаева Ц.Ц. и др. Бурятский язык в поликультурном пространстве (социолингвистическое исследование). Улан-Удэ: Изд-во БНЦ СО РАН, 2009.

Статья поступила: 30.04.19. Финальная версия: 29.05.20. Принята к публикации: 23.01.21.

THE LANGUAGE SITUATION AMONG BURYAT SCHOOLCHILDREN OF RUSSIA, MONGOLIA AND CHINA

BADARAEV D.D.*, DYRKHEEVA G.A.*, ANTONOVA N.S.**

**Institute for Mongolian, Buddhist and Tibetan Studies SB RAS, Russia; **Buryat State University, Russia*

Damdin D. BADARAEV, Cand. Sci. (Sociol.), Assoc. Prof., Senior Researcher, Institute for Mongolian, Buddhist and Tibetan Studies, Siberian Branch of RAS; Buryat State University (damdin80@mail.ru); Galina A. DYRKHEEVA, Doc. Sci. (Philol.), Prof., Leading Researcher, Institute for Mongolian, Buddhist and Tibetan Studies, Siberian Branch of RAS (an5dag1@mail.ru); Nadezhda S. ANTONOVA, Cand. Sci. (Sociol.), Assoc. Prof., Buryat State University (nsantonova@yandex.ru). All – Ulan-Ude, Russia.

Acknowledgements. The article was prepared within the framework of a state assignment (project "Russia and Inner Asia: dynamics of geopolitical, socio-economic and intercultural interaction").

Abstract. In the transboundary conditions of the globalizing world, the Buryat language found itself in a difficult situation: territorial dispersion and dialectal fragmentation causing a rapid decrease in the number of active speakers and narrowing the scope of its application. The sociological survey (2015–2017) conducted among Buryat schoolchildren in Russia, Mongolia and China shows that even those who consider Buryat their native language and have known it since childhood, use mainly the majority language of the ethnic majority outside the narrow family circle. Today the family remains practically the only agent for preserving the Buryat language and its transmission to the next generation. The school, on the other hand, performs rather an auxiliary function: it hinders the process of linguistic assimilation of children and adolescents – active speakers of the Buryat language.

Keywords: Buryat language, language assimilation, monitoring of the language situation, Buryat schoolchildren, Russia, Mongolia, China.

REFERENCES

- Bazheeva T.P. (2009) *Children in the Linguistic Space of the Republic of Buryatia*. Ulan-Ude: Izd-vo BNTs SO RAN. (In Russ.)
- Dyrkheeva G.A. (2002) *Buryat Language in Conditions of Bilingualism: Problems of Functioning and Development Prospects*. Ulan-Ude: Izd-vo BNTs SO RAN. (In Russ.)
- Dyrkheeva G.A., Budaev B.Zh., Bazheeva T.P. (1999) *Buryat Language: Current State (Sociolinguistic Aspect)*. Ulan-Ude: Izd-vo BNTs SO RAN. (In Russ.)
- Dyrkheeva G.A., Darzhaeva N.B., Balzhinimaeva Ts.Ts. et al. (2009) *Buryat Language in a Multicultural Space (Sociolinguistic and Historical Research)*. Ulan-Ude: Izd-vo BNTs SO RAN. (In Russ.)

Received: 30.04.19. Final version: 29.05.20. Accepted: 23.01.21.

И.Н. ВАСИЛЬЕВА

О СОЦИАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ С ГРАЖДАНАМИ (по результатам экспертного опроса)

ВАСИЛЬЕВА Ирина Николаевна – кандидат социологических наук, старший преподаватель кафедры организации деятельности органов внутренних дел ЦКШУ Академии управления МВД России, Москва, Россия (dinikoll@mail.ru).

Аннотация. Анализируются мнения экспертов о социальной коммуникации органов внутренних дел России с гражданами. По результатам опросов, проведенных в 2016 и 2020 гг. в Академии управления МВД России (N = 200), выявлена высокая неудовлетворенность существующей организацией социальных коммуникаций (на необходимость изменений в 2020 г. указали почти 9/10 экспертов). В то же время понимание руководителями органов внутренних дел целей взаимодействия полиции с населением не вполне соответствует модели *community policing*. В качестве основной стратегической цели взаимодействия эксперты чаще всего называют «формирование позитивного имиджа» (70%), а «формирование партнерских отношений» значительно реже (32%). Главным препятствием развитию системы коммуникаций полиции с гражданами эксперты считают «человеческий фактор» – отсутствие у сотрудников органов внутренних дел навыков работы в современном формате, недостаточную инициативность и т.д.

Ключевые слова: органы внутренних дел • *community policing* • система социальных коммуникаций • социология полиции

DOI: 10.31857/S013216250010873-3

Партнерство полиции и граждан как объект социологических исследований. В настоящее время ситуация в сфере защиты российских граждан от криминогенных угроз является противоречивой: с одной стороны, наблюдается повышение чувства защищенности у представителей отдельных социальных групп (пожилых людей и жителей крупных городов), с другой – некоторые проблемы (коррупция, экстремизм и др.) приобретают застойный характер [Козырева, Смирнов, 2019: 474]. Хотя с 2001 г. более чем в 3 раза снизилась доля россиян, полагающих, что защиты от преступности в России просто нет (в 2001 г. их было 52,2%, а в 2018 г. – 16,2%), а доля полностью уверенных в своей защищенности выросла в 5 раз (в 2001 г. – 2,7%, в 2018 г. – 14,6%), в сознании большинства россиян отсутствует уверенность в надежной защите государством граждан от преступности¹.

В России, как и за рубежом, сформировать надежное безопасное пространство силами одних лишь органов внутренних дел оказывается невозможно. Современная полиция вынуждена брать на вооружение модель *community policing* (полицейской деятельности, ориентированной на общество), стремясь к установлению постоянных связей и к тесному сотрудничеству с гражданами. Этот сдвиг в понимании взаимодействия полиции с населением зафиксирован Федеральным законом Российской Федерации от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции», где были определены (ст. 10) задачи по вовлечению органами внутренних дел представителей заинтересованных сторон и граждан в совместную работу по обеспечению общественной безопасности, основанную на принципах открытости, взаимного уважения и социального партнерства.

¹ Данные общероссийского опроса (осень 2018 г.) РАНХиГС «Оценка степени защищенности граждан от различных обстоятельств». См.: Родин И. К полиции и судам остается недоверие // Независимая газета. 2018. 5 октября. URL: https://yandex.ru/turbo/hng.ru/politics/2018-10-04/3_7325_trust.html (дата обращения: 31.05.2020).

Несмотря на длительный период «инфильтрации» идеи социального партнерства российской полиции и граждан, в настоящее время взаимодействие органов внутренних дел и населения происходит все еще в условиях значительной неопределенности. Это обусловлено отсутствием концептуального подхода к работе в этой относительно новой «системе координат», когда граждане становятся для полиции не только объектом контроля, но и субъектом совместных действий. Недостаточный уровень разработки концептуальных основ негативно сказывается и на практике организации диалога и партнерства полиции с населением, которые чаще провозглашаются, чем реализуются.

Проблемы организации партнерских отношений органов внутренних дел с общественными структурами начали обращать на себя внимание отечественных исследователей с 1970-х гг. Но лишь в начале XXI в. в этом обсуждении стали использоваться эмпирические социологические данные о практиках управления ОВД и общественной оценке деятельности полиции (см., напр.: [Ребрий и др., 2010; Юдина и др., 2017]). Однако относительно комплексная картина включения российских органов внутренних дел в процесс социального взаимодействия отражена, пожалуй, лишь в работе [Благоразумный, Коробов, 2004], зафиксировавшей реалии более чем 15-летней давности.

При изучении взаимодействия российской полиции и граждан исследователи чаще интересуются мнением граждан. Опросы руководителей полиции, являющихся одновременно и экспертами, и субъектами социальной коммуникации российских ОВД с населением, проводятся нечасто. Между тем уникальная возможность проводить такие опросы существует в Академии управления МВД России, на базе которой руководители полиции разных уровней регулярно повышают профессиональную квалификацию.

Для диагностики и анализа динамики развития коммуникаций органов внутренних дел с гражданами автор дважды – в 2016 г. и в марте 2020 г. – проводила анкетный опрос слушателей Академии. В опросе каждый раз участвовало по 100 человек. Респондентами выступали слушатели Академии управления МВД России, которые до поступления на обучение занимали должности сотрудников центрального аппарата МВД России или руководили территориальными органами МВД России различных (окружной, межрегиональный, региональный, районный) уровней. Их квалификация экспертов подтверждается высоким стажем службы в органах внутренних дел (в среднем около 16 лет в 2016 г., около 18 лет – в 2020 г.). Среди экспертов-респондентов (как и среди руководящего состава МВД в целом) абсолютно преобладали мужчины (96% в 2016 г., 72% в 2020 г.), их средний возраст составлял 36 лет в 2016 г. и 38 лет в 2020 г. Экспертный опрос выявил общее представление о взаимодействии органов внутренних дел и населения с целью обеспечения общественного порядка и общественной безопасности, а также восприятие ключевых параметров этого взаимодействия руководящим составом МВД России.

Эксперты о состоянии и проблемах взаимодействия полиции с гражданами. Рассмотрим, как существующая система взаимодействия полиции с гражданами, общественными объединениями и СМИ обеспечивает, по мнению руководителей полиции, выполнение стоящих перед ОВД задач по противодействию преступности и охране общественного порядка.

Как видим из табл., у экспертов нет единой позиции в этом вопросе. В обоих опросах ответы на вопрос «Обеспечивает ли, на ваш взгляд, существующая система взаимодействия с гражданами, общественными объединениями и СМИ выполнение стоящих перед ОВД задач по противодействию преступности и охране общественного порядка?» разделились почти поровну между положительными и отрицательными вариантами с некоторым превалированием отрицательных ответов. При этом эксперты полагают, что организация взаимодействия ОВД с гражданами, общественными объединениями и СМИ нуждается в серьезных изменениях. В 2016 г. так считали 80% экспертов, в 2020 г. – 88%, острую необходимость перемен («да, нуждается в значительных изменениях») в 2020 г. отметило более трети экспертов (38%).

Таблица

Мнения экспертов об обеспечении системой взаимодействия с гражданами, общественными объединениями и СМИ выполнения стоящих перед ОВД задач (в % от числа опрошенных)

Варианты ответа	2016	2020
Да, обеспечивает	10	14
Скорее да, чем нет	32	32
Скорее нет, чем да	40	44
Нет, не обеспечивает	12	6
Затрудняюсь ответить	6	4

Полученные данные коррелируют с результатами исследования Центра социологии управления и социальных технологий Института социологии ФНИСЦ РАН, согласно которым «общество желает радикального совершенствования работы государственных институтов», причем на среднем уровне вертикали ожидания решительных перемен превалирует над умеренными установками [Тихонов, 2019: 78]. Как видим, руководители ОВД в основном разделяют стремления граждан. Их желание «значительных изменений» является своеобразным ответом на усиливающуюся в общественном сознании обеспокоенность имеющимися недостатками управления и все сильнее проявляющуюся потребность в осуществлении коренных изменений системы государственного управления.

Для понимания тенденций взаимодействия ОВД и населения большой интерес представляет целеполагание его руководящего состава (рис. 1).



Рис. 1. Мнения экспертов о стратегических целях руководства ОВД при организации взаимодействия с гражданами, общественными объединениями и СМИ (в % от числа опрошенных; разрешалось выбрать несколько вариантов ответа)

Ответы экспертов на вопрос «Какую, на ваш взгляд, стратегическую цель (ориентир развития) должен ставить руководитель ОВД перед сотрудниками при организации взаимодействия с гражданами, общественными объединениями и СМИ?» показывают, что формирование позитивного имиджа сотрудника ОВД у руководства выдвигается на передний план. Такие ответы заставляют критически задуматься о целеполагании начальников территориальных органов МВД России. Действительно, этот показатель является важным, однако определение его в качестве *главной* стратегической цели не соответствует основному назначению полиции и может негативно сказаться на результативности служебной деятельности, которая при таком подходе подчиняется имиджейкерству.

Несколько реже руководители ОВД рассматривают взаимодействие полиции с гражданами как способ формировать их – граждан – правосознание. Отмечается существенный рост данного показателя: в 2016 г. так думали менее половины экспертов, в 2020 г. – более 3/5. Каждый третий эксперт в качестве стратегической цели отметил в 2020 г. «установление партнерских отношений с гражданами», более 2/5 – «создание безопасной среды для развития социума». Именно эти варианты ответов в наибольшей степени соответствуют установкам на развитие community policing. В сравнении с 2016 г. частота этих ответов выросла.

Другая положительная тенденция развития взглядов руководителей МВД на взаимодействие полиции с гражданами – осознание невозможности его прямого влияния на криминологическую статистику. Так, в 2016 г. «снижение статистических показателей уровня преступности» в качестве стратегической цели, которую должен ставить руководитель ОВД перед сотрудниками при организации взаимодействия с гражданами, общественными объединениями и СМИ, отметили более 1/5 экспертов, в 2020 г. – 1/10.

Здесь виден выход на принципиальную проблему – как различать оценку состояния преступности и оценку деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью. Состояние и изменение преступности в значительной мере определяются общими социальными условиями, не зависящими в полной мере от качества работы правоохранительных органов. Поэтому увеличение преступности некорректно автоматически оценивать как ослабление деятельности правоохранительных субъектов по борьбе с ней и наоборот [Долгова, 2006: 75]. Российские криминологи давно пришли к выводу, что нельзя перед органами внутренних дел в качестве стратегических целей ставить снижение статистических показателей уровня преступности, поскольку сотрудники полиции могут повлиять лишь на 20–25 из 200 факторов, от которых зависит преступность [Голубец, 1996: 30]. В то же время развитие партнерских отношений полиции с гражданами может повысить у них чувство защищенности и доверие к полиции безотносительно к динамике регистрируемой преступности.

Важным в проведенном исследовании был вопрос «Что, на ваш взгляд, в первую очередь препятствует развитию системы коммуникаций с гражданами, общественными объединениями и СМИ?» (рис. 2).

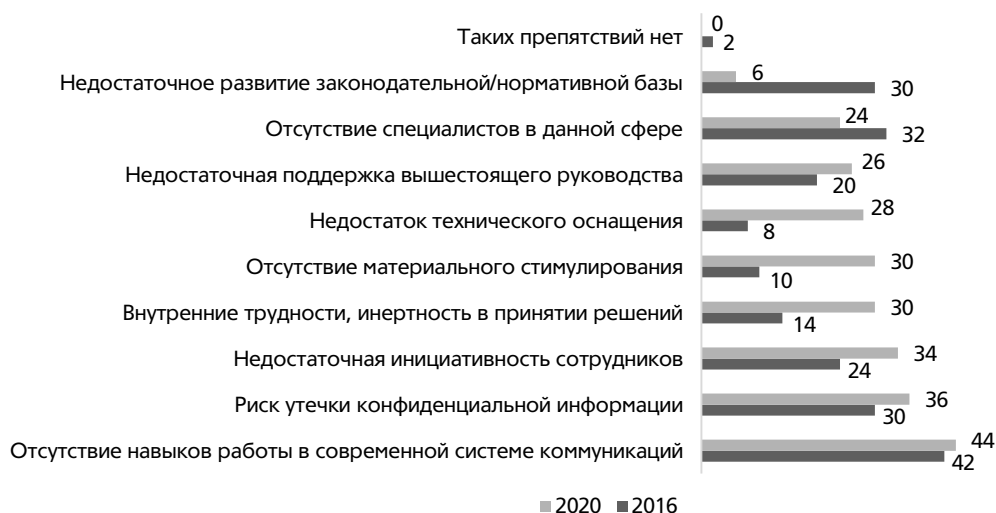


Рис. 2. Мнения экспертов о препятствиях развитию системы коммуникаций с гражданами, общественными объединениями и СМИ (в % от числа опрошенных; разрешалось выбрать несколько вариантов ответа)

Чаще всего преобладают ссылки на «человеческий фактор» – на недостаточную подготовку сотрудников полиции к освоению практик community policing. Существенную роль играют, конечно, и факторы ресурсного обеспечения работы полиции. Положительная тенденция в том, что эксперты заметно реже стали связывать препятствия с недостаточным развитием законодательной/нормативной базы (снижение с 30% в 2016 г. до 6% в 2020 г.). В то же время в ходе экспертного опроса получены критические оценки материально-технического обеспечения.

Если посмотреть, как эксперты представляют меры по преодолению отмеченных трудностей (рис. 3), то заметен основной акцент на улучшение именно «человеческого фактора». Чаще всего эксперты надеются на самообразование сотрудников полиции при помощи методических пособий, рекомендаций и справочников по вопросам организации взаимодействия с населением (данный показатель вырос с 28 до 44%), на дополнительное обучение (в 2016 г. – 32%, в 2020 г. – 28%) «без отрыва от производства». Среди экспертов популярно также мнение, что надо стимулировать собственную инициативу сотрудников для поиска новых форм взаимодействия с населением. За это высказывается все большее количество руководителей (в 2016 г. – 26%, в 2020 г. – 36%).

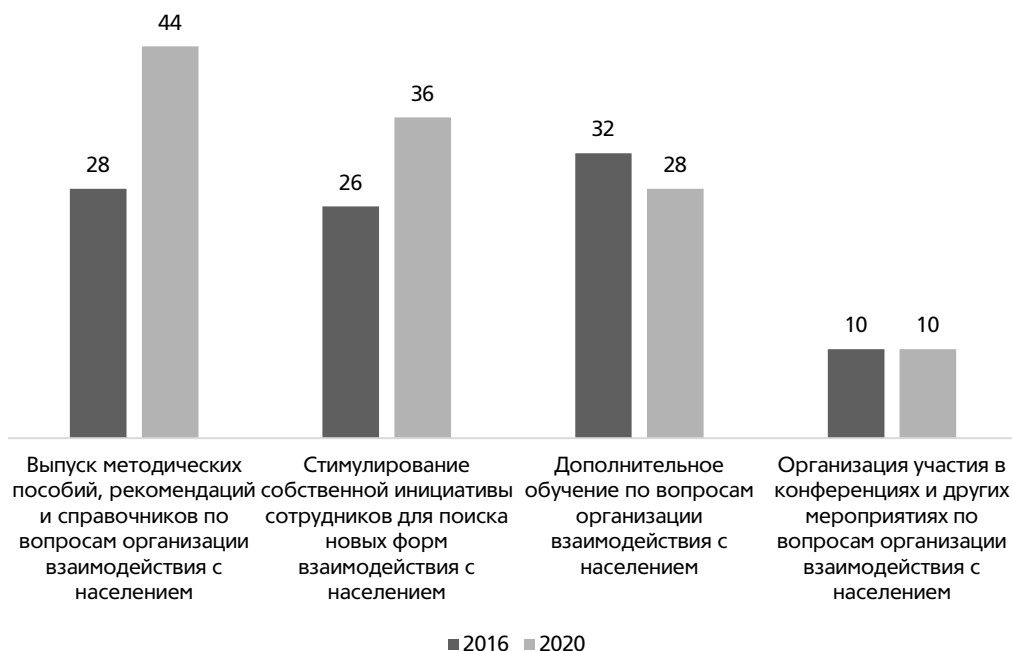


Рис. 3. Мнения руководителей ОВД о мерах преодоления трудностей в организации коммуникаций полиции с населением (в % от числа опрошенных; разрешалось выбрать несколько вариантов ответа)

Выводы. Экспертный опрос руководителей ОВД выявил важные и нетривиальные характеристики взаимодействия российских органов внутренних дел с населением. Эксперты выражают сильную неудовлетворенность существующей организацией взаимодействия ОВД с гражданами, общественными объединениями и СМИ, стремление к ее изменению. Однако понимание руководителями ОВД целей взаимодействия полиции с населением не вполне соответствует модели community policing. В качестве основной стратегической цели, которую должен ставить руководитель ОВД, эксперты чаще всего называют «формирование позитивного имиджа», в то время как «формирование партнерских отношений» – вдвое реже. Эта ситуация устойчива.

К основным препятствиям развитию системы социальных коммуникаций эксперты отнесли «человеческий фактор»: отсутствие у сотрудников органов внутренних дел навыков работы в современной системе коммуникаций, недостаточную их инициативность, боязнь рисков утечки конфиденциальной информации. Соответственно, для преодоления этих трудностей эксперты надеются главным образом на самостоятельное обучение сотрудников по вопросам организации взаимодействия с населением «без отрыва от производства».

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Благоразумный А.А., Коробов В.Б. Организация общественных связей органов внутренних дел. М.: Академия управления МВД России, 2004.
- Голубец П.В. Некоторые вопросы управления органами внутренних дел // Мат. межвед. науч.-практич. конф. «Стратегические цели и приоритетные задачи МВД России, основные направления и средства их реализации». Ч. 1. М.: Академия МВД России, 1996.
- Долгова А.И. Криминология. М.: НОРМА, 2006.
- Козырева П.М., Смирнов А.И. (Без)опасный квартал: как оценивается уровень уличной преступности // Россия реформирующаяся: ежегодник: вып.17 / Отв. ред. М.К. Горшков. М.: Новый хронограф, 2019. DOI: 10.19181/ezheg.2019.19.
- Реврий В.А., Коробов В.Б., Васильев Д.В. Система индексов, отражающих показатели доверия граждан к правоохранительной службе, и методика их расчета (бихевиористский подход к оценке деятельности) // Труды Академии управления МВД России. 2010. № 4. С. 1–3.
- Тихонов А.В. Раскол в современном российском обществе: общество vs власть // Философские науки. 2019. Т. 62. № 8. С. 68–83. DOI: 10.30727/0235-1188-2019-62-8-68-83.
- Юдина Т.Н., Бондалетов В.В., Мазаев Ю.Н., Бормотова Т.М., Долгорукова И.В. Общественная оценка деятельности полиции // Социологические исследования. 2017. № 4. С. 52–59.

Статья поступила: 03.08.20. Финальная версия: 14.08.20. Принята к публикации: 10.10.20.

ON SOCIAL COMMUNICATION OF INTERNAL AFFAIRS BODIES WITH CITIZENS (Based on the Expert Survey Results)

VASILIEVA I.N.

Academy of Management of the Ministry of Internal Affairs of Russia, Russia

Irina N. VASILIEVA, Cand. Sci. (Sociol.), Senior Lecturer, Department of Organization of Internal Affairs Bodies of the Central Committee, Academy of Management of the Ministry of Internal Affairs of Russia, Moscow, Russia (dinikoll@mail.ru).

Abstract. The article analyzes the state of social communication between internal Affairs bodies of Russia and citizens based on 2016 and 2020 expert surveys of the heads of the Ministry of Internal Affairs Bodies of Russia at different levels. Dissatisfaction with the existing organization of social communications was stated – almost 9/10 experts mentioned the need for changes in 2020. At the same time, understanding of the goals of police interaction with the population by the heads of internal Affairs bodies does not fully correspond to the community policing model. As a main strategic goal of interaction, experts most often refer to “creating a positive image”, while “forming partnerships” – half as often. Experts believe that the main obstacle to the development of the police communication system with citizens is “human factor” – lack of skills of internal Affairs officers in the existing communication system, their lack of initiative, etc.

Keywords: internal affairs bodies, community policing, social communication system, sociology of police.

REFERENCES

- Blagorazumnyy A.A., Korobov V.B. (2004) *Public Relations Organization of Internal Affairs Bodies*. Moscow: Akademiya upravleniya MVD Rossii. (In Russ.)
- Dolgova A.I. (2006) *Criminology*. Moscow: NORMA. (In Russ.)
- Golubets P.V. (1996) Some Issues of Internal Affairs Bodies Management. In: *Proceedings of the Interdepartmental Scientific and Practical Conference "Strategic Objectives and Priorities of MIA of Russia, Main Directions and Means of their Implementation"*. Part 1. Moscow: Akademiya MVD Rossii. (In Russ.)
- Kozyreva P.M., Smirnov A.I. (2019) How Dangerous are the Streets in the Neiborhood. In: Gorshkov M.K. (ed.) *The Reforming Russia: Yearbook*. Iss. 17. Moscow: Noviy Khronograf. DOI: 10.19181/ezheg.2019.19. (In Russ.)
- Rebriy V.A., Korobov V.B., Vasiliev D.V. (2010) The System of Indices Reflecting the Public Trust in Law Enforcement Service and the Method of their Calculation (Behaviorist Approach to the Evaluation of Activities). *Trudy Akademii upravleniya MVD Rossii* [Proceedings of Management Academy of the Ministry of the Interior of Russia]. No. 4: 1–3. (In Russ.)
- Tikhonov A.V. (2019) The Divide in Contemporary Russian Society: Society vs. Authority. *Philosofskie nauki* [Russian Journal of Philosophical Sciences]. Vol. 62. No. 8: 68–83. DOI: 10.30727/0235-1188-2019-62-8-68-83. (In Russ.)
- Yudina T.N., Bondaletov V.V., Mazayev Yu.N., Bormotova T.M., Dolgorukova I.V. (2017) Public Evaluation of Police Activities. *Sotsiologicheskiye issledovaniya* [Sociological Studies]. No. 4: 52–59. (In Russ.)

Received: 03.08.20. Final version: 14.08.20. Accepted: 10.10.20.

© 2021 г.

МЕЖДУНАРОДНАЯ МИГРАЦИЯ В ЭПОХУ ПАНДЕМИИ COVID-19

15–16 декабря 2020 г. прошел XII Международный научно-практический форум «Миграционные мосты в Евразии: глобальное и региональное измерения», который ежегодно организуется и проводится Институтом демографических исследований ФНИСЦ РАН (ИДИ ФНИСЦ РАН) и кафедрой демографической и миграционной политики МГИМО МИД России. Форум собрал более 150 ученых, преподавателей, практиков в сфере международной миграции и управления миграционными процессами, представителей министерств и ведомств, неправительственных организаций из 27 стран.

Основным лейтмотивом форума в 2020 г. стали вопросы, так или иначе связанные с пандемией COVID-19. С приветственным словом к участникам обратились директор ИДИ ФНИСЦ РАН, зав. кафедрой демографической и миграционной политики МГИМО МИД России, чл.-корр. РАН **С.В. Рязанцев**, декан факультета управления и политики МГИМО МИД России **Г.Т. Сардарян**, зам. начальника Главного управления по вопросам миграции МВД РФ **Д.П. Демиденко**, глава Бюро Международной организации по миграции (МОМ) в Москве **А. Эсоев**, национальный программный координатор Субрегионального координационного офиса по Центральной Азии МОМ **Е. Хон**, первый зам. председателя Общероссийской общественной организации «Ассамблея народов России» **И.Э. Круговых**, проф. Института экономики и торговли Таджикского государственного университета коммерции **А.Д. Азимов**.

С.В. Рязанцев (ИДИ ФНИСЦ РАН, МГИМО МИД России, Москва) отметил, что в настоящее время как никогда важно обращаться к исследованиям миграции, мобильности населения, социальной поддержки наиболее уязвимых групп, в том числе мигрантов. Пандемия COVID-19 показала, что в условиях закрытия государственных границ и ограничений на въезд и выезд иностранных граждан подавляющее большинство стран мира, помимо проблемы сохранения жизни и здоровья своих граждан, столкнулось с проблемой нехватки трудовых ресурсов, падения темпов экономического развития. Фактически мир стоит на пороге нового глобального кризиса, последствия которого еще в полной мере не оценены.

Пленарную сессию открыл доклад **А. Армитаж**, директора Регионального офиса ЮНФПА по Восточной Европе и Центральной Азии (Турция). Она рассказала о задачах и перспективах регионального сотрудничества и инициатив ЮНФПА в этом регионе в период пандемии. Руководитель проекта «Миграция и безопасность на постсоветском пространстве», ведущий научный сотрудник ИДИ ФНИСЦ РАН **И.Н. Молодикова** (Венгрия) представила анализ «Плана действий ЕС по интеграции и включенности мигрантов» на 2021–2027 гг.

Проф. **К. Инглис** (Сиднейский университет, Австралия, Сидней) в своем выступлении описала ситуацию, сложившуюся в Австралии после введения ограничений на передвижения в связи с пандемией COVID-19, описала комплекс проблем, с которыми столкнулись мигранты из разных стран, и дала комплексную характеристику мер государственной поддержки населения и мигрантов. В свою очередь **Л. Деловарова** (КазНУ им. аль-Фараби, Казахстан, Алматы) проанализировала связанные с пандемией изменения в области

трудовых отношений в Центральной Азии, отметив необходимость скоординированной работы стран этого региона и России по минимизации последствий пандемии COVID-19. **В.И. Скоробогатова** (Главэкспертцентр, ИДИ ФНИСЦ РАН, Россия, Москва) рассказала об особенностях и тенденциях образовательной миграции и академической мобильности, изменениях в правилах приема в вузы в период пандемии.

В первый день форума состоялась дискуссия в рамках экспертной панели «Проблемы и перспективы развития человеческого капитала в эпоху пандемии COVID-19», организованной при поддержке Центра междисциплинарных исследований человеческого потенциала МГИМО МИД России. **Ю.А. Колесников** (Департамент по гуманитарным вопросам и правам человека МИД России, Москва) сделал доклад о влиянии пандемии на глобальные процессы «мобильности человеческого капитала», подчеркнув, что исследователи и эксперты в разных странах мира еще не могут полностью осознать масштаб и долгосрочность воздействия пандемии на все сферы общественной жизни, социально-экономические и политические отношения. Проф. **С.А. Кравченко** (МГИМО МИД России, Москва) в своем докладе представил теоретико-методологический анализ возможных последствий пандемии на эволюцию современного общества.

Чл.-корр. РАН **С.В. Рязанцев** и **М.Н. Храмова** (ИДИ ФНИСЦ РАН, МГИМО МИД России, Москва) рассказали о влиянии пандемии COVID-19 на положение мигрантов из Центральной Азии в России и формирование человеческого капитала в странах происхождения мигрантов. Они привели результаты социологического опроса мигрантов в первый месяц после введения ограничений в экономике России, выделили основные негативные последствия пандемии для них и экономик стран Центральной Азии. Долгосрочные прогнозы развития мировой экономики на основе моделей экономического роста с учетом международной миграции представила **К.В. Нестерова** (РАНХиГС, Россия, Москва).

Проф. **Е.А. Назарова** (МГИМО МИД России, Москва) в докладе «“Замещающая миграция”: проблемы формирования человеческого капитала в период пандемии COVID-19» обратила внимание на очень важный аспект обеспечения доступа мигрантов к сервисам медицинского страхования. В свою очередь **А.В. Носкова**, **Д.В. Галицкая** и **Е.И. Кузьмина** (МГИМО МИД России, Москва) отметили роль образования в формировании человеческого капитала в условиях пандемии. Продолжили тему формирования профессиональных компетенций и трансформации системы образования во время и после пандемии **И.Д. Фрумин** и **П.С. Сорокин** (НИУ ВШЭ, Россия, Москва).

В работе экспертной панели активное участие приняли зарубежные коллеги. Так, проф. **Х. Гюлерсе** (Университет Харран, Турция) выступил с докладом о проблемах и особенностях пребывания сирийских мигрантов в Турции в период пандемии COVID-19. Проф. **М. Гайгер** (Карлтонский университет, Канада, Оттава) и **Э. Пар** (Йенский университет им. Ф. Шиллера, Германия, Йена) рассказали о влиянии пандемии на миграцию квалифицированных специалистов в мире. Проф. **А.В. Коробков** (Университет штата Теннесси, США; ИДИ ФНИСЦ РАН, Россия, Москва) описал текущую миграционную ситуацию в США, меры по борьбе с коронавирусной инфекцией и ее влияние на американское общество. Проф. **Т. Гербер** (Висконсинский университет в Мэдисоне, США, Мэдисон) привел результаты социологических опросов по отношению к иммигрантам в России.

Каждый из коллег представил в глобальном или страновом разрезе отдельные аспекты проблемы формирования человеческого капитала в период пандемии COVID-19, а также комплекс последствий, с которыми миру придется столкнуться после снятия ограничений на передвижения: восстановление туристических потоков и потоков образовательной миграции, трансформация системы образования, механизмов и инструментов адаптации мигрантов в принимающем обществе, новые законодательные инициативы, связанные с социальной защитой наиболее уязвимых слоев населения и мигрантов в условиях пандемии.

Второй день мероприятия начался конкурсом работ студентов, аспирантов и молодых ученых в рамках форума «Паспортно-визовая дипломатия в Евразии» (модераторы – **Р.В. Маньшин**, ИДИ ФНИСЦ РАН, МГИМО – Университет, и **Л. Рабат**, ИДИ ФНИСЦ РАН,

Москва). Конкурс традиционно был объявлен и поддержан Бюро Международной организации по миграции в Москве. В приветственном слове **С.В. Рязанцев** и **А. Эсоев** подчеркнули необходимость привлечения молодых кадров в науку и прикладные международные исследования. В этом году свои работы на конкурс представили девять молодежных коллективов, победу одержал коллектив магистрантов факультета международных отношений МГИМО МИД России в составе **Д. Борисовой**, **Ю. Томской** и **А. Тумайкина**, которые рассказали о современных миграционных вызовах в странах Юго-Восточной Азии (науч. рук. М.Н. Храмова).

Далее работа форума продолжилась в рамках круглых столов, один из которых (модераторы – **А.Е. Иванова** и **А.В. Зубко**, ИДИ ФНИСЦ РАН, Москва) был посвящен эпидемиологическому контролю заболеваемости мигрантов COVID-19 в странах въезда и выезда, вопросам получения медицинской помощи мигрантами, влиянию пандемии на реализацию программ ВИЧ-профилактики в странах Центральной Азии, последствиям потери работы трудовыми мигрантами в период пандемии.

Работа круглого стола «Образовательная миграция и академическая мобильность» (модераторы – **Т.К. Ростовская**, ИДИ ФНИСЦ РАН, и **Е.Е. Письменная**, ИДИ ФНИСЦ РАН, Финансовый университет при Правительстве РФ, Москва) была сфокусирована на вопросах трансформации рынка высококвалифицированных специалистов в период пандемии, изменениях в системе университетского образования при переходе к онлайн-технологиям, новых образовательных практиках, а также проблемах обеспечения качества жизни иностранных студентов в России в период действия ограничений.

Круглый стол «Миграция и экономическое развитие» (модераторы – **С.Н. Мишук**, ИДИ ФНИСЦ РАН, и **О.Д. Воробьева**, ИДИ ФНИСЦ РАН, МГУ им. М.В. Ломоносова, Россия, Москва) охватил широкий спектр вопросов, связанных с экономическими выгодами и потерями от нелегальной международной трудовой миграции для работодателей, самих мигрантов и принимающего общества; сценариями развития внутреннего рынка труда в странах Центральной Азии во время и после пандемии COVID-19; анализом российских региональных рынков труда и проблемами обеспечения баланса спроса и предложения рабочей силы.

На круглом столе «Глобальное изменение климата и миграция» (модераторы – **Е.М. Моисеева** и **А.С. Лукьянец**, ИДИ ФНИСЦ РАН, МГИМО – Университет, Москва) участники дискуссии обсудили возможные механизмы влияния изменений климата на миграционные процессы в современном мире и вопросы нормативно-правового закрепления и регулирования климатической миграции на международном уровне, обозначили круг проблем, возникших на уровне стран и регионов мира вследствие введения ограничений на передвижения в период пандемии.

Работа круглого стола «Проблемы адаптации и интеграции мигрантов в России и зарубежных странах» (модераторы – **В.Ю. Леденева**, ИДИ ФНИСЦ РАН, Россия, Москва, и **Е.Е. Саввина**, Московский банк ПАО Сбербанк, Россия, Москва) была сосредоточена на таких направлениях, как оценка роли бизнес-сообществ, общественных и этнических организаций в адаптации и интеграции мигрантов; потребности трудовых мигрантов в период пребывания на территории России; использование мигрантами финансовых и нефинансовых продуктов и сервисов и их роль в успешной адаптации в принимающем обществе.

В течение двух дней работы форума ученые, практики и представители органов государственной власти в сфере международной миграции рассмотрели основные тенденции современных миграционных процессов в России и мире в условиях пандемии COVID-19 и выделили ряд ключевых проблем, связанных с необходимостью внесения изменений в национальные законодательства, защиты и поддержки мигрантов в период пандемии, а также восстановлением миграционных потоков и устойчивым экономическим развитием стран и регионов мира в постпандемический период.

ХРАМОВА Марина Николаевна, к. физ.-мат. н., зам. директора; доцент (kh-mari08@yandex.ru); МАНЬШИН Роман Владимирович, к. экон. н., ведущий научный сотрудник; доцент (manshin@list.ru). Оба – Институт демографических исследований ФНИСЦ РАН; Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД России, Москва, Россия.

DOI: 10.31857/S013216250013754-2

INTERNATIONAL MIGRATION DURING THE COVID-19 PANDEMIC

Marina N. KHRAMOVA, Cand. Sci. (Phys. and Math.), Deputy Director; Assoc. Prof. (kh-mari08@yandex.ru); Roman V. MANSHIN, Cand. Sci. (Econ.), Leading Researcher; Assoc. Prof. (manshin@list.ru). Both – Institute for Demographic Research of FCTAS RAS; MGIMO University, Moscow, Russia.

© 2021 г.

О II ВСЕРОССИЙСКОМ ДЕМОГРАФИЧЕСКОМ ФОРУМЕ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ

В начале декабря 2020 г. в Российской академии наук состоялся II Всероссийский демографический форум с международным участием, организованный Институтом демографических исследований ФНИСЦ РАН (ИДИ ФНИСЦ РАН) при поддержке Отделения общественных наук РАН и Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации. Его основная цель – объединение ученых, политиков и представителей гражданского общества для обсуждения проблем реализации национального проекта «Демография» и выработки стратегии национальной демографической политики и политики поддержки семьи.

Форум открыл первый заместитель директора ФНИСЦ РАН, чл.-корр. РАН **М.Ф. Черныш**, обозначивший основные тенденции и проблемы демографических процессов в современной России, которые должны быть поставлены в центр стратегического развития страны, особенно в контексте новых глобальных вызовов, таких как пандемия COVID-19. С приветственными словами к участникам также обратились **Г.А. Зюганов, С.М. Миронов, И.О. Щеголев, Т.В. Плетнева, О.Н. Епифанова** и др.

На I Пленарной сессии чл.-корр. РАН **С.В. Рязанцев** (ИДИ ФНИСЦ РАН) выступил с презентацией Национального демографического доклада – 2020 (НДД – 2020) «Демографическое развитие России: тенденции, прогнозы, меры», в основу которого включены результаты исследований ведущих демографов, социологов ФНИСЦ РАН по проблемным аспектам демографической ситуации в России в 2018–2020 гг. Особый интерес вызвал прогноз возможного влияния мер, обозначенных президентом РФ в 2020 г., на перспективы демографического развития России по двум вариантам (сценариям) до 2050 года.

Чл.-корр. РАН **О.И. Аполихин** (НИИ УИР им. Н.А. Лопаткина – филиала ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России), выступая с докладом «Репродуктивное здоровье и активное социальное долголетие в демографической перспективе», отметил, что реализация

репродуктивного потенциала зависит от репродуктивного здоровья, репродуктивных потерь, возникающих вследствие болезней, непредвиденных обстоятельств, репродуктивного поведения и желания иметь детей.

Проф. **А.В. Стародубова** (ФИЦ питания и биотехнологии) обратила особое внимание на здоровое питание как инструмент здоровьесбережения населения России.

Е.Ю. Садовская (международный консультант по миграции и миграционной политике в Казахстане и Центральной Азии) отметила новые тенденции в миграциях из Узбекистана в Россию.

Открывая II Пленарную сессию, проф. **Т.К. Ростовская** (ИДИ ФНИСЦ РАН) презентовала НДД – 2020 «Демографическое поведение населения в контексте национальной безопасности России» (РНФ), подготовленный научным коллективом ИДИ ФНИСЦ РАН, ВолНЦ РАН, ВИИМОСТ ВолГУ. Выборочное социологическое обследование было проведено в 10 субъектах Центрального, Северо-Западного, Приволжского, Уральского, Северо-Кавказского и Южного федеральных округов (всего $N = 5616$ от 18 до 50 лет). Программа исследования позволила провести региональный анализ особенностей матримонимального, репродуктивного поведения россиян, характеристик института семьи в современной России, самосохранительного и миграционного поведения, оценки населением семейно-демографической политики.

О.В. Кучмаева (ИДИ ФНИСЦ РАН), выступая с докладом «Демографическое самочувствие населения России: анализ Всероссийского социологического исследования 2019–2020 гг.», отметила необходимость использования масштабных выборочных обследований в режиме мониторинга оценки результативности семейной и демографической политики.

Более подробно результаты регионального исследования представили: **А.А. Шабунова** и **О.Н. Калачикова** (обе – ВолНЦ РАН) обратили внимание на демографическую ситуацию в Вологодской области на фоне ее эволюции с 2000 по 2019 г. в сравнении со среднероссийскими тенденциями и регионами СЗФО. Отдельный блок доклада был посвящен мерам демографической политики с акцентом на региональный кейс. **А.П. Багирова** (ИЭУ УрФУ) сфокусировалась на ключевых проблемах в рамках реализации национального доклада «Демография» на региональном уровне и представила комплекс мер, направленных на совершенствование демографической политики Свердловской области. **Р.М. Валиахметов** (БашГУ) остановился на проблемных вопросах, актуальных для большинства регионов России: убыль населения, снижение уровня рождаемости, негативные тенденции в демографической структуре, медленный рост ожидаемой продолжительности жизни, миграционный отток. Вместе с тем докладчик отметил положительный эффект от принятых на федеральном и региональном уровнях мерах по повышению рождаемости и поддержки сферы здравоохранения, позволивших сохранить присущее Башкортостану преимущество в уровне многодетности и расширить доступ сельского населения к медицинским услугам и здоровьесберегающим технологиям.

Е.Н. Васильева (ВолГУ) проанализировала общие показатели и вклад миграции в демографическую ситуацию в Волгоградской области за период 2007–2019 гг. Представленные данные по Волгоградской области позволили сформулировать рекомендации о новых формах работы с населением, способствующих обоснованному выбору – деторождение или получение образования, или карьера, или качественный досуг и т.д. **Ч.И. Ильдарханова** (ЦСД АН РТ) уделила особое внимание демографическому развитию сельских территорий и эффективным региональным мерам государственной поддержки сельских женщин при рождении детей, проблеме мужской сверхсмертности, актуализирующей необходимость разработки стратегии действий в интересах мужчин.

С.А. Судьин (ННГУ им. Н.И. Лобачевского) отметил наличие проблем, характерных для большинства индустриально развитых городов: снижение рождаемости, наблюдаемое с начала 1990-х гг., приведшее к значительному снижению численности населения и возрастанию доли старших возрастных групп в его структуре. Данные анализировались в динамике за период с 1991 по 2020 г., основные демографические показатели были

приведены в контексте общероссийских показателей. В докладе была рассмотрена региональная специфика поддержки материнства и детства, проанализированы факторы, определяющие репродуктивную активность населения. Среди них преобладают обстоятельства экономического и гедонистического характера, типичные для постиндустриального общества.

Работа Форума продолжилась на пяти тематических секциях. В рамках секции «Образ жизни и самосохранительное поведение российского населения» (модераторы – проф. **А.Е. Иванова** (ИДИ ФНИСЦ РАН) и **А.А. Шабунова** (ВолНЦ РАН)) рассматривались теоретические и эмпирические вопросы образа жизни и самосохранительного поведения российского общества. Были представлены доклады ведущих российских ученых-демографов и социологов, а также молодых исследователей.

Секция «Репродуктивное поведение и семейные установки» (модераторы – проф. **Т.К. Ростовская** (ИДИ ФНИСЦ РАН) и **В.Н. Архангельский** (МГУ им. М.В. Ломоносова)) была посвящена обсуждению вопросов функционирования семьи как социального института и ее жизнедеятельности как малой социальной группы в современной России, особенностям и детерминантам ее репродуктивного поведения. Большое внимание было уделено методологическим вопросам и результатам социологических исследований различных аспектов жизнедеятельности семьи, репродуктивного поведения и т.д. В ходе обсуждения были отмечены негативные тенденции: массовое распространение бедности семей с несколькими детьми формирует, наряду с низкой потребностью в детях, ориентации в молодежной среде на рождение одного, реже двоих детей. Все большее распространение получает отказ от рождения даже единственного ребенка. Повышение рождаемости в России, которое было особенно существенным с 2007 г., когда начали реализовываться дополнительные меры помощи семьям с детьми (федеральный материнский (семейный) капитал), сменилось ее снижением в последние годы.

На секциях «Миграционное поведение россиян и проблемы мигрантов в российском обществе. Корпоративная демографическая политика» (модераторы – проф. **О.Д. Воробьева** (ИДИ ФНИСЦ РАН) и **В.Ю. Леденева** (ИДИ ФНИСЦ РАН)) обсуждались различные аспекты демографического будущего России, компенсирующей роли миграции в условиях естественной убыли населения, необходимости усиления внимания к образовательной миграции, вопросы миграционного поведения россиян, в том числе под влиянием природно-климатических условий и экологической ситуации, проблемы интеграции мигрантов в российском обществе, а также корпоративная демографическая политика. Доклады показали неоднородность регионов России по уровню и условиям процессов воспроизводства населения, необходимость и возможность учета различий, существующих в регионах, для выработки и проведения различных мер демографической политики, дополняющих меры федерального уровня. Особое внимание было уделено миграционным процессам Дальнего Востока и Крайнего Севера. Интересный опыт проведения корпоративной демографической политики исследован учеными Екатеринбургского и Новосибирского научных центров¹. Важный доклад (**А.В. Топилин**, ИДИ ФНИСЦ РАН) о правильности понятийного аппарата, применяемого для определения стратегических направлений развития, в том числе демографического, был с интересом обсужден участниками секции.

Обсуждение теоретических и прикладных аспектов реализации национального проекта «Демография», а также тенденций и перспектив развития семейной, демографической и миграционной политики на национальном уровне в профессиональном сообществе позволило участникам Форума не только выявить имеющиеся демографические проблемы, но и предложить научно обоснованные рекомендации по совершенствованию механизмов реализации национального проекта и выработке стратегии национальной демографической политики и политики поддержки семьи, сохраняющей преемственность и формулирующей

¹ Ознакомиться с выработанными ими практическими материалами по проведению корпоративной демографической политики теперь можно на сайте РСПП.

новые подходы к социально-демографической политике с учетом региональных и этнокультурных особенностей страны, а также с учетом эффективных зарубежных практик.

С.В. РЯЗАНЦЕВ, Т.К. РОСТОВСКАЯ

РЯЗАНЦЕВ Сергей Васильевич, чл.-корр. РАН, директор; зав. кафедрой демографической и миграционной политики Московского государственного института международных отношений (университета) МИД России (riazan@mail.ru); РОСТОВСКАЯ Тамара Керимовна, д. социол. н., проф., зам. директора (rostovskaya.tamara@mail.ru). Оба – Институт демографических исследований ФНИСЦ РАН, Москва, Россия.

DOI: 10.31857/S013216250013031-7

ABOUT THE 2nd ALL-RUSSIAN DEMOGRAPHIC FORUM WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION

Sergey V. RYAZANTSEV, Corresponding Member of RAS, Director; Head of Department of the MGIMO University (riazan@mail.ru); Tamara K. ROSTOVSKAYA, Dr. Sci. (Sociol.), Prof., Deputy Director (rostovskaya.tamara@mail.ru). Both – Institute for Demographic Research of FCTAS RAS, Moscow, Russia.

Размышления над новой книгой

© 2021 г.

И.А. САВЧЕНКО

«СУМЕРКИ ПАМЯТИ» НЕИЗБЕЖНЫ?

САВЧЕНКО Ирина Александровна – доктор социологических наук, доцент, начальник международной междисциплинарной научной лаборатории «Технологии социально-гуманитарных исследований» Нижегородского государственного лингвистического университета им. Н.А. Добролюбова; профессор кафедры психологии и педагогики Нижегородской академии МВД России, Нижний Новгород, Россия (teosmaco@rambler.ru).

Аннотация. В рецензии на коллективную монографию «Спасибо прадеду за Победу...» раскрывается значимость темы Великой Отечественной войны для современного поколения молодежи. Обоснованы актуальность и социальная востребованность монографии, ее содержательная ценность, эмпирическая и теоретическая насыщенность. Показаны дискуссионные моменты книги, раскрыты потенциалы работы над социологической проблематикой коллективной памяти о Великой Отечественной войне.

Ключевые слова: историческая память • Великая Отечественная война • студенческая молодежь • патриотическое воспитание • мониторинг

DOI: 10.31857/5013216250011508-1

В рецензируемой коллективной монографии¹ представлены итоги мониторинга, проведенного Российским обществом социологов (РОС) в 2020 г. и приуроченного к 75-летию Великой Победы. Обработка материалов исследования (N = 10 065: студентов вузов, студентов СПО, школьников 8–11 классов, сбор – конец 2019 – начало 2020 г.) проходила в тот сложный период, когда не только Россия, но и большая часть мира накануне 75-й годовщины Победы погрузились в самоизоляцию. Нужно признать, что в СМИ в это время появилось много достоверной и интересной информации о войне, документальных и художественных фильмов, отличающихся объективностью и непредвзятостью. Но на обычном уровне пандемия затмила тему Победы и исторической памяти. Не состоялись (или были проведены в ограниченном измененном формате) такие значимые события, как Парад Победы, школьные, вузовские мероприятия, посвященные Победе, шествие Бессмертного полка... В сложившихся условиях социологи стремились понять, уходит ли тема Великой Отечественной войны постепенно с повестки дня и пандемия лишь ускорила необратимый процесс. Или же тема по-прежнему актуальна. Материалы монографии не дают прямого ответа, но углубленное знакомство с ее содержанием многое расставляет по своим местам и позволяет делать прогнозы.

Авторский коллектив книги включает 46 человек. Уже с первых страниц читатель понимает, что монография, хотя и представляет собою академическое издание, содержит в себе глубоко личное и гуманистическое начало. При этом данная книга – прекрасный

¹Спасибо прадеду за Победу... Материалы IV этапа мониторинга «Современное российское студенчество о Великой Отечественной войне»: коллективная монография / Под общ. ред. Ю.Р. Вишневого; Мин-во науки и высшего образования РФ. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2020. 352 с.

пример социологической работы. В монографии в развернутом виде обоснованы теоретические и методологические основания социологического мониторинга, систематизированы данные четырех этапов исследования, раскрыты преимущества и слабые стороны онлайн-опросов. Безусловно, возможность применения такого канала коммуникации можно рассматривать как положительное последствие цифровизации. С другой стороны, без непосредственного контакта респондент не может напрямую обратиться к социологу за разъяснениями, поэтому требования к правильному построению анкеты при онлайн-опросе многократно возрастают.

В монографии обосновано наблюдение: анкетирование имеет не только исследовательское значение, оно оживляет историческую память современного студента. Инструментами такой «мнемонической реабилитации» являются в том числе открытые вопросы, поскольку их использование производит социально значимые эффекты.

Основная идея, красной линией проходящая сквозь содержание монографии, – в том, что историческая память о войне живет в народе, составляет ядро его национальной идентичности, а патриотические чувства молодых россиян достаточно сильны. Однако есть определенные социальные тенденции, которые могут вызвать обеспокоенность. К таким «нюансам» можно отнести, в частности, преобладание ответов «спорно, но обосновано» на вопросы об отношении к осквернению воинских захоронений, памятников солдатам и полководцам, об интерпретации освобождения Прибалтики советскими войсками как «оккупации», о том, что в нападении Германии на СССР якобы виноваты обе стороны, и о том, что действия бандеровцев и «лесных братьев» могут быть оправданы борьбой народов за свободу против коммунистического режима...

Многие данные и выводы, полученные в монографии, в определенной мере подтверждают и дополняют уже имеющийся в российской науке опыт изучения исторической памяти молодого поколения о Великой Отечественной войне. В российской социологии есть работы, в которых исследуется проблема восприятия молодыми людьми ключевых дат Великой Отечественной [Кутыкова, 2013; Афанасьева, Меркушин, 2005]. Авторы подобных работ констатируют в основном почтительное отношение студенческой [Устинкин, 2017] и учащейся [Саралиева и др., 2015] молодежи к памяти событий 1941–1945 гг., но при этом, как и создатели монографии, устанавливают падение интереса к подробным характеристикам событий Великой Отечественной войны [Афанасьева, Меркушин, 2005]. Выявляется устойчивая тенденция: в коллективных воспоминаниях молодого поколения в противовес поколениям более старшим [Саралиева, Балабанов, 2005] прочно закреплены только наиболее известные даты (вероломное нападение Гитлера на СССР, День Победы 9 мая), в меньшей мере – даты «срединные», такие как Ленинградская блокада и Сталинградская битва, в очень незначительной степени – даты конкретных битв и сражений. Показательно, что последовательность и содержание военных событий известны нынешним студентам и школьникам не столько по школьным учебникам, сколько благодаря кино и телевидению. Детальная хронология войны у большинства молодых людей вызывает заметные затруднения.

Решение возникающих сложностей, проблем и противоречий закономерно видится в патриотическом воспитании. Заслуга коллектива монографии в том, что патриотическое воспитание они рассматривают именно в социологическом и социокультурном аспектах, понимая, что именно характеристики окружающей жизни формируют патриотизм. В книге объясняется сущность и глубинная природа патриотического воспитания и справедливо подчеркивается, что воспитание индивида – длительный, многоаспектный и разноуровневый в социальном плане процесс, в котором самой неоднозначной и сложной для описания является память, индивидуальная и коллективная. Память имеет хронологическую природу, что способствует ее пониманию как темпорального маркера или хронотропа, где есть «прошлое прошлого», «настоящее прошлого» и «будущее прошлого». В монографии мы находим обоснование тезиса, что при естественной смене поколений трудно преодолеть «соблазн “инновационных преобразований”» истории, в том числе военной

истории. Трансформация приоритетов развития общества приводит к «рассогласованию политических целей и исторических детерминант, не способствует формированию поколения, уважающего свою историю и гордящегося ею». «Демонизация, неоправданное возвеличивание, сверхтолерантность – это только верхушка айсберга. В этом отношении необходимо со всей ответственностью подойти к вопросу о социальных границах возможного, договориться о нормах, которые ... нельзя нарушать. Иначе “сумерки памяти” неизбежны» (с. 192).

В книге убедительно раскрываются злободневные вопросы функционирования, сохранения и развития исторической памяти у студенческой молодежи. Показываются эффекты участия студентов в волонтерских организациях, включая «Бессмертный полк». Изучается влияние на историческую память социокультурных, миграционных и этноконфессиональных особенностей отношения к военным реликвиям и историческим памятникам, к духовным «отголоскам войны». Устанавливается, что феномен исторической памяти имеет на данный момент двойственную противоречивую природу. С одной стороны, она включается в ядро перспектив развития российского общества, где авангардом является молодое поколение, с другой – эмпирически устанавливаются проблемы деформации и мифологизации исторического сознания молодежи.

Начиная писать обзор монографии, я задалась вопросом, насколько тема войны соответствует и будет соответствовать «повестке дня сегодняшнего». Для послевоенного поколения даже сама постановка вопроса могла бы показаться неправильной и/или даже кощунственной. Тем не менее мы должны признать, что в условиях «информационной неразберихи» риски утраты или профанизации исторической памяти действительно существуют [Савченко и др., 2017].

В зарубежной социологии все более популярной становится позиция по отношению к исторической памяти, изложенная в книге Д. Риффа «Во славу забвения: Ирония исторической памяти» [Rieff, 2016]. Он считает так называемым *трюизмом*, т.е. избитой, но неочевидной истиной, устойчивое суждение о том, что «следует помнить прошлое, дабы уберечься от его повторения». Настаивая, что в ряде обстоятельств «некоторые события лучше забыть», Д. Рифф критикует политиков (в частности Марин Ле Пен), которые «спекулируют» понятием исторической памяти посредством мифологизации (псевдо)великого прошлого определенной нации. «Культ памяти» Д. Рифф характеризует как идеологическое оружие в руках вдохновителей (таких как Адольф Гитлер) кровавых столкновений и войн [там же: 21]. Можно возразить английскому публицисту, что культ памяти и историческая память не идентичны друг другу, а научнообразные рассуждения о «меморальных спекуляциях» сами по себе являются спекулятивными, но от этого вряд ли взгляды Риффа станут менее опасными.

Описанная Риффом позиция стала распространенной на Западе, ее сторонники есть и в России. Рифф критикует идеологию, в которой увековечивание памяти провозглашается моральным и политическим долгом, а также личным долгом в «наш терапевтический век», и настаивает, что вспоминать в конечном счете «бесполезно, так как все общества, подобно смертным индивидуумам, которые их составляют, в конце концов рассыплются в прах». Тем, кто надеется, что «память о Холокосте поможет предотвратить будущие геноциды», Рифф отвечает, что это – «магическое мышление», указывая на последующие кампании уничтожения оппонентов в борьбе за власть и ресурсы в Бангладеш, Камбодже и Руанде...

Мы отвлеклись на работу Риффа для того, чтобы показать, что ценность концепта исторической памяти сегодня подвергается сомнению. Можно приводить доводы о том, что массовые убийства в Бангладеш, Камбодже и Руанде стали возможны в том числе и потому, что в коллективной памяти народов этих стран не было воспоминаний о Холокосте, но риск глубокого проникновения описанной Риффом позиции в общественное сознание от этого не ослабнет. «Ревизия» социалистического прошлого, которая сопровождалась, помимо прочего, и «пересмотром» итогов войны, создала благоприятную почву для сомнений в истинных результатах Победы, особенно среди молодого поколения –

ведь среди их родителей и даже бабушек уже нет тех, кто прошел войну. Не следует упускать из виду, что концепт исторической памяти стал «одной из новаций» общественного сознания только в конце XX – начале XXI в. [Тощенко, 2020: 18] – то есть именно тогда, когда память о войне все больше становилась достоянием истории, а живых участников фронтовых событий оставалось все меньше. Ж.Т. Тощенко сопоставляет степени выраженности у российских граждан исторической памяти о различных эпохальных событиях двадцатого столетия и приходит к выводу о беспрецедентно высокой значимости для россиян памяти о Великой Отечественной войне (вне зависимости от их социального статуса, возраста и идеологических установок). В то же время исследователь выявляет источники достаточно распространенных сегодня противоречивых и негативистских интерпретаций роли Советского государства в победе над нацизмом. В данном контексте Тощенко подвергает критике формализацию и казенное отношение к исторической памяти о событиях. Очевиден посыл: патриотическое воспитание не может быть основано на примитивных казенных приемах. Оно будет иметь социально и духовно значимый эффект только в случае, если будет апеллировать к глубинным основам коллективного сознания, которые можно уловить, в частности, в песнях и стихах военного времени [там же].

Есть и другой аспект проблемы: по мнению проф. М.И. Рыхтика, высказанному им весной 2020 г. на конференции «Феномен патриотизма в трансструктурном коммуникационном поле» в Нижегородском государственном лингвистическом университете им. Н.А. Добролюбова, быть победителем – значит нести на себе бремя ответственности за Победу, а ответственность не может быть формальной. Если мы хотим оставаться победителями, значит, и патриотическое воспитание должно быть как у победителей: настоящее, без признаков казенщины и бездушного «проектного подхода»...

«Спасибо прадеду за победу...» – книга, которая консолидировала в себе усилия многих представителей научной общественности нашей страны: и тех, кто писал ее, и тех, кто организовывал исследования в учебных заведениях. Социальная ценность работы усиливается «пронзительными» историями военных лет и военными фотографиями, включенными в монографию. Не случайно ее читательская аудитория – все те, кому «дорога память о Великой Победе».

В книге есть дискуссионные моменты, которые открывают дальнейшие возможности для авторского коллектива. Так, существует множество социально значимых взаимосвязей, которые могли бы быть выделены на основе анализа материалов мониторинга. В ходе изучения влияния региона, в котором обучается опрашиваемый студент, на восприятие значимости военных событий, видимых территориальных особенностей в ответах респондентов выявлено не было (с. 129–130). Это наблюдение на первый взгляд кажется убедительным, тем более что, как мы понимаем, регион обучения далеко не всегда совпадает с регионом, где молодой человек родился и вырос. Более того, не выявленные в ходе опроса территориальные различия в степени сформированности исторической памяти позволили авторам подтвердить, что студенчество – это автономная социальная группа с собственными ценностями, которая демонстрирует определенное постоянство в социальных ориентирах, самостоятельность и неподверженность прямому воздействию регионального фактора (с. 130).

С утверждением сложно не согласиться, однако остается ощущение, что на основе полученные данные можно было сделать более глубокие выводы. Прежде всего, вывод о невыраженности регионального фактора делается исключительно на основе опросов в городах-героях: Москве, Волгограде, Санкт-Петербурге и Керчи (§ 2.3). Данные, полученные в других городах (Белгороде, Твери, Улан-Удэ, Кирове, Нижнем Новгороде и др.) и регионах (Приморский край, Республики Татарстан, Башкортостан и пр.), не сопоставляются ни между собой, ни с данными, полученными в городах-героях. Между тем, обобщая результаты мониторинга среди студентов, обучающихся в городах-героях, авторы монографии указывают, что патриотические ценности и развитие исторической памяти

этих студентов не отличаются от аналогичных показателей из других городов. Не совсем понятно, на чем основан данный вывод.

То, что авторы посвящают целый параграф городам-героям, вполне обосновано. Вместе с тем в опросе приняли участие студенты из городов воинской славы: Белгорода, Курска, Твери, а также Владивостока (слава этого города больше связана с событиями Второй мировой войны, а не Великой Отечественной). Было бы вполне логично сравнить ответы студентов, обучающихся в городах, которые оказались в период Великой Отечественной во фронтовой зоне, в прифронтовой (например, Нижний Новгород) и в глубоком тылу (Улан-Удэ и др.)

В § 2.2 указывается, что ни гендерные, ни поколенческие особенности не влияют значимым образом на ответы респондентов. Однако в последнем параграфе (с. 321–322) гендерные отличия в восприятии военной истории все же обнаруживаются, но уже не у студентов, а у старшеклассников. Вывод напрашивается сам собой: если гендерные отличия зависят от возраста, следовательно, и возрастные отличия тоже имеют место...

Несколько сложнее обстоит дело с выводами авторов относительно влияния будущей профессии («физики» и «лирики») респондента на уровень сформированности его исторической памяти о событиях 1941–1945 гг. В монографии устанавливается, что в понимании природы патриотизма и сущности исторической памяти видимых различий между мнениями «технарей» и «гуманитариев» не наблюдается (с. 98–105). Вывод исследователей никаких сомнений не вызывает. Между тем сама постановка вопроса выглядит не вполне современной, учитывая, что пик дискуссии между физиками и лириками пришелся на шестидесятые годы прошлого столетия. Действительно, не совсем понятно, почему мнение о военных событиях у будущего специалиста по связям с общественностью гипотетически могло бы отличаться от мнения будущего радиофизика, ведь сегодня в учебных планах объемы общегуманитарных (а не специальных гуманитарных) дисциплин у физиков и лириков (за исключением историков, философов, социологов или филологов) примерно одинаковы.

Было бы интересно проследить взаимосвязь степени развитости исторической памяти и патриотических установок с профессионально-жизненными ориентациями, например, между студентами, обучающимися по направлениям подготовки «Социальная работа» или «Государственное и муниципальное управление», с одной стороны, и с теми, кто обучается по направлениям «Коммерция», «Сервис» или «Гостиничное дело» – с другой. Заметим, все перечисленные направления – гуманитарные, однако одни студенты намереваются связать свою жизнь с бизнесом и получением прибыли, другие – с работой в государственных структурах... Можно пойти дальше и попытаться найти сходства и отличия у разных категорий студентов, например, медицинских вузов: у будущих хирургов, онкологов, пластических хирургов, стоматологов, фармацевтов или санитарных врачей. Чтобы провести подобный анализ, целесообразно расширить выборку, и здесь можно посоветовать, почему не все образовательные учреждения с интересом отнеслись к исследованию. Коллеги, которые оказали авторам монографии помощь в проведении опроса, заслуживают искренней благодарности.

В целом, авторами монографии накоплен настолько объемный массив эмпирического материала, что на его основе можно сделать еще очень много заключений и выводов, представляющих ценность для современной социальной науки и практики. Именно от усилий академического сообщества зависит, наступят или не наступят «сумерки памяти».

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Афанасьева Л.И., Меркушин В.И. Великая Отечественная война в исторической памяти россиян // Социологические исследования. 2005. № 5. С. 11–22.
- Савченко И.А., Снегирева Л.А., Устинкин С.В. Историческая память в эмоциональном и исследовательском восприятии // Власть. 2017. Т. 25. № 10. С. 112–122.

- Саралиева З.Х., Балабанов С.С. Отечественная война в памяти трех поколений // Социологические исследования. 2005. № 11. С. 29–36.
- Саралиева З.Х., Широкалова Г.С., Куконков П.И. Учащиеся о Великой Отечественной войне. Н. Новгород: НИСОЦ, 2015.
- Спасибо прадеду за Победу... Материалы IV этапа мониторинга «Современное российское студенчество о Великой Отечественной войне»: коллективная монография / Под общ. ред. Ю.Р. Вишневого; Мин-во науки и высшего образования РФ. Екатеринбург: Урал. ун-т, 2020.
- Тощенко Ж.Т. Что происходит с исторической памятью о Великой Отечественной войне? // Социологические исследования. 2020. № 5. С. 18–22. DOI: 10.31857/S013216250009419-3.
- Устинкин С.В. Великая Отечественная война в восприятии молодежи России // Научно-аналитический журнал «Обозреватель». 2017. № 6(329). С. 100–107.
- Rieff D. In Praise of Forgetting: Historical Memory and its Ironies. New Haven, CT: Yale Univ. Press, 2016.

IS THE “TWILIGHT OF MEMORY” INEVITABLE?

SAVCHENKO I.A.

Linguistics University of Nizhny Novgorod, Russia

Irina A. SAVCHENKO, Dr. Sci. (Sociol.), Assoc. Prof., Head of the International Cross-Disciplinary Laboratory “Research Methods in Social Science”, Department of Philosophy, Sociology and the Theory of Social Communication, Linguistics University of Nizhny Novgorod; Prof. of the Department of Philosophy, Nizhny Novgorod Academy of the Ministry of the Interior of Russia, Nizhny Novgorod, Russia (teosmaco@rambler.ru).

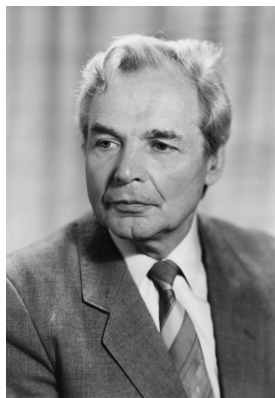
Abstract. The review of the collective monograph “Thank You Great-grandfather for the Victory...” reveals the significance of the theme of the World War II (in relation to Russia it is first of all The Great Patriotic War) for the modern generation of young people. The social relevance of the monograph, its content value, empirical and theoretical richness are justified. The discussion points of the book are shown, the potentials of work on the sociological problems of collective memory of the Great Patriotic War are revealed. The author shows that the modern era is a crisis for the memory of the Great Patriotic War. The memory of generations is replaced by historical memory, because among us there are almost no living participants in the events of 80 years ago. In these circumstances, the scientific community has a special responsibility to ensure that the “twilight of memory” does not come.

Keywords: historical memory, the Great Patriotic war, student youth, patriotic education, monitoring.

REFERENCES

- Afanasieva L.I., Merkushin V.I. (2005) The War in Historical Memory of Russians. *Sotsiologicheskiye issledovaniya* [Sociological Studies]. No. 5: 11–22. (In Russ.)
- Rieff D. (2016) *In Praise of Forgetting: Historical Memory and its Ironies*. New Haven, CT: Yale Univ. Press.
- Saraliev Z.Kh., Balabanov S.S. (2005) The Patriotic War in Memory of Three Generations. *Sotsiologicheskiye issledovaniya* [Sociological Studies]. No. 11: 29–36. (In Russ.)
- Saraliev Z.Kh., Shirokalova G.S., Kukonkov P.I. (2015) *Students about the Great Patriotic War*. Nizhny Novgorod: NISOTS. (In Russ.)
- Savchenko I.A., Snegireva L.A., Ustinkin S.V. (2017) Historical Memory in Emotional and Scientific Perception. *Vast’* [The Authority]. Vol. 25. No. 10: 112–122. (In Russ.)
- Vishnevsky Yu.R. (ed.) (2020) *Thank You Great-grandfather for the Victory... The Results of the 4th stage of Monitoring “Modern Russian Students about the Great Patriotic War”*: collective monograph. Yekaterinburg: Ural. un-t. (In Russ.)
- Toshchenko Zh.T. (2020) What happens to the historical memory of the Great Patriotic War? *Sotsiologicheskiye issledovaniya* [Sociological studies]. No. 5: 18–22. DOI: 10.31857/S013216250009419-3. (In Russ.)
- Ustinkin S.V. (2017) The Great Patriotic War in the Perception of the Russian Youth. *Nauchno-analiticheskiy zhurnal “Obozrevatel”* [Observer]. No. 6(329): 100–107. (In Russ.)

БАБОСОВУ ЕВГЕНИЮ МИХАЙЛОВИЧУ – 90 ЛЕТ!



Признание к Евгению Михайловичу пришло рано и было заслуженным. Его трудолюбие кажется беспредельным, чувство нового – фантастическим, глубина и масштаб таланта – неисчерпаемыми. Его любознательность и увлеченность научным трудом с годами только усиливаются, а книга по-прежнему занимает самое почетное место в его жизни. Масштаб и обаяние этой личности столь велики, что до сих пор завораживают аудиторию новизной и нетривиальностью суждений, широтой познания, виртуозным владением словом, оригинальными выводами.

Академик Е.М. Бабосов – известный философ и социолог далеко за пределами Беларуси. Евгений Михайлович окончил с медалью среднюю школу № 3 г. Минска, затем с красным дипломом – философское отделение исторического факультета Белорусского государственного университета им. В.И. Ленина. Дальнейшее его восхождение по жизни тесно связано с наукой и образованием. Даже работа в комсомоле и ЦК КПБ была напрямую связана с этой сферой. Как патриарх белорусской социологии, Евгений Михайлович много сделал для ее становления в стране. Благодаря его научному авторитету и творческой настойчивости был создан академический Институт социологии, который он долгое время возглавлял, а сейчас является его Почетным директором.

Широкую известность получили его труды, в которых исследуются философско-методологические проблемы научного познания, гносеологические механизмы научных революций, а также работы, посвященные анализу современных философских, теологических и социально-политических концепций. На многие актуальные проблемы Евгений Михайлович откликнулся фундаментальными исследованиями, монографиями, научными статьями. В частности, это проблемы последствий аварии на Чернобыльской АЭС, перехода общества к рыночным отношениям, кризиса духовной сферы, человекомерности. Уже в последние годы из-под пера ученого вышли крупные работы, обозначающие его видение проблем развития сетевого общества, последствий цифровизации, выстраивания IT-страны в Беларуси. Постоянно обращается к теме безопасности личности, общества и государства, проблемам развития политической системы страны.

Е.М. Бабосов является автором модели новой архитектуры постсоветской интеграции, активного взаимодействия национальной и глобальной социально-экономических структур. Убеденный сторонник новых путей становления взаимозависимости и взаимодействия стран глобального мира, он изучает диалектику социально-политического, культурного функционирования молодой суверенной страны, какой является Беларусь, и ее адаптации к законам и условиям глобального мира.

Красной нитью через все творчество академика Е.М. Бабосова проходит актуальнейшая во все времена проблема человека, его познавательная преобразующая деятельность. В этом нетрудно убедиться, когда ознакомишься с его монографиями: «Динамика анализа и синтеза в научном познании» (1963), «Социология личности, стратификации и управления» (2006), «Человек в социальных системах» (2013), «Человекомерность социальных систем» (2015), «Роль креативной личности в развитии сетевого общества» (2019). Конечно, в концептуальном плане в осмысление и интерпретацию избранной проблематики вносились изменения, уточнения, иногда очень существенные, но в центре остается человек. Идея человекомерности социальных систем рассматривается автором как основа устойчивого развития современного общества, где основным субъектом и движущей силой социально-экономического развития выступает человек, обладающий необходимым потенциалом для достижения высоких стратегических целей.

За цикл работ по истории социальной и философской мысли Беларуси Е.М. Бабосов был удостоен Государственной премии БССР (1984), за высокие достижения в научной деятельности – премии НАН Беларуси (1996, 2015), за лучший учебник по общественным наукам – премии Министерства образования Республики Беларусь (1996). Белорусский государственный университет присвоил ему высокое звание – заслуженный работник БГУ. Национальная академия наук Беларуси отметила вклад ученого Большой золотой медалью.

Поздравляем Евгения Михайловича с юбилеем и искренне благодарим за помощь, поддержку и понимание.

Коллеги, ученики, друзья

ПАМЯТИ ПЕТУХОВА ВЛАДИМИРА ВАСИЛЬЕВИЧА (26.08.1950–05.02.2021)



На 71-м году после тяжелой и продолжительной болезни ушел из жизни кандидат философских наук, руководитель Центра комплексных социальных исследований ФНИСЦ РАН, член Ученого совета ФНИСЦ РАН Владимир Васильевич Петухов.

В социологическую науку, служению которой отдал большую часть своей жизни, Владимир Васильевич пришел по окончании исторического факультета МПИ им. В.И. Ленина и нескольких лет учительства в одном из сел Камчатского края. Пришел, чтобы остаться в ней навсегда и пройти во многом непростой, но содержательный и творчески насыщенный путь от аспиранта и младшего научного сотрудника Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС до одного из ведущих обществоведов страны, признанного специалиста в области политической социологии, талантливого инициатора, организатора и участника множества масштабных, актуальных, а порой и злостных научных (в том числе международных) проектов по широкому

спектру проблем современной российской повседневности, успешного руководителя крупного исследовательского подразделения в структуре Института социологии РАН (ныне ФНИСЦ РАН), ориентированного на комплексное изучение различных аспектов бытия и трансформации российского социума.

Обладая всеобъемлющим кругозором, пытливым и социально любопытным умом, разноплановыми научными знаниями и интересами, будучи патриотом и чутким барометром всего происходящего в России, Владимир Васильевич всегда оставался на передовой научных сражений за настоящее и будущее своей страны и живущих в ней людей. Уникальный методолог, глубоко и нестандартно мыслящий исследователь, свободный от догматизма аналитик, он умело и точно диагностировал острые сущностные проблемы бытия страны и предлагал грамотные, выверенные и рациональные пути их решения. В разные годы В.В. Петухов обращался к изучению общественного мнения и идейно-политических установок россиян, особенностей их формирования и развития, исследованию проблем общественного участия и гражданской самоорганизации, межкультурного взаимодействия, внешне-политических изменений, общественного реформирования и др. Владея веским, но легким академическим слогом, он много писал и оставил богатое научное наследие, значимость и ценность которого еще предстоит осмыслить. Написанные им фундаментальные труды, многие из которых вошли в золотой фонд постсоветской научной литературы, успели стать современной классикой обществоведческой мысли, методическим и практическим руководством по изучению общественных настроений и поведенческих практик, ценностей и установок россиян, «открыли дверь» в уникальный мир полных и объективных представлений об их повседневной жизни в различных ее аспектах и проявлениях.

В последние годы самой важной темой его исследований стал «запрос на перемены» и связанный с ним концепт «гражданского участия». Само понятие «запрос на перемены» вошло в широкий оборот во многом благодаря именно работам и выступлениям Петухова. Российским социологам предстоит «подхватить» эту исследовательское направление, актуальность которого в ближайшие годы объективно будет возрастать.

Владимир Васильевич был не только отличным ученым, но и хорошим организатором коллективной научной работы. В 2010-е едва ли не каждый год он становился редактором или сопредседателем очередной коллективной монографии сотрудников Института социологии РАН: «Двадцать пять лет социальных трансформаций...» (2018), пять книг серии «Российское общество и вызовы времени» (2015–2017), «Двадцать лет реформ глазами россиян...». Петухов входил в состав того небольшого ядра сотрудников института, роль которых в российской социологической науке можно сопоставить с ролью Сергея Королева в организации советской космонавтики.

В научной деятельности Владимир Васильевич гармонично сочетал глубокий академизм исследований с ориентацией на прикладные социологические знания. Параллельно работе в научных учреждениях РАН активно сотрудничал с ВЦИОМ, где на протяжении ряда лет занимал должность

директора по исследованиям, а позже – заместителя председателя Научного совета; являлся членом редколлегий и экспертом многих ведущих журналов: «Социологическая наука и социальная практика», «ПОЛИС. Политические исследования», «Мониторинг общественного мнения» и др., участие в работе которых осуществлялось им с позиции твердой убежденности в том, что профессиональная социология – наука не только «о», но и «для» общества, которая не просто может, но и обязана иметь качественное публичное выражение.

Активная жизненная позиция, умение не только описывать, но и интерпретировать, объяснять, а также ораторские качества и дар убеждения делали Владимира Васильевича востребованным экспертом, мнение которого регулярно звучало в отечественных СМИ, с высоких трибун, на многочисленных научных мероприятиях и, конечно, обсуждалось с коллегами, единомышленниками и учениками, коих у него, как у каждого истинного профессионала, чуткого и щедрого учителя и педагога «не по форме и диплому, а по призванию», было немало.

Выдающийся профессионал, бескомпромиссный и честный исследователь, потрясающий эрудит, исключительно мудрый и грамотный руководитель, заботившийся обо всех, кто был рядом, всегда неизменно отзывчивый, улыбчивый и понимающий коллега, товарищ, друг, готовый поддержать, подсказать, помочь, вдохновить своим примером... Но, прежде всего, настоящий Человек, не сломленный ни долгой и тяжелой болезнью, ни связанными с ней жизненными трудностями. Таким Владимир Васильевич был и останется в наших сердцах. Его уход – огромная, невосполнимая утрата для всех нас. Светлая и долгая память! Об ушедшем от нас коллеге и товарище мы долго будем помнить, продолжая и развивая начатые им исследования. Он был один из тех, о ком уместно сказать словами поэта: «Не говори с тоской: их нет. Но с благодарностью: были!»

Друзья, коллеги, ученики

SOCIOLOGICAL STUDIES

Monthly

2021 No. 2

CONTENTS

THEORY. METHODOLOGY

- 3 GORSHKOV M.K. To the Issue of Sociology of Collective Spiritual Phenomena (Theoretical and Methodological Aspect)
- 15 GOFMAN A.B. "Inter", "Multi", "Trans" and "Post": Sociology, Disciplinarity and Postmodernism
- 26 BRASLAVSKIY R.G. The Strong Program in Cultural Sociology: Balancing Between Culturalism and Scientism

SOCIOLOGY OF LAW

- 39 MASLOVSKAYA E.V. Legal Interpreters in the Investigation of Criminal Cases: Types of Professional Behavior and Social Practices
- 49 SITKOVSKY A.L., LATOV Yu.V. Paradoxes of the Russian Police Assessment in the Public Opinion Polls
- 57 USHKIN S.G., KOVAL E.A. The Subjects of Norm-creating in the Representations of Law Students

MILITARY SOCIOLOGY

- 67 SOETERS J. Sociology and Military Studies: Broadening the Perspective by Using the Classics
- 81 KARLOVA E.N. The Reproduction of Social Structure of the Russian Armed Forces in Military Professional Education

SOCIAL POLICIES. SOCIAL STRUCTURE

- 92 YARSKAYA-SMIRNOVA V.N., IARSKAIA-SMIRNOVA E.R. Modes of Temporality in the Narratives about the Accessibility of the Urban Environment
- 103 KIENKO T.S., SAVINA E.A. Chronicles of Quarantine and Surveillance in a Russian Residential Home for the Elderly and Disabled

SOCIOLOGY OF CULTURE

- 112 SUSHCHYIY S.Ya. Russian Literature of the Soviet Period – Socio-Dynamics of the Writers' Community

SOCIOLOGICAL JOURNALISM

- 130 SCHULZ V.L., LIUBIMOVA T.M. Russian Society and Linguistic Considerations

FACTS. COMMENTS. NOTES

- 140 ZUBANOVA L.B., ZYKHOVSKA N.L., SHUB M.L. Actual Trends of Memory: the Problem Field of "Memory Studies"
- 146 BADARAEV D.D., DYRKHEEVA G.A., ANTONOVA N.S. The Language Situation among Buryat Schoolchildren of Russia, Mongolia and China
- 152 VASILIEVA I.N. On Social Communication of Internal Affairs Bodies with Citizens (Based on the Expert Survey Results)

ACADEMIC EVENTS

- 159 KHRAMOVA M.N., MANSHIN R.V. International Migration during the COVID-19 Pandemic
- 162 RYAZANTSEV S.V., ROSTOVSKAYA T.K. About the 2nd All-Russian Demographic Forum with International Participation

REFLECTING ON A NEW BOOK

- 166 SAVCHENKO I.A. Is the "Twilight of Memory" Inevitable?

ANNIVERSARY

- 172 E.M. BABOSOV is 90!

IN MEMORIAM

- 173 V.V. Petukhov

- 175 **CONTENTS**

NEW BOOKS IN SOCIAL SCIENCES (inside front cover)

IN THE NEXT ISSUES (back cover)

SVETLANA V. MAREEVA

MIDDLE CLASS PERCEPTIONS OF INEQUALITY COMPARED TO OTHER RUSSIANS: CONSENSUS OR DISAGREEMENT?

Svetlana V. MAREEVA, PhD in Sociology, Head of the Center for Stratification Studies, National Research University Higher School of Economics; Leading Researcher, Institute of Sociology, FCTAS RAS, Moscow, Russia (smareeva@hse.ru)

Abstract: *The paper examines the specifics of the perceptions on inequalities by the Russian middle class on the eve of the crisis of 2020. The empirical analysis is based on the data subarray from the International Social Research Program. The middle class was defined in the tradition of multidimensional stratification according to the criteria of socio-professional status, education, and income levels. It is shown that the middle class shares a common understanding of the system of inequalities that characterizes modern Russian society with other groups of the population. The existing inequalities are assessed by middle class, as by Russians in general, as excessively deep and illegitimate. The role of the key actor in combating inequalities is assigned to the government, but its actions in relation to their reduction are seen as insufficient and ineffective. It is shown that middle class representatives consider themselves to be representatives of the "middle", not upper strata. In this regard, when discussing inequality, they mean not a gap between their position and the position of other mass population groups, but a significant and growing gap between the very small elite and all other Russians, to whom they belong. This fact is reflected in the specifics of the perceptions of the social conflicts as seen by the population, the key of which they currently consider to be the conflict between the poor and the rich. Dissatisfaction with the lack of action on the part of the state in regard to inequalities from the middle class, which concentrates the most educated, qualified, and independent Russians, becomes an important challenge that raises the question of the social contract revision.*

Acknowledgements: *The research is supported by the grant of the Russian Science Foundation (project No. 17-78-20125).*

Keywords: *middle class, inequalities, income inequality, social structure, public opinion, attitudes, perception of inequality*

DOI: 10.31857/S013216250014371-1

Theoretical and methodological context of the study of the middle class perceptions about the social structure

Interest in the middle class both in Russian sociology and among the general public is developing in waves. In certain historical periods, there were sharp bursts of it, when in the presence of a mass middle class and the characteristics of its representatives, they began to look for indicators of the success of reforms, a social base to support a new course of development of the country, the prerequisites for the formation of demand for changes or, conversely, a guarantee of social stability¹. At other times, middle class issues disappeared from the agenda, replaced by the problems of poverty and inequality. Another, albeit

¹ Avraamova E.M., Maleva T.M. Evoliutsiia rossiiskogo srednego klassa: missii i metodologiya [The evolution of Russian middle class: missions and methodology]. Obshchestvennye nauki i sovremennost' [Social Sciences and Contemporary World]. 2014. No. 4. P. 5–17 (in Russ.)

short-term, surge of interest in the middle class occurred in March 2020 in connection with the statement by Vladimir Putin that its share in the Russian society was 70%. However, the unfolding of the economic downturn under the influence of the coronavirus pandemic and the dynamics of oil prices quickly shifted the focus of attention from the middle class to issues of the expected dynamics of poverty in the new conditions.

Discussions about the middle class in Russian science, as a rule, come to various approaches to identifying it and assessing the objective characteristics of its representatives – share among population, composition, features of the economic situation, employment situation, etc.². The study of the subjective characteristics of representatives of the middle class, in particular, the specifics of their perceptions about the social structure, is also of considerable interest. However, in Russian sociology, this aspect is traditionally paid less attention, with some exceptions³.

While there is a fierce debate in Russian sociological literature about whether the term “middle class” can be used at all, in the Western tradition the subjective characteristics of the middle class are one of the important areas of analysis. The attitudes and value orientations of the middle class are often viewed in terms of their political preferences. One of the roles traditionally assigned to the middle class is being the “bastion of democracy”⁴, and its formation as a mass and stable social entity in countries undergoing a period of transformation is considered an important prerequisite for democratization⁵. On the other hand, a number of studies argue that the support for democracy by the middle class is by no means universal – for example, the Chinese middle class, the structure of which is noticeably shifted towards the public sector of the economy (which also characterizes the Russian middle class), turns out to be less oriented towards democratic values than other strata, while in a number of Latin American countries, it was the middle class that provided social support for authoritarian regimes in the 1970s⁶. In Russia, issues about the role of the middle class as a political entity have been in the focus of attention for some time after the social protests of 2011–2013⁷; however, the lack of uniform criteria for its identification created different opinions on whether the middle class was the main actor of protest actions.

² Zaslavskaya T.I., Gromova R.G. K voprosu o “srednem klasse” rossiiskogo obshchestva [On the question of the “middle class” of Russian society] // *Mir Rossii* [Universe of Russia]. 1998. No. 4. P. 5–22. (in Russ.); Maleeva T.M. (Ed.). *Srednie klassy v Rossii: Ekonomicheskie i sotsial'nye strategii* [Middle Classes in Russia: Economic and Social Strategies]. Moskva, 2003. (in Russ.); Shkaratan O.I. Gosudarstvennaia sotsial'naia politika i polozhenie srednikh sloev v sovremennoi Rossii [State social policy and the position of the middle strata in modern Russia] // *Sotsiologicheskii zhurnal* [Sociological Journal]. 2004. No. 1–2. (in Russ.); Maleva T.M., Burdiak A. Ia., Tyndik A.O. Srednie klassy na razlichnykh etapakh zhiznennogo puti [Middle classes at different stages of their life cycle] // *Zhurnal Novoi ekonomicheskoi assotsiatsii* [Journal of the New Economic Association]. 2015. No. 3(27). P. 109–138. (in Russ.); Grigor'ev L.M., Salmina A.A. Srednii klass v Rossii: povestka dnia dlia strukturirovannogo analiza [Middle class in Russia: an agenda for structured analysis] // *Spero*. 2010. No. 12. P. 105–124 (in Russ.); Anikin V.A. Prekarizatsiia srednego klassa v novoi Rossii: o chem govoriat rezul'taty issledovaniia geterogennykh sloev? [Precarization of the middle class in the new Russia: what do the results of the study of heterogeneous strata show?] // *Sotsiologicheskaiia nauka i sotsial'naia praktika* [Sociological Science and Social Practice]. 2019. No. 4. P. 39–54. (in Russ.); Pishniak A.I. Dinamika chislennosti i mobil'nost' srednego klassa v Rossii v 2000–2017 gg. [The population dynamics and mobility of the middle class in Russia, 2000–2017] // *Mir Rossii* [Universe of Russia]. 2020. Vol. 29. No. 4. P. 57–84. (in Russ.)

³ Mareeva S. Middle Class: system of values and perceptions on country's development vector // *Journal of Economic Sociology*. 2015. Vol. 3. No. 1. P. 39–54; Gorshkov M.K., Tikhonova N.E. (Eds.). *Srednii klass v sovremennoi Rossii. Opyt mnogoletnikh issledovani* [The middle class in modern Russia. The experience of long term research]. Moskva, 2016. (in Russ.).

⁴ Lipset S. Some social requisites of democracy: economic development and political legitimacy // *American Political Science Review*. 1959. Vol. 53. No. 1. P. 69–105; Moore B. Jr. *Social Origins of Dictatorship and Democracy*. London, 1966.

⁵ Diamond L. *The Spirit of Democracy*. New York, 2008; Gontmakher E., Ross C. The middle class and democratisation in Russia // *Europe-Asia Studies*. 2015. Vol. 67. No. 2. P. 269–284.

⁶ Chen J. *A Middle Class without Democracy*. Oxford, 2013.

⁷ Volkov D. The protest movement in Russia 2011–2013: Sources, dynamics and structures // Ross, C. (Ed.), *Systemic and Non-Systemic Opposition in the Russian Federation: Civil Society Awakens*. Ashgate, 2015. P. 35–50; Rosenfeld B. Reevaluating the middle-class protest paradigm: A Case-control study of democratic protest coalitions in Russia // *American Political Science Review*. 2017. Vol. 111. No. 4. P. 637–652.

In this paper, the authors would like to turn to the perceptions of the middle class in connection with the system of inequalities that characterize modern Russian society. Without getting involved in any methodological disputes on different approaches to identification of the middle class, the authors proceed from the fact that the assessment of the social structure by the most qualified and educated Russians needs special attention, since they can act as a key mass actor in a new model of national sustainable development based on human capital as its main factor – through the choice of relevant behavioral practices and strategies at the individual level. However, to realize this potential, the vector of national development at the macro level has to correspond to their preferences and demands at the micro level. The specifics of their perception of the system of inequalities that have developed in the country can determine their request for the state and act as a resource or a constraint for the sustainable socio-economic development⁸. This is especially important in the current turbulent socio-economic situation, when the trajectory of the country's exit from the crisis largely depends on the behavior of the population. Therefore, it is important to assess whether there is a value gap with respect to estimates of inequality between different population groups.

The empirical basis for this study was the subarray of data from the International Social Survey Program (ISSP) for Russia. The survey was conducted in January 2019, its sample consisted of 1,626 respondents over 18 and represented the country's population by federal districts, settlements with different numbers of residents, education levels, as well as gender and age.

Methodology for identifying the middle class

The theoretical and methodological foundations for identifying the middle class is a separate academic issue, the solution of which is primarily associated with the choice of an approach to its analysis (economic, sociological, subjective), each of which is effective in solving particular problems⁹. In this case, the authors use the neo-Weberian approach, the most common in Russian studies¹⁰, defining the middle class on the basis of multidimensional stratification according to three criteria:

- socio-professional status: white collars, with the exception of trade and service workers (classes 0 to 4 as per the International Standard Classification of Occupations for those who are currently employees, or were employed in relevant positions at the latest job);
- level of education: higher, including incomplete higher education for those who, at the time of the survey, continued their studies at the university;
- income level: median income by type of settlement and higher.

Fulfillment of all three criteria simultaneously allows to identify those Russians who can receive or received prior to termination of work the rents on their human capital, sufficient to at least maintain the level of their human capital as the main asset. Calculations based on ISSP data showed that the share of the core of the middle class, for which all three of these

⁸ Mareeva S.V. Sotsial'nye neravenstva i sotsial'naia struktura sovremennoi Rossii v vospriatii naseleniia [Social inequalities and the social structure of modern Russia as perceived by the population] // Vestnik Instituta sotsiologii [Bulletin of the Institute of Sociology]. 2018. No. 3(26). P. 101–120. (in Russ.)

⁹ Mareeva S.V. Sotsial'nye neravenstva i sotsial'naia struktura sovremennoi Rossii v vospriatii naseleniia [Social inequalities and the social structure of modern Russia as perceived by the population] // Vestnik Instituta sotsiologii [Bulletin of the Institute of Sociology]. 2018. No. 3(26). P. 101–120. (in Russ.); Tikhonova N.E. Srednii klass v fokuse ekonomicheskogo i sotsiologicheskogo podkhodov: granitsy i vnutrenniaia struktura (na primere Rossii) [Middle class in the focus of various theoretical approaches: thresholds and internal structure (on the example of Russia)] // Mir Rossii [Universe of Russia]. 2020. Vol. 29. No. 4. P. 34–56. (in Russ.)

¹⁰ Maleeva T.M. (Ed.). Srednie klassy v Rossii: Ekonomicheskie i sotsial'nye strategii [Middle Classes in Russia: Economic and Social Strategies]. Moskva, 2003. (in Russ.); Gorshkov M.K., Tikhonova N.E. (Eds.). Srednii klass v sovremennoi Rossii. Opyt mnogoletnikh issledovanii [The middle class in modern Russia. The experience of long term research]. Moskva, 2016. (in Russ.); Tikhonova N.E. Srednii klass v fokuse ekonomicheskogo i sotsiologicheskogo podkhodov: granitsy i vnutrenniaia struktura (na primere Rossii) [Middle class in the focus of various theoretical approaches: thresholds and internal structure (on the example of Russia)] // Mir Rossii [Universe of Russia]. 2020. Vol. 29. No. 4. P. 34–56. (in Russ.); Pishniak A.I. Dinamika chislennosti i mobil'nost' srednego klassa v Rossii v 2000–2017 gg. [The population dynamics and mobility of the middle class in Russia, 2000–2017] // Mir Rossii [Universe of Russia]. 2020. Vol. 29. No. 4. P. 57–84. (in Russ.)

criteria are simultaneously fulfilled, amount to 11.4% of the population. Another 23.5% of Russians are characterized by the presence of two of the three characteristics, and in the concentric model of social structure, they can be considered the periphery of the middle class core. With this methodological approach to identifying the middle class, the majority of Russians have no more than one attribute hereinafter this group is called "the rest of the Russians", implying that its representatives do not have the potential to become part of the middle class.

The middle class defined in this way is characterized by the specificity of its socio-demographic and socio-economic characteristics, which influence, among other things, its attitudes and values. However, in this case, the task is not to single out the effects of individual factors, but, on the contrary, to identify how the concentration of various class characteristics (simultaneous positions in the hierarchies of education, socio-professional status, and income) determines the specifics of the middle class as a special social entity that shares particular ideas about the social structure and is different (or not) in this respect from the rest of the population. Status inconsistency that characterizes the position of middle strata representatives in modern Russian society [Kolennikova, 2019], emphasizes the relevance of a relevant analysis for a group that is characterized by the consistency of its representatives' positions in key hierarchies, albeit its share among population is not large.

Middle class perceptions of social structure and inequalities in modern Russia

The data show that the assessment of the existing income inequality in Russia not only as excessively deep, but at the same time as extremely unfair, is typical today for all strata of the population without exception. There is no value split in this respect – the middle class does not stand out against the background of other social groups either in its greater tolerance or in its more critical attitude. More than 90% of representatives of all social groups, including the core of the middle class, assess monetary inequality in modern Russian society in this way (Table 1).

Table 1

Perceptions of income inequality in different social groups, % agreed

Statements	Core of the middle class	Periphery of the middle class	Rest of Russians
Differences in incomes in Russia are too large	94,0	94,5	90,4
The existing income distribution is rather unfair/very unfair	91,8	94,7	94,7
The government should reduce the gap between rich and poor	91,7	93,1	92,3
Most politicians in Russia do not care about reducing income inequalities	89,0	87,0	84,0
The government is rather unsuccessful/totally unsuccessful at present in reducing income disparities	74,9	85,8	81,9

At the same time, the role of the key actor in the fight against inequality is assigned by Russians to the state; however, the assessment of its real actions in this regard is very critical (Table 1) – the overwhelming majority of representatives of all selected classes believe that the state should reduce income disparities between different income groups, but most politicians do not care about this, and the government's actions in this regard can be described as unsuccessful. In the core of the middle class, the failure of the state's actions is mentioned a little less often, but even in this group, there are almost three-quarters of those who agree with that.

According to the "tunnel effect" model proposed by Hirschman, the possibilities of upward social mobility (even without affecting individuals personally) increase the population's tolerance to inequalities in general¹¹. However, in the context of individual social groups and

¹¹ Hirschman, A.O., Rothschild, M. The Changing Tolerance for Income Inequality in the Course of Economic Development // The Quarterly Journal of Economics. 1987. Vol. 87. No. 4. P. 544–566.

the current situation in Russia, this effect is not observed – at least in the context of the monetary dimension of inequality. The positions of representatives of the middle class in the income hierarchy are more favorable than those of the representatives of other groups; they also differ in the dynamics of their positions. In particular, the middle class more often experiences upward integral mobility – assessing their positions on a ten-point scale five years ago and at the time of the survey, in 2019, 21.6% of the middle class representatives noted a rise – along with only about 15% in other social groups. Speaking about income alone, then over the past three years, more than a third of the middle class representatives (35.1%) have managed to improve their financial situation, with 22.3% of the periphery and 17.6% of the rest of the population. However, despite this, the attitude towards monetary inequalities that characterize modern Russian society as excessively high and unjust, unites the middle class and the rest of the population, rather than separates them.

How can one explain such a unity of the population in this respect? When speaking about inequality in Russian society and the gap between the rich and the poor, the representatives of the middle class, most likely, do not mean income differences among the mass strata of the population – that is, between themselves and other, less prosperous groups. For them, the point is about a significant and not decreasing separation of a small and very prosperous elite (3–5% of the population, not included in the mass polls), from the rest of the population, to which they self-refer. It is difficult to obtain accurate quantitative estimates of such a gap, since the most well-to-do population groups are not included in mass surveys, and the methods for re-evaluating their incomes based on data on taxes, inheritance, Forbes lists, and other sources are based on a number of assumptions, differences in which lead to noticeable discrepancies in the respective estimates. However, even taking into account these discrepancies, the results of different research teams, based on data from various sources, agree that Russia is one of the world leaders in terms of the concentration of both current income and accumulated wealth in the hands of the top of the population, especially 1% or even smaller subgroups in its composition¹². Moreover, the “explosive” income growth in the post-Soviet period of the country’s development is characteristic of the absolute minority of the population (Table 2). This situation, which characterizes the structure of Russian society as a model with a very thin “spire” going up endlessly, is perceived by the entire population, including representatives of the middle class, as unfair and requiring active intervention from the state.

Table 2

Income dynamics in Russia, 1989 to 2016,% (data from Novokmet et al., 2017, Appendix B, Table 2)

Income group	Average annual real income growth rate	Cumulative (total) real income growth rate for the period
All population	1.30%	41%
Lower 50%	-0.80%	-20%
Middle 40%	0.50%	15%
Top 10%	3.80%	171%
Including 1%	6.40%	429%
Including 0.1%	9.50%	1,054%
Including 0.01%	12.20%	2,134%
Including 0.001%	14.90%	4,122%

¹² Novokmet F., Piketty T., Zucman, G. From Soviets to Oligarchs: Inequality and Property in Russia, 1905–2016. No. W23712. National Bureau of Economic Research, 2017; Alvaredo F., Chancel L., Piketty T., Saez E., Zucman G. World Inequality Report 2018. Executive Summary. World Inequality Lab, 2018; Credit Suisse. Global Wealth Report. Credit Suisse Group AG, 2019; a general overview is presented in Mareeva S.V., Slobodenyuk E.D. Neravenstvo v Rossii v mezhdunarodnom kontekste: dokhody, bogatstvo, vozmozhnosti [Inequality in Russia in international context: income, wealth, opportunities] // Vestnik obshchestvennogo mneniya. Dannye. Analiz. Diskussii [The Russian Public Opinion Herald. Data. Analysis. Discussions]. 2018. No. 126 (1–2). P. 30–46. (in Russ.)

At the same time, speaking about attitudes towards inequalities in the mass strata of the population, it should be noted that representatives of both the middle class and the less well-off classes accept their certain depth. The Russians who fall into the core of the middle class are most tolerant of their depth. Thus, representatives of all the identified classes agree on estimates that an unskilled factory worker should be paid 30,000 rubles/month¹³, and a similar level of wages is seen by Russians as fair for a shop assistant. At the same time, a fair salary for a qualified specialist with higher education – for example, a general practitioner – is already estimated by Russians at 50,000 rubles. Thus, the middle class, like the rest of the population, undoubtedly accepts wage differentiation due to differences in structural positions in the labor market in terms of the level of education and qualifications they require. Assessing the real situation, representatives of the middle class, like other classes, believe that the work of mass professions in the modern Russian economy is systematically underpaid, and this applies to a greater extent to highly qualified specialists – i.e. to positions typical of the middle class itself. For example, representatives of the middle class assess the real level of wages of a general practitioner in 30,000 rubles, and of shop assistants and unskilled workers – in 20,000 rubles.

Speaking about the remuneration of the groups that make up the “top”, which was discussed above – for example, ministers in the Russian government or CEOs of large corporations, the people, including the middle class, believe that in reality, they receive much more than they should. Apparently, it is to such groups that the feeling of the unfairness of their incomes, which creates the deepest inequality between them and the rest of the population, as noted above, first of all belongs. Thus, the population estimates on average the real wages of ministers at the level of 500,000 rubles, considering that the level of 100,000 rubles would be fair (except for representatives of the middle class, who consider a higher level of payment to be fair – 150,000 rubles). The population estimates the real level of remuneration for a CEO of a large corporation in the range of 500,000–1,000,000 rubles, the fair level being 100,000–200,000; the highest indicators of a fair level of remuneration are again characteristic of the middle class. It is clear that the realities of life of these groups are far from those of a typical representative of the middle class – however, such assessments, based on normative ideas about income inequality, clearly demonstrate “stress points”. Thus, representatives of all classes of Russian society – both prosperous and not – agree that unskilled and skilled mass labor in Russia is underestimated, while the work of top-level managers is overestimated, although representatives of the middle class core in this regard allow for the possibility of higher pay and, accordingly, higher income inequalities in society as a whole.

In assessments of one of the most important tools of state policy to reduce income inequality – the tax system, both actually operating in the country today and perceived as being fair, representatives of the middle class again express attitudes typical for the entire population (Table 3). Thus, more than two-thirds of the middle class agree that taxes for those who have high incomes are low today (71.9% versus 70.2% for the entire sample), and only every 6.2% representatives of the middle class consider them high (with 8.8% among the general population). Speaking about the preferred taxation system, the overwhelming majority support a progressive

Table 3

Ideas about tax policy aimed at income equalization,% agreed

Statements	Core of the middle class	Periphery of the middle class	Rest of Russians
People with high incomes must pay a significantly higher tax rate than those with low incomes	58,8	58,5	62,0
Taxes in Russia for those with high incomes are low or too low	71,9	72,9	68,9

¹³ Hereinafter, the median values for the corresponding estimates are given.

scale, with more than half voting for a significant difference in the level of tax rates paid from income (from 58.8% among the middle class to 62.0% among the rest of Russians).

Such data make it possible to confirm the above assumption that the representatives of the middle class, having a higher level of current income and occupying objectively higher positions in the general structure of modern Russian society as compared to other Russians, do not associate themselves with those rich whose positions lead to deep and unfair inequalities.

This can also be seen from self-assessments of their positions in society – they identify themselves, first of all, with the middle stratum. Thus, 68.3% of the core of the middle class and 45.9% of the periphery, with only one-third of the rest of Russians, consider themselves to be representatives of this stratum, while only 4.8%, 2.4%, and 0.9%, respectively, identify themselves with the upper part of the middle stratum, and identification with the upper stratum is not typical of either the middle class or Russians as a whole.

The fact that Russians from the middle class consider themselves “typical” representatives of society, and not a prosperous subgroup of it, is also confirmed by their assessments of their position on the “social ladder” of 10 steps, where 1 is a low position and 10 is a high one. The average scores of the middle class on this scale are 5.66 points, while those of other groups are slightly below 5 points. On the whole, this characterizes the subjective model of the stratification of modern Russian society as “shifted downward”; within its framework, representatives of the middle class are characterized by median assessments of their position, while representatives of the other two classes are characterized by lower than average assessments.

In this case, it is not surprising that when assessing the social conflicts existing in Russian society between various groups, the population considers the conflict between the poor and the rich to be the most acute. Again, this is typical for all social groups: for example, hostility between the poor and the rich is considered very strong or strong by 70.1% of the middle class, 69.9% of its periphery, and 62.0% of other Russians. Judging by the self-assessments by the middle class of their positions in society, as discussed above, speaking about this hostility, they also assess the “social rift” not between themselves and other mass strata of the population, but between the mass population as a whole, to which they self-refer, and the “top” being far away from it. It should be noted that against this background, other possible lines of social conflict as assessed by both the middle class and other groups of the population are much less noticeable: for example, the hostility between the employers and employees is assessed as strong or very strong by only 41.3% of the middle class, between those born in Russia and those who migrated to the country – by 34.4%, between young people and the elderly – by 19.5%, respectively.

Separately, it is necessary to dwell on the perception by the population of the class conflict – the confrontation between the working class and the middle class. This conflict is also not at all actualized today in the minds of Russians, including its potential “parties”: for example, only 23.2% of the middle class see hostility between these classes, and only 5.4% consider it very strong. This traditional measure of class inequality does not seem to be a painful point for either the middle class or Russians from other social groups – in contrast to the acutely perceived confrontation between the massively poor and the rich, which demonstrates the sharpness of monetary inequality in modern Russia, and testifies to the perception of the very “top” as a special class opposed to the rest of the Russians.

It is worth saying a few words about the attitude of representatives of different classes that has developed in these conditions towards the key non-monetary manifestations of income inequality – differentiated access to health care and education among people with different incomes. In this respect, Russians from the core of the middle class demonstrate somewhat greater tolerance than representatives of other groups. Perhaps this is due to the fact that, as previous studies have shown, they are the most active consumers of paid educational and medical services, and not because of free alternatives missing, i.e. forcedly,

but due to the rational choice of the best quality alternatives to any available free opportunities¹⁴. This is caused not only by the availability of material opportunities, but also by their values and attitudes that form an understanding of the importance of investment in human capital¹⁵. However, even in the core of the middle class, more than half share the view that access to better health care services and better education for children, which is open to people with high incomes, is unfair (Table 4).

Table 4

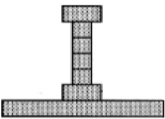
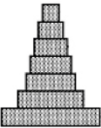
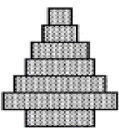
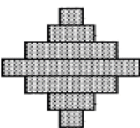
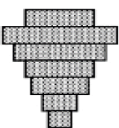
Assessment of inequalities in different population groups, %

Statements	Core of the middle class	Periphery of the middle class	Rest of Russians
It is unfair that high-income people can benefit from better health care services than low-income people	53,9	57,0	62,8
It is unfair that high-income people can give their children a better education than low-income people	59,9	60,8	66,6

Finally, the integral attitude of representatives of various social groups towards inequalities in modern Russia can be traced in their choice of the models of the social structure of society, which they consider to characterize real Russian society, on the one hand, and most suitable for it, on the other. In this respect, despite some quantitative differences, the representatives of the middle class are again more likely to be in solidarity with other Russians (Table 5). While the real structure of society appears to them as a model with a small elite at the top and the bulk of the population at the bottom, they would like to see the society of the mass middle strata as the ideal structure. This contradiction also determines the specificity of attitudes towards inequalities that representatives of the middle class demonstrate – even despite their more prosperous position in society and the upward social mobility characteristic of some of their representatives.

Table 5

Models reflecting the social structure of modern Russian society and the most optimal social structure as perceived by the middle class, %

Types of society					
The type to which modern Russian society is closest	50.0	25.0	13.0	8.2	3.8
The best type for Russian society	4.5	5.1	14.6	48.3	27.5
Difference	45.5	19.9	-1.6	-40.1	-23.7

¹⁴ Ovcharova L.N., Popova D.O. Dokhody i raskhody rossiiskikh domashnikh khoziaistv: chto izmenilos' v massovom standarte potrebleniia [Income and expenses of Russian households: what has changed in the mass standard of consumption] // Mir Rossii [Universe of Russia]. 2013. Vol. 22. No. 3. P. 3–34. (in Russ.); Tikhonova N.E. Srednii klass v fokuse ekonomicheskogo i sotsiologicheskogo podkhodov: granitsy i vnutrenniaia struktura (na primere Rossii) [Middle class in the focus of various theoretical approaches: thresholds and internal structure (on the example of Russia)] // Mir Rossii [Universe of Russia]. 2020. Vol. 29. No. 4. P. 34–56. (in Russ.)

¹⁵ Mareeva S.V. Praktiki investirovaniia srednego klassa v svoi chelovecheskii kapital [Practices of middle class investment in their human capital] // Terra Economicus. 2012. Vol. 10. No. 1. P. 165–173. (in Russ.)

Above, we have focused on the characteristics of the middle class perception of the social structure, showing that in this respect it, by and large, does not differ from the rest of the mass population. It may seem that this is due to the specific country specificity of the Russian middle class – for example, general passivity or general similarity with other strata of the population. However, this is not at all the case. In particular, numerous empirical studies show that the middle class, identified within the tradition of multidimensional stratification according to the key criteria of education and socio-professional status, significantly differs from other groups of the population in a number of parameters. Among them, in particular, the modernized, activist nature of the values that Russians from the middle class are guided by in everyday life (orientation towards individualism, initiative, internal locus control), the widespread use of active socio-economic strategies in the labor market, the high prevalence of investments in various types of resources – human, social, cultural¹⁶. Thus, at the level of actions taken in own life and related norms and attitudes, the middle class is distinguished by greater independence, activity, and readiness to independently solve problems. However, if one speaks about its attitudes regarding the situation with the social structure of the country as a whole, the situation is different – in this respect, it shares the opinion of the entire population.

Middle-class perceptions of social inequalities: implications and challenges for the state

The results of this analysis show that from the point of view of normative ideas about the structure of modern Russia, especially in terms of socio-economic inequalities that characterize a pre-crisis situation, the middle class is in solidarity with the rest of the population, demonstrating universal ideas for Russians about the excessive depth of inequalities, the key role of the state in reducing them in the normative model and the lack of effectiveness of the related practices in reality. Although the middle class is distinguished by the features of stratal identity and self-assessments of their position in society, its representatives assess themselves as representatives of the “middle,” and by no means the “prosperous” strata of society. This also explains the consensus opinion of the middle class with other Russians that inequalities in society are too high – speaking of them, they mean not a gap between their position and that of the lower class, but the separation of a very small elite from the rest of the population, to which they belong. In other words, one cannot speak about a wide “value palette”¹⁷ with regard to the population’s perception of the social structure in the aspect of the system of inequalities that characterizes it. This is reflected in the specifics of the perception of social conflicts in modern Russian society by people, the key of which they consider to be the conflict between the poor and the rich, while the rest of them, including the class conflict between the middle and the working classes, are not actualized in the public consciousness and in the minds of the middle class representatives *per se*.

This gap between Russians’ perceptions of how society should function and their experiences with how social mechanisms and institutions actually operate is a source of social tension. The middle class, like other strata of the population, places the responsibility for establishing these “rules of the game” on the state. This is a consequence of the existing specific model of relations between the state and society, which is characteristic of neoethacratism

¹⁶ Gorshkov M.K., Tikhonova N.E. (Eds.). *Srednii klass v sovremennoi Rossii. Opyt mnogoletnikh issledovaniï* [The middle class in modern Russia. The experience of long term research]. Moskva, 2016. (in Russ.); Mareeva S., Ross C. The political values of the state and private sectors of the Russian middle class // *Demokratizatsiya*. 2020. No. 3 (in print)

¹⁷ Petukhov V.V. Tsennostnaia palitra sovremennogo rossiiskogo obshchestva: “ideologicheskai kasha” ili poisk novykh smyslov? [The value palette of modern Russian society: “ideological mess” or the search for new meanings?] // *Monitoring obshchestvennogo mneniia: ekonomicheskie i sotsial’nye peremeny* [Public Opinion Monitoring: Economic and Social Changes]. 2011. No. 1(101). P. 6–23. (in Russ.); Mareeva S.V. Tsennostnaia palitra sovremennogo rossiiskogo obshchestva [Values in modern Russian society] // *Monitoring obshchestvennogo mneniia: ekonomicheskie i sotsial’nye peremeny* [Public Opinion Monitoring: Economic and Social Changes]. 2015. No. 4. P. 50–65. (in Russ.)

societies¹⁸, in which the interests of the state prevail over the interests of the individual, and the state acts as a mediator between various groups, coordinating their interests with each other. Recent studies show, however, that this model is beginning to enter the stage of decomposition – by 2018, the focus on the priority of the interests of the state in relation to the rights of the individual for the first time ceased to dominate the public consciousness¹⁹. In this context, the growing dissatisfaction of all strata of the population without exception, including the middle class, with the lack of action on the part of the state, demonstrating at least the political will to solve key socio-economic problems, in particular, the problem of inequality, is becoming an important challenge that raises the issue of revising the social contract between society and the state.

Moreover, this channel of the formation of social tension – associated not with one's position, but with normative ideas about the model of society – can have a greater influence on the specifics of the population's request to the state in relation to its desired role in the economic and social spheres of life, or, more broadly, a certain configuration of the social contract. This is because such a request is based on the general normative principles of interaction between the individuals, society, and the state, while the request for specific assistance from the state depends to a greater extent on the particular situation, which is determined by the confluence of specific life circumstances²⁰. In this regard, the position of the middle class is especially important, since its relatively more prosperous position in society determines its greater independence and a lower demand for direct participation and assistance of the state in solving certain problems in the lives of its representatives. At the same time, its role as a social actor that can promote or hinder the effective implementation of the sustainable development model is very great, which acknowledges the need to look for a balance point between the interests of the middle class and the state.

REFERENCES

- Anikin V.A. Prekarizatsiia srednego klassa v novoi Rossii: o chem govoriat rezul'taty issledovaniia geterogennykh sloev? [Precarization of the middle class in the new Russia: what do the results of the study of heterogeneous strata show?] // *Sotsiologicheskaiia nauka i sotsial'naia praktika* [Sociological Science and Social Practice]. 2019. No. 4. P. 39–54. (in Russ.)
- Anikin V.A., Lezhnina Ju.P., Mareeva S.V., Slobodenyuk E.D. Kto i pochemu ishchet gosudarstvennoi podderzhki v novoi Rossii? [Who and why is seeking state support in the new Russia?] // *Mir Rossii* [Universe of Russia]. 2020. Vol. 29. No. 1. P. 31–52. (in Russ.)
- Avraamova E.M., Maleva T.M. Evoliutsiia rossiiskogo srednego klassa: missii i metodologiya [The evolution of Russian middle class: missions and methodology]. *Obshchestvennye nauki i sovremennost'* [Social Sciences and Contemporary World]. 2014. No. 4. P. 5–17 (in Russ.)
- Gorshkov M.K., Tikhonova N.E. (Eds.). *Srednii klass v sovremennoi Rossii. Opyt mnogoletnikh issledovani* [The middle class in modern Russia. The experience of long-term research]. Moskva, 2016. (in Russ.)
- Grigor'ev L.M., Salmina A.A. Srednii klass v Rossii: povestka dnia dlia strukturirovannogo analiza [Middle class in Russia: an agenda for structured analysis] // *Spero*. 2010. No. 12. P. 105–124 (in Russ.)
- Maleeva T.M. (Ed.). *Srednie klassy v Rossii: Ekonomicheskie i sotsial'nye strategii* [Middle Classes in Russia: Economic and Social Strategies]. Moskva, 2003. (in Russ.)

¹⁸ Tikhonova N.E. Osobennosti normativno-tsennostnoi sistemy rossiiskogo obshchestva cherez prizmu teorii modernizatsii [Features of the normative-value system of Russian society through the prism of modernization theory] // *Terra Economicus*. 2011. Vol. 9. No. 2. P. 60–85. (in Russ.); Shkaratan O.I. Sotsial'naia sistema, obrashchennaia v proshloe (Chast' 2) [A social system facing the past (Part 2)] // *Sotsiologicheskii zhurnal* [Sociological Journal]. 2015. No. 4. P. 80–119 (in Russ.)

¹⁹ Tikhonova N.E. Sootnoshenie interesov gosudarstva i prav cheloveka v glazakh rossiian: empiricheskii analiz [Correlation between the interests of the state and human rights in the eyes of Russians: an empirical analysis] // *Polis. Politicheskie issledovaniia*. 2018. No. 5. P. 134–149. (in Russ.)

²⁰ Anikin V.A., Lezhnina Ju.P., Mareeva S.V., Slobodenyuk E.D. Kto i pochemu ishchet gosudarstvennoi podderzhki v novoi Rossii? [Who and why is seeking state support in the new Russia?] // *Mir Rossii* [Universe of Russia]. 2020. Vol. 29. No. 1. P. 31–52. (in Russ.)

- Maleva T.M., Burdiak A. Ia., Tyndik A.O. Srednie klassy na razlichnykh etapakh zhiznennogo puti [Middle classes at different stages of their life cycle] // Zhurnal Novoi ekonomicheskoi assotsiatsii [Journal of the New Economic Association]. 2015. No. 3(27). P. 109–138. (in Russ.)
- Mareeva S.V. Praktiki investirovaniia srednego klassa v svoi chelovecheskii kapital [Practices of middle class investment in their human capital] // Terra Economicus. 2012. Vol. 10. No. 1. P. 165–173. (in Russ.)
- Mareeva S.V. Sotsial'nye neravenstva i sotsial'naia struktura sovremennoi Rossii v vospriatii naseleniia [Social inequalities and the social structure of modern Russia as perceived by the population] // Vestnik Instituta sotsiologii [Bulletin of the Institute of Sociology]. 2018. No. 3(26). P. 101–120. (in Russ.)
- Mareeva S.V. Tsennostnaia palitra sovremenного rossiiskogo obshchestva [Values in modern Russian society] // Monitoring obshchestvennogo mneniia: ekonomicheskie i sotsial'nye peremeny [Public Opinion Monitoring: Economic and Social Changes]. 2015. No. 4. P. 50–65. (in Russ.)
- Mareeva S.V., Slobodenyuk E.D. Neravenstvo v Rossii v mezhdunarodnom kontekste: dokhody, bogatstvo, vozmozhnosti [Inequality in Russia in international context: income, wealth, opportunities] // Vestnik obshchestvennogo mneniia. Dannye. Analiz. Diskussii [The Russian Public Opinion Herald. Data. Analysis. Discussions]. 2018. No. 126 (1–2). P. 30–46. (in Russ.)
- Ovcharova L.N., Popova D.O. Dokhody i raskhody rossiiskikh domashnikh khoziaistv: chto izmenilos' v massovom standarte potrebleniia [Income and expenses of Russian households: what has changed in the mass standard of consumption] // Mir Rossii [Universe of Russia]. 2013. Vol. 22. No. 3. P. 3–34. (in Russ.)
- Petukhov V.V. Tsennostnaia palitra sovremenного rossiiskogo obshchestva: “ideologicheskaiia kasha” ili poisk novykh smyslov? [The value palette of modern Russian society: “ideological mess” or the search for new meanings?] // Monitoring obshchestvennogo mneniia: ekonomicheskie i sotsial'nye peremeny [Public Opinion Monitoring: Economic and Social Changes]. 2011. No. 1(101). P. 6–23. (in Russ.)
- Pishniak A.I. Dinamika chislennosti i mobil'nost' srednego klassa v Rossii v 2000–2017 gg. [The population dynamics and mobility of the middle class in Russia, 2000–2017] // Mir Rossii [Universe of Russia]. 2020. Vol. 29. No. 4. P. 57–84. (in Russ.)
- Shkaratan O.I. Gosudarstvennaia sotsial'naia politika i polozenie srednikh sloev v sovremennoi Rossii [State social policy and the position of the middle strata in modern Russia] // Sotsiologicheskii zhurnal [Sociological Journal]. 2004. No. 1–2. (in Russ.)
- Shkaratan O.I. Sotsial'naia sistema, obrashchennaia v proshloe (Chast' 2) [A social system facing the past (Part 2)] // Sotsiologicheskii zhurnal [Sociological Journal]. 2015. No. 4. P. 80–119 (in Russ.)
- Tikhonova N.E. Osobennosti normativno-tsennostnoi sistemy rossiiskogo obshchestva cherez prizmu teorii modernizatsii [Features of the normative-value system of Russian society through the prism of modernization theory] // Terra Economicus. 2011. Vol. 9. No. 2. P. 60–85. (in Russ.)
- Tikhonova N.E. Sootnoshenie interesov gosudarstva i prav cheloveka v glazakh rossiian: empiricheskii analiz [Correlation between the interests of the state and human rights in the eyes of Russians: an empirical analysis] // Polis. Politicheskie issledovaniia. 2018. No. 5. P. 134–149. (in Russ.)
- Tikhonova N.E. Srednii klass v fokuse ekonomicheskogo i sotsiologicheskogo podkhodov: granitsy i vnutrennaia struktura (na primere Rossii) [Middle class in the focus of various theoretical approaches: thresholds and internal structure (on the example of Russia)] // Mir Rossii [Universe of Russia]. 2020. Vol. 29. No. 4. P. 34–56. (in Russ.)
- Tikhonova N.E., Mareeva S.V. Srednii klass: teoriia i real'nost' [Middle Class: Theory and Reality]. Moskva, 2009. (in Russ.)
- Zaslavskaiia T.I., Gromova R.G. K voprosu o “srednem klasse” rossiiskogo obshchestva [On the question of the “middle class” of Russian society] // Mir Rossii [Universe of Russia]. 1998. No. 4. P. 5–22. (in Russ.)
- Abercrombie N., Urry J. (1983). Capital, Labour, and the Middle Classes. London, 1983.
- Alvaredo F., Chancel L., Piketty T., Saez E., Zucman G. World Inequality Report 2018. Executive Summary. World Inequality Lab, 2018.
- Chen J. A Middle Class without Democracy. Oxford, 2013.
- Credit Suisse. Global Wealth Report. Credit Suisse Group AG, 2019.
- Diamond L. The Spirit of Democracy. New York, 2008.
- Gontmakher E., Ross C. The middle class and democratisation in Russia // Europe-Asia Studies. 2015. Vol. 67. No. 2. P. 269–284.
- Hirschman, A.O., Rothschild, M. The Changing Tolerance for Income Inequality in the Course of Economic Development // The Quarterly Journal of Economics. 1987. Vol. 87. No. 4. P. 544–566.
- Lipset S. Some social requisites of democracy: economic development and political legitimacy // American Political Science Review. 1959. Vol. 53. No. 1. P. 69–105.
- Mareeva S. Middle Class: system of values and perceptions on country's development vector // Journal of Economic Sociology. 2015. Vol. 3. No. 1. P. 39–54.
- Mareeva S., Ross C. The political values of the state and private sectors of the Russian middle class // Demokratizatsiya. 2020. No. 3 (in print).

- Mareeva S.V.* Middle class formation in Russia // Farazmand A. (Ed.), *Global Encyclopedia of Public Administration, Public Policy, and Governance*. Cham, 2018.
- Moore B. Jr.* *Social Origins of Dictatorship and Democracy*. London, 1966.
- Novokmet F., Piketty T., Zucman, G.* *From Soviets to Oligarchs: Inequality and Property in Russia, 1905–2016*. No. W23712. National Bureau of Economic Research, 2017.
- Rosenfeld B.* Reevaluating the middle-class protest paradigm: A Case-control study of democratic protest coalitions in Russia // *American Political Science Review*. 2017. Vol. 111. No. 4. P. 637–652.
- Volkov D.* The protest movement in Russia 2011–2013: Sources, dynamics and structures // Ross, C. (Ed.), *Systemic and Non-Systemic Opposition in the Russian Federation: Civil Society Awakens*. Ashgate, 2015. P. 35–50.

ГАУГН-ПРЕСС

«ГАУГН-ПРЕСС» осуществляет свою деятельность на базе Государственного академического университета гуманитарных наук (ГАУГН) и научно-исследовательских институтов Российской академии наук социогуманитарного профиля в рамках их сетевого взаимодействия.



КЛЮЧЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

- формирование учебно-методических комплексов
- развитие научной периодики
- внедрение новых стандартов научной коммуникации



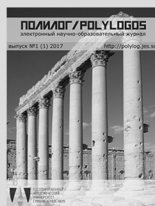
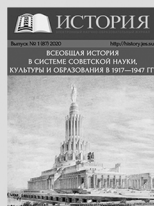
ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

- интеграция науки и образования
- модульный характер актуализации гуманитарного знания
- сетевое взаимодействие научных и методических центров

НАУЧНАЯ И УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА



СЕТЕВАЯ ПЕРИОДИКА



По вопросам приобретения научной и учебной литературы, печатных изданий журналов Российской академии наук, а также оформления подписки на сетевую периодику обращаться по адресу **press@gaugn.ru**



БАКАЛАВРИАТ

Социология



МАГИСТРАТУРА

Методология и практика
социологических
исследований



АСПИРАНТУРА

Социологические науки

Социологический факультет ГАУГН — это современный образовательный и научный центр. Наши преподаватели – известные социологи с мировыми именами, авторы фундаментальных научных трудов, учебников, участники крупных российских и международных социологических форумов, члены экспертных советов при законодательных и исполнительных органах государственной власти.

Уникальность факультета заключается в том, что все предметные направления изучаются во взаимосвязи с научными проектами, проводимыми учеными Института социологии ФНИСЦ РАН.

Синтез фундаментальных научных и прикладных исследовательских направлений в области социологии позволяет готовить исследователей и аналитиков, успешно работающих в различных профессиональных областях.

5 ПРИЧИН ПОСТУПИТЬ В ГАУГН



ВЫДАЮЩИЕСЯ ПРЕПОДАВАТЕЛИ

Ученые из научно-исследовательских институтов РАН, включая академиков, членов-корреспондентов, докторов и кандидатов наук.



ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД

Мы не набираем на курс более 35 человек. Преподаватель общается с каждым индивидуально, помогает в выборе вектора профессионального развития.



МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Некоторые лекции читают приглашенные специалисты из других стран. Большое внимание уделяется языковой подготовке.



УДОБСТВО

Факультеты находятся в Москве в непосредственной близости от метро. Обучение в магистратуре и аспирантуре в основном проходит в вечернее время. Подать документы можно онлайн.



СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

Студенты ГАУГН могут участвовать в многочисленных студенческих клубах («Что? Где? Когда?», Клуб политического анализа, Китайский разговорный клуб и др.).